
**В теплой
тихой
долине
дома**



**В теплой
тихой
долине
дома**



Уильям Сароян
Гурген Маари
Грант Матевосян
Нора Адамян
Шаан Шахнур
Агаси Айвазян
Абиг Авакян
Акоп Мндзури
Ваграм Мавян
Левон Завен Сюрмелян
Аксель Бакунц
Мушег Галшоян
Вано Сирадегян
Андрей Битов

**В теплой
тихой
долине
дома**

**Проза
об Армении**

**Составила
Анаит
Баяндур**

**Москва
«Молодая гвардия»
1990**

ББК 84Ар7
В 11

На обложке и форзаце
использованы фрагменты картин
МИНАСА АВETИСЯНА

В $\frac{4701000000 - 056}{078(02) - 90}$ КБ – 032 – 031 – 89

ISBN 5-235-01132-5

© Издательство «Молодая гвардия», 1990 г.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Слово — им, прекрасным писателям армянским, жившим раньше и живущим сейчас, выразившим что-то очень важное, сокровенное про себя и свой народ.

Уильям Сароян: «Я хотел бы видеть ту силу в мире, которая уничтожила бы это маленькое племя крепкосбитых гордых людей, этот народ, чья история завершена, чьи войны были борьбой и потерями, чья целостность раздроблена, чья литература не прочитана, чья музыка не услышана, чьи мольбы безответны. Ну так давайте, истребляйте! Уничтожайте Армению! Посмотрите, сможете ли? Изгоните их из домов в пустыни. Лишите их хлеба и воды, сожгите их дома и церкви. Затем посмотрите, не будут ли они вновь петь и вновь молиться. И когда двое из них встретятся где-либо в мире, посмотрите, не будут ли они вновь смеяться на своём родном языке».

Гурген Маари: «Четверть века назад, в 1935 году, в Ереван приехал молодой Уильям Сароян. Надо полагать, что в те времена и я был молод. Надо полагать также, что он со мной сблизился и подружился по той причине, что разглядел во мне ту же страсть, какой был подвержен и сам, — и он и я любили бродить. Мы бродили и разговаривали большей частью о прошлом: он — о Битлисе, я — о Ване. Он завидовал тому, что я родился в Ване и Ван помню, а он родился «ин Калифорния» и, следовательно, «ничего не помню», однако рассказывал о Битлисе такие подробности, что я диву давался. Чтобы успокоить моё сомнение, он всякий раз в конце добавлял: «Мать мне рассказывала... Честное слово».

Уильям Сароян: «Левон Завен Сюрмелян — один из многих армянских детей военных лет, которым удалось пережить врага и не погибнуть. Об этих детях ныне известно всем. Частично их описал Франц Верфель в «Сорока днях Муса-дага», а Элджин Гроусклоус в «Арарате» дополнил это повествование. Тем не менее именно в этой книге («К вам обращаюсь, дамы и господа») впервые представлена история детей, поведанная одним из них. Разрушен был их мир, но не жизнь. Многие сейчас живут в Советской Армении, России, Иране, Сирии, Греции, Канаде, Мексике, Южной Америке и США. А многие умерли на родине вместе с миром, который погиб. Дружья этих детей, оказавшиеся более выносливыми или везучими, никогда их не забудут. Их врагом не была конкретная нация или конкретный народ. Их враг — Зло, такое же отвлечённое, как понятие Зла в притче. Дети были, конечно же, невиновны. Если они и принадлежала к какой-либо нации, то это была нация детей. Они никому не причинили вреда. И всё же людское Зло стремилось уничтожить их, но дети выжили, как если бы они жили в сказке, а не в реальности».

Это написано в 45-м году, речь идёт о геноциде 1915 года. А до 1915 года была так называемая Западная Армения, были шесть вилайетов — шесть провинций армянских в Османской Турецкой империи, были армянские города Битлис, Ван, Муш, были ванские армяне, мушские, сасунские, со своими традициями, своим фольклором, своими обрядами, своей полнокровной кипучей жизнью. Но ещё в конце прошлого века там начались погромы, а кончились они этим, самым страшным, пятнадцатым годом — о нём вы прочтёте и в «Уроках Армении» Андрея Битова, даже у него. Почему «Уроки Армении», вещь, написанная русским писателем, оказалась в этой книге? А потому что Андрей Битов словно стоит и смотрит и угадывает наше желание раскрыть читателю то-то и то-то в истории Армении, в характере армянском, он словно видит наши усилия в этом направлении и словно

говорит — да ведь и я про то же самое... И точно — в «Уроках» есть всё главное о нас, русский Андрей Битов увидел и понял многое из того, что знаем о себе мы, армяне, и за это мы его, конечно, особенно любим.

После погромов и геноцида армян сильно раскидало по всему свету, появились новые армянские колонии. Когда мы говорим — «армянская диаспора», мы подразумеваем зарубежные армянские колонии. Но всегда была и есть внутренняя диаспора. Есть большие армянские поселения в Краснодарском крае, в Грузии, в Азербайджане; в Тифлисе и в Баку в конце прошлого — начале нынешнего века жила армянская элита, в рассказе Норы Адамян, в рассказах Агаси Айвазяна вы почувствуете тёплое дыхание этой жизни, высоко духовной и насыщенной.

Мушег Галшоян и Абиг Авакян. Один — потомок выходцев из Западной Армении, сасунских армян, другой репатриировался в 46-м из Ирана. Абиг Авакян пронёс через всю жизнь магию и фантастическую романтику пустыни. Мушег Галшоян до последнего своего дня был мучим прекрасным и тяжёлым недугом для писателя — ностальгией по утраченной родине предков.

Ещё в книге есть линия Аксель Бакунц — Грант Матевосян — Вано Сирадегян, они очень едины, они как продолжение друг друга, настолько они народные и естественные — каждый. Это-то и есть, наверное, жизнь: Бакунца не стало в 37-м, Бакунца, Чаренца, Тотовенца — самых лучших не стало, но в 60-х появился Грант, позже пришёл Вано, и мы с облегчением перевели дух и сказали себе: нет, не кончились, есть, вот они, да!

Гурген Маари: «Аксель Бакунц и Егише Чаренц были литературными сподвижниками, единомышленниками. Очень много нитей их связывало — общими были литературные заботы, общим был взгляд их на литературное наследие. Аксель свободно владел грабаром (древнеармянским). Его армянский язык был богат и безупречен. Чаренц испытывал к Бакунцу чувство глубокого уважения и восхищения. Они понимали друг друга с полуслова. Очень разными людьми были эти два гиганта — два разных характера, два разных темперамента. Чаренц был бушующий, несдержанный, непосредственный, как горный водопад. Бакунц же — ровный, всегда задумчивый, спокойный и ясный, как родник. Когда Чаренц смеялся громко, мефистофельским смехом, Бакунц улыбался своей обаятельной, почти детской улыбкой».

Андрей Битов: «Нечасто приходилось мне встречать такое глубокое осознание приверженности к собственной земле, народу, языку и истории — такой кровности. Это поражало меня в Гранте Матевосяне, человеке и не читанном ещё мною писателе».

Грант Матевосян: «А у учителя Акопа воспалились миндалины, и учитель Акоп продолжил путь, дошёл до Полиса — подлечить больное горло. Это был последний месяц лета 1914 года, чуть пораньше осенней пахоты. Зима перекрыла пути, а летом 1915-го не существовало больше на свете ни села Малый Армтан, ни большого рода Темирченц, ни множества детворы, дожидавшейся возвращения своего учителя из Полиса, ни молчаливой безответной жены учителя Акопа с четырьмя детьми. Не было всей Западной Армении. Во всей мировой истории не случалось такого ни с одним народом. Ни один писатель больше такого чудовищного чуда не видел. Зограб, Варужан, Сиаманто, Зардарян — все они были убиты до большой резни, порознь, и это, можно сказать, было великолепным исходом для них. Акоп Мндзури летом 1915-го сидел, возможно, на склоне горы Синий Свет, смотрел кругом и не понимал, ничего не понимал — поля были, сады были, дома стояли, дорога между домами проходила, но по дороге, через поля, ручьи, тополя, по жнивью не бежал сломя голову Хусик — в поисках священника для умирающей тётки, и, беседуя с ослом, не направлялся в дубняк за хворостом Ширин — медленно порастала травой тропинка в дубняк. Христианин до мозга костей, Акоп Мндзури не смог выругаться один на один с зелёными полями. Кричать — мир был занят своими делами. Сойти с ума, обезуметь, как обе-

зумел Комитас... Господь уберёт, сохранил Акопа Мндзури, чтобы память об умерших нашла прибежище».

Левон Завен Сюрмелян: «Мы — армяне сложной закваски и ведём борьбу во имя того, чтобы остаться армянами хотя бы по духу. Дамы и господа, я хотел бы сказать миру: я принёс вам весть — мы не являемся исчезающей нацией. Мы будем жить. Армения будет жить вечно.

Память армянина — сокровищница и хранительница армянской мечты — бескомпромиссной, нескончаемой борьбы во имя свободы, причём свободы, должен сказать вам, не только для нас, а для всех людей.

Мы, армяне, соединяем людей, а не разъединяем их, и своей многовековой исторической традицией, происхождением, своим языком, вероисповеданием, культурным и национальным обликом принадлежим как Востоку, так и Западу. Мы должны продолжать делать всё лучшее, всё, что в наших силах, — чтобы стала прочнее наша сопричастность миру, наша связь с ним. Вот наша особая миссия, наше назначение как нации.

Тайной нашего существования, нашей живучести и решимости отчасти являются печали и горести, пульсирующие в нашей груди... Мы должны стать поддержкой справедливости и выкорчевать, искоренить несправедливость».

Шаан Шахнур. Во Франции, где он прожил большую часть жизни, его знают как Армена Любена, под этим псевдонимом он печатал стихи, написанные на французском. Армяне его всегда будут чтить как автора одной из жемчужин армянской прозы — романа «Отступление без песни».

Ваграм Мавян, рассказчик. В отличие от Шаана Шахнура, прикованного многолетним недугом к постели и не имевшего возможности передвигаться, а значит, и посетить родину, приезжал в Ереван довольно часто. Он жил в Лиссабоне, работал секретарём армянского отделения знаменитого фонда Гюльбенкяна. Жизнелюбивым ироничным красавцем запомнили его все.

Что главное сейчас для армян? Преподаватель русского языка и литературы Ереванского государственного университета Тигран Хзмаян, 26 лет, пишет: «Я — армянин. Я хочу понять, что это значит. Это не вера, не цвет кожи, не политические убеждения. Это та мера памяти и ответственности, которую я разделяю. Это крылья прошлого и груз будущего».

Уильям Сароян (1908—1981). Это имя как символ. Надо ли ещё что-либо говорить об этом божественном человеке и писателе? И всё-таки: родился, жил, творил и умер в США. Свой 70 летний юбилей приехал отметить в Армению.

Гурген Маари (Гурген Аджемян) (1903—1969). Родился в Западной Армении, в городе Ване. С 1937-го по 1953-й был репрессирован, работал свинопасом в колхозе «Победа» Красноярского края. В 1954 году был реабилитирован.

Грант Матевосян. Родился в 1935 году в селе Ахнидзор в Армении. Первая книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» сразу же на русском языке, как это ни парадоксально.

Нора Адамян. Годилась в 1910 году в Баку в семье известного врача. Пишет на русском языке.

Шаан Шахнур (Шахнур Керестечян) (1903—1974). Родился в Западной Армении, в 20-х годах переехал во Францию. Писал прозу, стихи, публицистику. Лауреат литературных премий Франции.

Агаси Айвазян. Родился в 1925 году в Грузии. Ныне живёт в Ереване и увлечённо снимает фильмы по своим сценариям в качестве режиссёра.

Абиг Авакян (1919—1983). Родился в Иране, в Тегеране, окончил американский, французский колледжи, был военным курсантом. В 1946-м репатриировался в Армению.

Акоп Мндзури (Акоп Темирчян) (1886—1979). Родился в Западной Армении, где и прожил всю жизнь. «В Артане родился я, в 1886 году 16 октября, в четверг», — пишет он в

автобиографии. Последние годы жизни был привратником в армянской церкви в Стамбуле.

Ваграм Мавян (1926—1983). Родился в Иерусалиме. Окончил Белфастский университет в Ирландии. В последние годы жизни жил в Португалии.

Левон Завен Сюрмелян. Родился в 1907 году в Западной Армении. Живёт в США, профессор Калифорнийского университета.

Аксель Бакунц (1889—1937). Родился в Горисе в семье священника, учился в эчмиадзинской духовной семинарии, кончил Харьковский сельскохозяйственный институт. Участник исторической Сардарабадской битвы. Любимейшее имя армянской классики советского периода.

Мушег Галшоян (Мушег Манукян) (1933—1980). Родился в Армении в селе Мегрибан. Кончил Ереванский сельскохозяйственный институт, работал агрономом, затем в редакциях газет, журналов, в издательстве.

Вано Сирадегян. Родился в 1946 году в селе Коти в Армении. Колоритный и бескомпромиссный характер, колоритное и бескомпромиссное письмо.

Андрей Битов. Известный русский писатель. Родился в 1937 году в Ленинграде. В 1965—1966 годах учился в Москве на Высших сценарных курсах вместе с Грантом Матевосяном, Резо Габриадзе, Серафимом Сакой и другими яркими писателями этого поколения. Этим и объясняется в какой-то степени появление «Уроков Армении», вещи необычной и привлекательной.

Вот, пожалуй, и всё об авторах. Мне, составившей эту книгу, хотелось, чтобы вы, читающие её, почувствовали, что всех этих писателей объединяет один дух, одни заботы, одна история, одна память, и будущее им видится одно: сплочённый и миролюбивый армянский народ на своей земле.

Анаит Баяндур

УИЛЬЯМ САРОЯН

В ТЁПЛОЙ ТИХОЙ ДОЛИНЕ ДОМА

Ещё не рассвело, когда мой двоюродный брат подъехал к дому на помятом, поколоченном «форде» и дёрнул ручной тормоз машины, потому как обычный уже вышел из строя. Машина подпрыгнула, задохнулась и стала. Мой двоюродный брат соскочил на землю и постоял во дворе, глядя на небо. Потом он поднялся по ступенькам крыльца, вошёл в дом и появился на кухне, где я уже почти что кончал бриться.

— Похоже, будет шикарный день.

— Вот и прекрасно, — сказал я.

Он налил себе чашку кофе и сел завтракать. Хлеб с маслом, маслины, армянский сыр.

Я вытер лицо и присоединился к брату, налив и себе полную чашку кофе.

Кофейник был солидных размеров. Мой брат выпил четыре чашки, а я — три, выпил бы и четвертую, если бы только в кофейнике осталось что пить.

Мы вышли из дому, не дожидаясь рассвета.

— Днём у нас будет шикарный ленч, — сказал мой брат. — Я сам всё приготовил.

— И будет что выпить?

— Пиво, — сказал он. — Шесть бутылок. Они у меня в ящике, и чтоб не нагрелись, я их укутал в мокрый мешок.

— А может, попробуем раздобыть льда?

— Можно, конечно. Но лёд растает.

— Ладно, — сказал я. — Выпьем пиво до ленча. Уж, наверно, до десяти лёд не растает.

— На солнце уже с самого утра будет жарко.

— Не люблю тёплого пива, — сказал я.

— Хорошо, — сказал он, — хоть слишком ещё рано, но я знаю одно местечко, где мы достанем немного льда!

— А далеко это от нашей дороги?

— Нет, — сказал он.

— Ну ладно. Давай-ка я заведу машину.

— Нет, — сказал он. — Лучше я сам. Этот мотор не всякого слушается.

Он взялся за дело, мотор заработал, и мы сели в машину и тронулись в путь.

— Не думаю, чтоб по этой дороге попалась какая-нибудь речушка, — сказал я.

— Будет, — сказал он. — Где-то подальше будет ручей. Но возможно, что летом он высыхает.

— А ты не забыл про винтовку и дробовик? — сказал я.

— Да нет, чёрт возьми, — сказал он. — Но если ты что-нибудь из этой винтовки подстрелишь, считай, что тебе крупно повезло.

— Почему?

— Что-то там с прицелом.

— А может, с твоим глазом?

— Глаз тут ни при чём. С глазом у меня всё в порядке. Я целился в кролика метров с шести и промазал.

— Глаз у тебя не в порядке, — сказал я. — Ну а что дробовик?

— Дробовик что надо.

— С прицелом ничего?

— Ничего, да к тому же ты обойдёшься и без прицела.

— О! — сказал я.

Старенький «форд» прогрохотал по Вентура-авеню и сбавил ход. Мой брат дёрнул ручной тормоз, машина подпрыгнула и заглохла возле заведения с вывеской «Уголь и лёд». Наверху, где располагалась контора, горел свет. Брат взбежал по ступенькам и толкнул дверь, но она оказалась на запоре. Тогда он заглянул в освещённое окно и увидел в комнате человека, который спал, сидя на стуле. Убедившись, что контора не пустует, брат принялся громко стучать. Через некоторое время дверь отворилась, и человек, появившийся на пороге, сказал:

— Вам чего?

— Пенсильванского угля, — сказал мой брат.

— Угля у нас никакого в этот сезон не бывает.

— Ну коли так, возьмём льда.

— Сколько вам нужно?

— Центов на десять, — сказал мой брат.

Человек исчез и вернулся через минуту с брусом льда в холщовом мешочке.

— А найдётся чем расколоть? — сказал мой брат.

— Найдётся, конечно.

Человек спустился вниз и вручил нам мешочек. Брат мой вывалил брусок на подножку машины и, взяв у человека что-то вроде кайла, стал аккуратно колоть лёд и кусочки его бросать на мокрую мешковину, в которую обёрнуты были бутылки.

Человек из конторы получил свои десять центов и вернулся к себе в комнату, к своему стулу. А мы завели машину и поехали дальше.

Около окружной больницы мы повернули на север. Светало. Небо было редкостной красоты, и больница выглядела как-то особенно грустно.

— Ты когда-нибудь попадал в эту больницу? — сказал мой брат.

— Да, — сказал я.

— А что у тебя было?

— Ничего. Я просто ходил туда навещать.

— Кого навещать?

— Кероба помнишь? — сказал я. — Ты был совсем ещё мальчонка, когда он умер.

— Помню, — сказал он.

— Вот его я и навещал.

— А что у него было? — сказал мой брат.

— Чахотка, — сказал я.

— Ясно, сказал мой брат. — Ну а какой он был вообще?

— Вообще отличный был парень, — сказал я. — Обычно я приносил ему виноград и персики. И ещё инжир. Когда он умер, ему и сорока ещё не было. А мне тогда было лет десять-одиннадцать.

Когда мы въехали в Кловис, солнце уже поднялось, и городок показался нам очень милым. Чтобы рассмотреть это местечко как следует, мы несколько раз проехали по его считанным улицам.

Людей на улицах не было ни души. Прибегнув опять к ручному тормозу, мой брат остановил машину около магазинчика.

— Не прогуляться ли нам по Кловису? — сказал он.

— И где-нибудь перекусить? — сказал я.

— Сколько у тебя денег? — сказал он.

— Доллар и ещё мелочь, — сказал я.

— Можно, значит, и перекусить, если найдётся где.

Мы вылезли из машины и пошли по главной улице. Городок был не бог весть каких размеров. Две-три довольно печального вида улочки, по сторонам их — печальный строй одноэтажных и двухэтажных деревянных домов, и кое-где печальные окна лавок, и такие же печальные двери и вывески, и печально глядящие сверху окна вторых этажей. И сразу за городком видны были виноградники. Словом, это было просто маленькое местечко в сельском краю, окружённое виноградниками, но повидать его ранним утром было очень приятно.

Солнце уже поднялось и даже начало припекать, а городок всё ещё не просыпался. Пройдясь по главной улице, мы нашли закусочную, но она, к сожалению, была закрыта.

— Ну что, — сказал мой брат, — подождём, пока откроется, или поедем дальше?

— Похоже, что ждать тут придётся долго.

— И для чего они завели эту закусочную, не пойму. Посмотрел бы я на парня, которому пришло это в голову.

— Что за тип, как по-твоему? — сказал я.

— Да уж вряд ли симпатичный, — сказал мой брат. — На кой чёрт, интересно, завёл он закусочную в городишке, где она явно никому не нужна?

— А может быть, она нужна ему самому. Может, он большой любитель поесть.

— Десять против одного, что ты угадал. Это маленький парнишка с большим аппетитом. Он ни минуты не хочет оставаться голодным. Он хочет, чтобы еда всегда была под рукой. Вот его и осенило устроить закусочную. В худшем случае он сам проглотит свою стряпню.

— Ладно, — сказал я, — с этим всё ясно, так что не будем уж тут околачиваться.

Мы вернулись к своей колымаге, завели её и поехали.

После Кловиса дорога потянулась среди холмов, покрытых пожелтелой высохшей травкой. Но миль через десять мы увидели холм, на склоне которого росли деревья, и брат сказал, что это отличное место. Место действительно оказалось славное. Час уже был жаркий, а под деревьями стояла прохлада, и трава в их тени была зелёная, свежая. Мы с братом съели по три сандвича с мясом, выпили по бутылке пива и, захватив с собой ружья и остатки еды, пошли прогуляться и чего-нибудь пострелять.

Мы шли около часа, и ничего такого не попадалось, во что бы стрельнуть, так что мой брат стрельнул из винтовки по бабочке и промазал.

— Вот видишь, сказал он, — с прицелом что-то не то.

— Дай-ка мне винтовочку, — сказал я.

Я тоже стрельнул по бабочке и тоже промазал.

— Звук, однако, отличный, — сказал я.

— Звук какой полагается, — сказал брат.

— Где же наконец ручей? — сказал я.

— Какой ещё ручей? — сказал брат.

— То есть как это какой? — сказал я. — Ручей, про который ты говорил утром.

— Не думаю, чтоб сейчас там была вода.

— А раз нет воды, какой же это ручей?

Тут брат неожиданно громыхнул из дробовика, и я увидел пустившегося наутёк кролика.

— Видать, и у дробовика твоего прицел не в порядке.

— Нет, — сказал мой брат. — Просто я решил, пока целился, что не стоит убивать невинную тварь. В самом деле, какая мне с того радость?

Два часа проходили мы, пока нашли наконец ручей. Кой-какая влага в нём всё-таки сохранилась. Вода было застоявшаяся, с запашком, но мы всё равно уселись возле неё на свежую травку и славно поговорили.

Брату хотелось что-нибудь ещё узнать о нашем родственнике, который умер в окружной больнице, и я рассказал ему про Кероба, нашего дядю, а он рассказал о своём приятеле, о мальчике по имени Харлан Бич, который утонул в Томсоновом рву.

— Хороший был парень, — сказал мой брат.

Вокруг стояла чудная тишина. Я растянулся на земле и глядел в небо. Ну вот и прожито сколько-то сумасшедших лет. И сколько всего — с ума сойти! — за это время случилось. И снова теперь сентябрь, и так здесь приятно. Жарко и всё-таки очень приятно. Эта долина — мой дом, здесь я родился. Мой дом — эта земля, и это небо, и воздух. И эта жаркая погода тоже мой дом. И брат мой — частица моего дома. И то, о чём и как он говорит. И люди, про которых мы с ним вспоминаем. Глядя на своё небо, я вспомнил Нью-Йорк. С тех пор, как я жил там, не прошло ещё и года, но мне казалось, что прошло и десять, и двадцать лет. Мне казалось даже, что я там и не жил никогда, что всё это, наверное, мне просто приснилось. Приснился этакий долгий сон, в котором было сначала лето, потом — зима, сначала — духотища, и сумасшедшие громады домов, и сумасшедшие подземки, и толпы людей, а потом — сумасшедший холод и снег и покинутое солнцем хмурое небо.

Брат говорил сперва по-английски, а я — мешая английский с армянским. Потом и он вроде меня заговорил так и этак. Ну и в конце концов мы оба перешли на армянский.

— Бедный Кероб, — сказал мой брат. — Бедный, бедный, бедный. Когда-то он тут ходил, теперь — не ходит.

И он соединил ладони тем жестом, каким армяне обычно дают понять, что, мол, теперь уже точка, было что-то и кончилось.

— Давай-ка пожуём что там у нас осталось, — сказал я.

— Давай, — сказал брат, — пожуём и повспоминаем.

Мы съели все сандвичи и двинулись потихоньку обратно — к машине, где у нас оставалось пиво.

Пострелять на обратном пути опять было не во что.

— А давай-ка посалютуем в честь покинувших этот мир, — предложил мой брат.

— Славная мысль!

Мы вскинули наши ружья дулами к небу.

— Умершим, — сказал мой брат, и мы выстрелили.

Звук выстрела получился полубезумный, полутрагический.

— Керобу, — сказал я, и мы снова выстрелили.

— Харлану Бичу, — сказал мой брат, и последовал выстрел.

— Каждому, кто жил на этой земле и умер, — сказал мой брат, и мы оба выстрелили.

Звук от дробовика был в десять раз сильнее, чем от винтовки.

— Дай-ка мне на этот раз дробовик, — сказал я брату, и мы поменялись ружьями.

— Кому будет салют? — сказал он.

— Моему отцу, — сказал я и нажал на спуск. Отдача была сильнейшая.

— А теперь моему отцу, — сказал брат.

Мы выстрелили.

— Моей бабушке, — сказал я.

— И моей бабушке, — сказал брат.

— Григорию Просветителю¹, — сказал я.

— Петросу Дуряну², — сказал брат.

— Раффи³ — сказал я.

Мы прошли ещё немного, остановились и снова стали называть имена и стрелять.

¹ Григорий Просветитель — распространитель христианства в Армении (IV в.).

² Дурян Петрос (1852—1872) — классик армянской поэзии.

³ Раффи (Акоп Мелик-Акопян, 1835—1888) — классик армянской литературы, романист.

- Андранику¹ — сказал мой брат.
- Хечо, — сказал я.
- Бедный Хечо, сказал мой брат по-армянски.
- Мураду, — сказал я.

И так мы просалютовали в честь многих ещё армян-писателей, учёных, воинов и священников. Просалютовали в честь многих замечательных людей, умерших уже давно или недавно.

Мы закатили посреди холмов грандиозную трескотню, но всё сошло прекрасно, потому что ни души вокруг не было.

Когда мы вернулись к машине, пиво уже, конечно, было не такое, как утром, холодное, но всё-таки ещё свежее и приятное для питья.

Мы выпили что оставалось, и брат завёл машину, и мы сели и поехали от холмов в тёплую, тихую, чудную долину, в единственную для нас на земле долину нашего дома.

БИТЛИС

Оно всё этом я ничего не помню. Но стоит мне услышать меланхоличный, щемящий сердце свисток продавца маиса, катящего свой фургон по улице, как я вспоминаю тот самый фургон и ту самую улицу, словно я ещё восьмилетий мальчишка, который любил пристраиваться на ступеньках дома, что на Санта-Клара-стрит.

Я берегу память о тех днях, хотя в моей жизни их никогда и не было. То дни людей из другого мира, из других далёких городов и далёких времён.

Сидя на ступеньках крыльца, я вновь ощущаю, как возвращается ко мне горькая боль тех оборвавшихся мгновений, ощущаю и сами мгновения, хотя в моей жизни их никогда и не было.

...А небо — очень высокое, и совсем близкое, и чистое, и светлое, озарённое трагическим сиянием множества звёзд. А воздух — тёплый, каждую частицу его, кажется, взял бы на ладонь. И совершенно невозможно, вдыхая этот воздух, не вернуться туда, назад, к дню своего рождения, не окунуться в то тёплое мгновение долгих лет сна, в тёплые дни тёплых месяцев августа, сентября, октября, в то крохотное тельце, мечтающее о вселенной. И совершенно невозможно не пережить вновь все те тёмные, тёплые часы, когда во сне вдыхаешь воздух всей вселенной.

Лошадь и фургон с маисом медленно проползут по улице, а я всё буду вспоминать, какими же всё-таки были те дни, вернувшиеся сейчас ко мне. Я стану задавать вопросы. Где? Кто? Когда? Конечно же, был такой город, и такие дома, и люди, они приехали в город на арбах, запряжённых волами, приехали верхом на верблюдах. И люди эти заполонили эти дома своими столами и стульями, снедью и вином, и сели за эти свои столы, и стали есть, и стали пить, и стали беседовать, а я — среди них.

...Я побегу за фургоном до перекрёстка, не уставая спрашивать: «Кто смеялся?» Побегу за ним вслед ещё квартал и буду допытываться: «Кто надрывался от смеха?» А потом я вдруг вспомню — ведь мир полон опасности, и меня охватит страх перед всем миром, перед его жителями, бесчисленным множеством жителей. А потом я посмеюсь над своим страхом — вспомню смех того, кто смеялся, и сам засмеюсь. Я брошу страху вызов. Правда! Я стану смеяться. Конечно, во всём видимом и невидимом таится опасность. Что же, вот он — я. И я не боюсь.

Я вернусь домой, сяду на ступени и снова стану ждать. Пусть они приходят, воспомина-

¹ Андраник (Озаян Андраник, 1865—1927) — деятель национально-освободительного движения армян, военачальник; с 1922 г. жил в США, во Фресно.

ния. И я представлю далёкое море, дикое и полное опасности, и свирепый ветер, и ливень, и грохочущий в темноте гром. Там холод, пронизанный опасностью, и бездонное море. А там, где кончается море, начинается земля. Тёплая земля и чистые поля зелёной травы: деревья, скалы, ручьи, всякая живность; пушистые звери; глаза ночи. И птицы с яркими перьями. И глаза. Всё это на земле. И города, и улицы, и дома, и люди.

...Однажды вечером младший брат моего отца Седрак ехал по улице на велосипеде. Он слез с него, зацепил педалью за деревянный тротуар и подошёл ко мне.

— Что это с тобой стряслось? — спросил он.

— Где мы жили раньше? — спросил я.

— Ты родился здесь, — сказал он. — Ты живёшь в этой долине всю жизнь.

— А где жил мой отец? — спросил я.

— На родине, — сказал он.

— Как зовут тот город?

— Битлис.

— А где тот город?

— В горах. Его построили в горах.

— А улицы?

— Они выдолблены в горах, они узкие и кривые.

— Ты помнишь моего отца на улицах Битлиса?

— Конечно. Он же мой брат.

— Ты видел его? — спросил я. — Ты видел, как мой отец ходит по улицам города, выстроенного в горах?

Я вскочил, прыгнул с крыльца на мостовую и стал прохаживаться возле дома. Я отошёл от дома, повернулся, пошёл назад.

— Вот так ходил отец? — спросил я. — А что он говорил?

— Видишь ли, — сказал младший брат моего отца, — он говорил мало.

— Но ведь иногда он всё-таки говорил? — спросил я. — Когда он говорил что-нибудь, что именно он говорил?

— Вспоминается мне один день, — сказал младший брат моего отца. — Мы вместе шли в церковь. И твой отец сказал: «Вах, вах, посмотри на неё, Седрак. Посмотри, посмотри».

— Ты слышал, как он сказал? — спросил я. — Вах, вах? А что это значит?

— Да ничего, — сказал брат моего отца. — Ничего не значит. Всё значит.

— Вах, вах, — сказал я, как мой отец. — Посмотри, посмотри.

Младший брат моего отца уехал на велосипеде, а я сел на ступеньки крыльца. Я вдыхал этот воздух, и ко мне вернулись дни, когда мой отец жил в городе, выстроенном в горах. Я знал — он не умер, потому что я дышал, а небо — очень высокое и совсем близкое и чистое, а воздух — тёплый, каждую частицу его, кажется, можешь взять на ладонь. И это было мгновение всех дней и всех людей, это был мир — мир всех родившихся, мир всех, кто когда-нибудь мечтал в долгие тёплые дни августа, сентября, октября...

ГУРГЕН МААРИ

ЧАРЕНЦ-НАМЕ

Пролог

Говорят, что нынешняя зима необычна своими морозами и обилием снега. А я, как сегодня, помню зиму 1934 года, которая ничем не отличалась от этой, разве что календарь был тогда помечен 1934 годом, а сейчас 1957-й. Эка разница! И так ли важно, что «Айпетрат», возвышающийся теперь своими великолепными колоннами на улице Теряна, ютился тогда на улице Раффи в одноэтажном чёрном каменном доме — в трёх маленьких и одной, чуть побольше, комнатах. У директора был кабинетик метров в семь, а самая большая комната общего отдела была куда меньше нынешнего директорского кабинета. И если у директора сидели, скажем, Ширванзаде, Бакунц, Демирчян, то вошедшие после них Забел Есяян или Тотовенц должны были стоять, и яблоку уже негде было упасть.

Прямо напротив «Айпетрата» стояла краснокаменная церковь Григория Просветителя. Теперь этой церкви нет — на её месте стоит школа имени Егише Чаренца. Мог ли он подумать, что когда-нибудь его именем будет названа школа? Да, он глубоко сознавал своё величие. Другое дело — он этого не чувствовал. И так как этот удивительный человек жил больше чувствами, то держался он предельно просто, просто и на работе, и на улице, и в какой-нибудь неприглядной третьестепенной столовке. Он мог среди бела дня заснуть на скамейке в саду 26 комиссаров. Плавая в Зангу, мог выделывать всякие замысловатые трюки и очень этим гордиться. И никому бы в голову не пришло, что этот ловкий пловец, который так спокойно плывёт на спине, покуривая папиросу, не кто иной, как создатель «Дантовой легенды».

Да, суровой и долгой была зима в Ереване 1934 года.

Часов в девять утра я зашёл в «Айпетрат» — он сидел за своим столом оживлённый, бодрый. Определял с Гарегином Левоняном «формат» чьей-то книги, «титул», «шмуцтитул», спорил из-за какого-то «супера» и с жаром отстаивал своё мнение.

Не знаю, почему, глядя на валивший и заваливший весь дворик снег, я вдруг вспомнил душное, пронизанное зноем лето 1919 года, когда я впервые увидел его на бульваре. Я присел к письменному столу, взял со стола одну из ручек.

— Бумага нужна? На! — Он бросил мне чистые бланки и ушёл с Гарегином Левоняном. — К директору...

Оставшись один, я было заколебался — я не мог понять, что же мне хочется написать — эпиграмму или, может, юмористическое стихотворение о том далёком памятном дне... Было холодно, за окном падал и падал снег, а мной овладело такое живое ощущение летней жары. «Был жаркий летний день», — начал я.

К тому времени, когда Чаренц вернулся, я исписал уже с десяток бланков. Я записывал воспоминания о своей встрече с ним в 1919 году, я писал только для него — чтобы он прочёл, чтобы обрадовался и ничего больше. Никаких других помышлений.

— Что это ты там пишешь? — Он потянулся за одним из листочков.

— Не надо, — попросил я. — Кончу, прочтёшь.

— Ладно. Ты сиди здесь, никуда не уходи. Я к Макинцу, на совещание. Придут ребята — задержи их. Уйдём вместе.

До прихода «ребят» я успел завершить свои воспоминания неким «философским обобщением» и сидел задумавшись. Наконец он вернулся, вошёл с довольным видом человека, покончившего с совещанием, сел на своё место, закурил папиросу, взял исписанные листки.

— Ого! — заулыбался он, по-детски обрадовавшись. — Про меня!
Потом сделался серьёзным, начал читать, раз громко расхохотался, наградив меня «су-кинным сыном», закончил, помрачнел.

— Аллах-аллах, — замурлыкал он тихонько, глядя в окно. Потом повернулся ко мне:
— Хорошо написал, трогательно. Но ведь воспоминания о людях пишут после их смерти. Ты что же, опубликовать хочешь это?
Я об этом не думал, но вопрос надоумил:
— Обязательно.
— Где?
— Хотя бы в «Гракан терт».
— Не напечатают.
— Ты, наверное, сам не хочешь, чтобы напечатали.
Он помолчал немного, подумал.
— Нет, почему же? Кто сказал, что воспоминания пишут только об умерших? — возразил он сам себе. — Это даже интересно — читать о себе. Только печатать всё равно не станут, не видишь, что делается.
Сложил листочки, спрятал в карман.
— Отдам перепечатать, в архив «Ноембера» спрячу.
— Один экземпляр мне, — попросил я.
— Не напечатают.
Вошли «ребята» — Бакунц и Мкртич Армен. Я думал — сейчас он скажет им о «воспоминаниях». Не сказал. Предложил пойти куда-нибудь пообедать.
Снег больше не шёл, какой-то молочный свет залил небо и весь город. Мы зашли в первую попавшуюся «кябабхану». Чаренц был мрачен, и как веселье его, так и печаль, были заразительны. Он обвёл нас взглядом:
— Интересно, кто из нас умрёт раньше?
— Ты об этом думал? — удивился Аксел. — Мой дед 98 лет прожил, а отец и сейчас зубами орехи разгрызает.
— Хочешь сказать, и сам сто лет проживёшь?
И улыбнулся хитрой улыбкой своей, потом закатал рукав рубашки, стукнул несколько раз по столу:
— Ах, негодяи, природа мне силу дала, силу, я тысячу лет должен прожить!..
По его предложению пошли сфотографировались, сначала все вчетвером, потом он с Арменом, я с Бакунцем. «С тобой мы много снимались».

Как ни странно, мои воспоминания были напечатаны в «Гракан терт». Теперь, годы спустя, я хочу добавить к ним несколько фрагментов. Я не сомневаюсь, что о нём будут писать грядущие поколения, не сомневаюсь и в том, что они окажутся бессильными воссоздать сложный, неровный, но вместе с тем такой гармоничный и цельный образ этого необыкновенного человека. И пусть не винят нас те, кто придёт после нас, — о нём трудно было писать и при его жизни, и теперь, когда вот уже двадцать с лишним лет его нет с нами, и так же трудно будет потом, через «сто» лет.

Дни «Трёх» и после

«Трое». Егише Чаренц, Азат Вштуни, Г. Абов.
Декларация «Трёх».
Огонь — по Терьяну и салонным дамам.
Бюллетени «Трёх». Числом — три.
Он:

— Ной до вчерашнего дня¹
Сидел наверху,
На макушке Арарата,
Сегодня спустили мы его оттуда,
Чтобы дома он чистил
Трудового люда.

Вштуни:

— Встань, звонарь,
На колокольню
И звони,
Вовсю звони...

Абов:

Помните, помните?
Комнаты вашей болотный вид...
Перед камином песни мандо звучали как...
...Эх-эх,
Хорошо теперь,
Песен мандо уж не будет,
Звуков ландо уж не будет,
И чахотки урожая — уж не будет,
Эх-эх,
Нет, не будет.

Недолговечной была жизнь «Трёх».

Он уехал в Москву, чтобы вернуться оттуда с «Романсом без любви» и «Поэзо-зурной».

Абов предпочёл «считать ворон в небе».

Вштуни организовал Ассоциацию пролетарских писателей Армении, выпустил «Мурч». Дело было серьёзно.

«Романс без любви». «Поэзо-зурна». Рецензии, диспуты, шум, балаган. Реплики, бессонные ночи, дурман.

Нет больше, нет
Девичьей
Чарующей постели гибкой...

А в «Поэзо-зурне»:

...О, зурна, зурна, зурна,
Грусть и тоска жёлтая,
Мир в тюрьму превратится,
Мир в тёмный зайдёт тупик.
...Как сон уйдёшь бесследно ты,
Как сон умрёт жизнь твоя,
И литургию по тебе справит
Гюмри².

¹ Здесь и далее стихи в подстрочном переводе.

² Старинное название Ленинакана.

Или:

Неужто это страна Наири?
Неужто это сердце моё недовольное?..

Почему так написал «Страну Наири»?
— Почему ты так написал «Страну Наири»?
— Так написалось, я не виноват.
Кафе «Наири».

Это не миф и не мистификация — «Страну Наири» он начал писать в 1919 году, когда был воспитателем в сиротском приюте.

Я помню, он показал мне тогда небольшую стопку исписанных страниц.

Это была проза.

— Хочу написать роман... «Страну Наири»...

Быстро листая густо заполненные страницы, он дошёл до последней, показал её мне. Там не было ни одного предложения с новой строки, кроме последнего. Последняя строка начиналась с абзаца, я запомнил её:

«На улице туман, недобрая мгла».

— Так и должно идти, — сказал он.

Потом, когда «Страна Наири» вышла, я долго искал эту строку, но так и не нашёл.

И не спросил у него, куда делась эта строчка, почему её нет в книжке, и вообще, то, что в 1919-м было написано, — вошло это в книгу?..

Почему не спросил?

«Титаник».

— Есть хорошие стихи, но книга сырая.

Потом:

— Слушай, парень, а сколько тебе лет исполнилось?..

— Двадцать один.

— Двадцать один... — Он словно взвесил мои годы и заключил: — Завидую тебе, вся жизнь впереди...

Звонко рассмеялась рядом жена его — Арпик:

— Так говоришь, будто старый дед сам... А насколько старше?

Он — серьёзно:

— Ты пойми, в его возрасте каждый год равен десяти...

И, глядя на наши недоумевающие физиономии, приуныл:

— Э, не понимаете...

Теперь только я понял.

На улице Абовяна.

— Будешь жить, разгуливая по Абовяну, — ничего из тебя не получится. В Москву тебе надо. Дальше Тифлиса нигде не был?

— Нет.

— Стыдно. Собери денег, в Москву поезжай.

— Что мне там делать?..

Рассердился:

— Вывески читай. В Александровском парке на скамейке ночь заночуй...

Я зашёл к нему попрощаться.
— Вот счастливый, в первый раз в Москву едешь.
Взгрустнул.
— Веди себя там хорошо...
Это Арпик сказала.

И имя моё как пыль останется в твоей пыли...

Тифлисские дни

1924 год. Яркая осень тифлисская. Площадь — Ереванская.
— Газеты, газеты! Последний выпуск! «Заря»! «Мартакоч»!..
— Дайте мне «Мартакоч».
Голос знакомый. Я оглянулся. Это был он. Смотрел удивлённо:
— Я думал, ты уже в Москве.
— Только до Ростова доехал.
— Там прочёл в газете, что исключён из ассоциации И не выдержал, вернулся, да?
Показал большим пальцем на кончик мизинца:
— Вот столечки не думай об этом. Пошли к Паоло Макинцяну. Знаешь его? Пошли, познакомлю. Светлый человек — Паоло.

Светлый человек был Паоло. Стремительно-высокий словно тополь, с лицом как пергамент, с длинными чёрными ресницами.

Заговорили о Теряне.
— Принеси письма Теряна, почитаем.
— Нельзя.
Пожаловался, совсем как ребёнок:
— У него несколько сот писем от Теряна. Не даёт читать. Ну хоть одно дай.
— Нельзя.
Приуныл. Подумал. Нашёл выход:
— Идёмте в «Симпатию»!

По дороге молчал. Потом, про себя, прочёл из Теряна:

...И с беспутным братом своим
Под заборами
Хотел бы я умереть несчастным
И забытым всеми.

Покосился на Паоло Макинцяна:
— Вот уеду за границу, не буду писать тебе.
— Почему? — удивился Паоло.
Не ответил. Повернулся ко мне:
— Через несколько дней за границу еду. Александр Фёдорович Мясникян посылает.
Вот.

«Симпатия» — ресторан в подвале.
На стенах портреты, писанные маслом: Шекспир и Раффи, Толстой и Адамян.
— Пиши мне почаще, Паоло.
— Хорошо. И ты пиши.
— Буду, — вспомнил: — Только ты моих писем не прячь. Пусть читают, кто хочет.
Расхохотался Паоло.

— Сим стаканом позвольте...
Светлый человек был человек Паоло.
Тифлисский вечер.

На другой день.
Гостиница «Фантазия», недалеко от Воронцовского моста.
— Люблю такие вот дешёвенькие гостиницы.

И адрес всё тот же старинный,
Всё тот же отель «Париж».

— Пойдём пошатаемся, побродим. А завтра у меня свидание с Александром Фёдоровичем. Хочешь, возьму тебя с собой? Ты знаком с ним?

— Знаком.

— Большой человек.

У могилы Саят-Новы:

— Какой поэт, какой поэт... великий он. Удивительное явление... Да-а-а... и стихи писал, и музыку к ним сочинял, и пел и играл. Удивительный гений был. Пошли. «Умру, не увидите такого, как Саят-Нова...» И не увидим ведь.

Александровский сад.

Сфотографировались.

— Вот это мы здорово сделали. Потом буду хвастать, что с тобой снялся.

Засмеялся, прищурился. Читал мысли мои:

— Чуть-чуть не забыл. Новый, большой поэт появился. Тебе дело говорят, не смейся... Гурген Маслов. Вот бы на него хоть одним глазком поглядеть... В жизни не забуду этого имени — Гурген Маслов. Можешь себе вообразить — известный армянский поэт с фамилией Маслов. Стихи неважно, фамилия впечатляет. Очень на меня действует.

Я спросил, откуда «Чаренц».

— Ещё в Карсе напечатал несколько стихов, подписался — Согомонян. А тут к нам в город врач приехал, дом снял, на двери табличку повесил «Доктор Чаренц, внутренние болезни». Чаренц — до того мне понравилось, взял себе, вон как...

Один поэт я на земле, и имя моё —
Чаренц —
Должно гореть в веках, высокое
и торжественное...

Громко, как ребёнок, зашёлся в смехе:

— Не видать, чтобы так было...

Взял извозчика: «Гони в Авлабар, в Ходжаванк!»

— Надо построить в Ереване армянский пантеон и перенести туда останки всех наших великих. И Терьяна надо из Оренбурга перевезти. Что он там один.

— Нигде так покойно себя не чувствую, как на кладбище. Как подумаю, что все в конце концов здесь будем, сразу тихим становлюсь, мирным.

— И почему это на кладбище невозможно говорить громко? Вот мы с тобой совсем шёпотом разговариваем. Туманяна боимся, что ли... или Раффи? Слушай, кто вы думал эту смерть?

Шапку держал в руках всё время.

— Славно мы с тобой провели время в городе Тбхисе. Спокойной ночи. Приходи утром к девяти, вместе пойдём к Мясникяну. Не опаздывай, у него каждая минута на счету.

Белоснежная рубашка. Чисто выбрит.

— Выпьем по одной бенедиктину.

— Неудобно, заметит.

— По одной всего... Что такое бенедиктин? Ликёр и только...

— ...Ну кто там есть, в этой ассоциации? Где их заслуги? Пусть пишут, печатаются, а потом уж на других нападают... Фарисеи!

Эриванская площадь. 11 часов.

— Опоздали. И кто его выдумал — этот бенедиктин?

Перед дверьми Заккрайкома во весь свой рост, как живой монумент, встал Александр Фёдорович Мясникян. Протянул руку.

— Почему опаздываешь?

Чаренц задымил трубкой. Хотел приглушить бенедиктин.

Не помогло. Мясникян почувствовал. Сощурил глаза. Может, улыбнулся? Сказал:

— Завтра. В то же время.

Повернулся и пошёл. Как живой монумент.

— И меня похоронит, и тебя, а сам будет такой же большой, негибаемый. Удивительно сильный человек.

— Бумаги мои готовы. С Александром Фёдоровичем попрощался. Остаётся (засмеялся) с тобой... Карский шашлык ел когда-нибудь? Идём, карским шашлыком тебя угощу.

На Эриванской площади всё гудело ульем — магазины, магазинчики, рестораны, лимонад Лагидзе. Нэп!

В подпале — духан.

Над раскалёнными углями вращается унизанный мясом шампур. «Крутись, крутись, моя прялочка...» или «Ты кружись, ты кружись, карусель...»

Занимаем очередь.

Помещение крохотное, людей — не пройти. Хозяин ловкий, быстрый. На лаваш ложится красное мясо, посыпается мелко нарезанным зелёным луком, протягивается посетителю, затем...

Чанный стакан водки.

— Две порции... Из Карса сам?

— Давай ещё по стаканчику, пусть в голове раскалится. Гм, раскалится?

И раскалилось.

— Карс из рук уплыл, зато карский шашлык остался. «Если увидите Каринэ Котанджян на улицах Карса...»

И кто так подстроил, кто всё устроил? После карского шашлыка у карсца попали мы к извозчику, а извозчик — тоже из Карса.

— Эй, друг, давай в Муштаид!..

— Эй, друг, а ну в Шайтан-базар!.. «Если увидите Каринэ Котанджян на улицах Карса...» Сворачивай на Дворцовую!..

Какой-то саквояж купил, белые рубашки, дорогих галстуков набрал, дорогих папирос — на коробке горилла нарисована, называются «Джентльмен»...

— А что ты думаешь! Марку надо держать, чтоб не сказали, что поэт у большевиков раздетый приехал...

— Эй, друг, на Воронцовский мост... Дом Кировых!

Довольно скромная гостиница, где останавливаются ответственные работники.

— Сюда не всякий может попасть. Александр Фёдорович распорядился!.. Да-с!

Оставили свёртки, снова вышли на улицу.

— Гони в отель «Ориант»... «Если встретитесь с Каринэ Котанджян...» Эх, брат, сегодня ты мой фаэтонщик... гони в «Ориант». Много лет назад одно стихотворение я написал, две первые строчки только помню, недописанное осталось:

Сегодня я болен, болен,
И гроб мой отель «Ориант»...

— Теряновское что-то?.. Мы все теряновские... (Отвлёкся.) «Все мы, все мы дети-сироты». Одно время так и было. Теперь это звучит как гипербола. С какой ещё стати сироты, когда есть Александр Фёдорович...

Вспоминаются залы, с зеркалами, люстрами, фикусами, столы, заставленные блюдами, наполовину распитые бутылки, рюмки, и снова — извозчик...

— «Погоняй, извозчик, гони быстреей, кр-рак, кр-рак, кр-рак». Хороший бы получился поэт, жаль, не выдержал...

Это он про Абова.

Ещё вспоминается второразрядный какой-то ресторан неподалёку от Воронцовского моста — «Мефисто». Провёл рукой по волосам официантки-армянки, «сестрица», — сказал, шашлык заказал, встал, вышел, вернулся с карсцем, извозчиком, усадил, уважил...

— И там тоже ты извозчиком был?

— Нет, брат, нет...

— А чем занимался?

— Торговлей, брат.

Спросит ли про Абгара-агу, откроется?

Не спросил.

— Сестрица, поди получи от нас. А это тебе — гостинец.

— «Погоняй, извозчик, гони быстреей...» Видишь этот дом?.. Абгар-ага позвал в духан, дело есть, говорит... Пришёл... Хочешь в школу вернуться — дело твоё, возвращайся, ну да отцу тоже чем-то надо помочь, нет?

— Держи эти пятьсот ножей, — сказал, — повезёшь в Тифлис, продашь, возвращайся скорее с выручкой, дела мои плохи, вот тебе на дорогу, вот харчи... Сердце моё, гони... Я приехал, вон в том доме маленькую комнатку снял... Ножи продал... Эй, милый, гони в Шайтан-базар...

— Опять в Шайтан-базар? — не поверил я своим ушам.

— Сейчас увидишь, куда я тебя приведу... (Рассердился). Ты, негодный, дальше Ростова не поехал! Да ты на жизнь погляди, на мир этот, это всё я сегодня для тебя делаю, расходы эти...

— А выручку куда ты дел тогда?

— Какую ещё выручку?.. А-а-а, выручка... На выручку я «Радугу» издал... С Абгаром-агой — всё, квиты!

То, что он назвал «жизнь» и «мир», предстало предо мной в образе грязной пивнушки. Сели. Не в самой пивной, на террасе.

— Ну, несите, что там у вас...

Говор — как в «Пэпо».
Свежая рыба, водка. Пиво.
— Несите зеркала...

Потом в подвале сидели. Над нами стонал потолок, и сверху доносился до слуха какой-то шум, то ли детские, то ли подростков голоса.

Он прислушался.

— Вечерняя школа, что ли?..

Кто-то выкрикнул по-русски из окна:

— Дядь, поесть хочется...

Подозвал официанта, в чём дело, мол.

— Под предварительным арестом малолетние преступники, несовершеннолетние, кацо...

— Видал?..

Высунулся из окна, заорал вверх:

— Ребята, пусть один кто-нибудь спустится, еду заберёт...

— Под замком же, — сказал «кацо» с тонкой линией усов, — они другое придумали...

«Другое» спустилось. Словно с неба. Корзина.

Глаза у него загорелись.

— Ну, теперь уж тащи зеркала...

С десяток грузинских хлебов, отварное мясо, рыба, одна большая варёная курица, сыр...

Словно с неба — верёвку потянули, корзина исчезла. Радостный галдёж.

— Кто знает, нет ли там Челкашей и Горьких среди них? Кто знает, что из них выйдет?..

— Правь, земляк, к дому Кировых...

Земляк с улыбкой оглядывается.

— Ты сын Абгара-аги, понятное дело.

Чаренц в замешательстве смотрит на меня.

— Что удивляешься, брат? Не знаешь разве, теперешние фаэтонщики — шпионы?..

И вносит ясность:

— Я тогда покупал-продавал, много...

Погоняй, извозчик, погоняй лошадей быстреей,
Крак, крак, крак...

Тбилиси. Вокзал.

— Нет, славно мы провели время. А через несколько дней твой покорный слуга будет прохаживаться по улицам Полиса¹. Вашу светлость будет вспоминать там.

Звонок. Состав «Тбилиси — Батуми».

Занял своё место, оставил вещи, вышел.

— А ты возвращайся в Армению. Возвращайся домой.

Улыбнулся.

Третий звонок.

— Добро. Поехали. Держись, не унывай.

Поезд дрогнул. Поезд тронулся. Поезд исчез. Безмятежный тихий вечер был в Тбилиси.

¹ Армянское название Константинополя.

«Октябрь» — «Ноябрь»

Ленинакан.

Письмо из Парижа.

«Прочёл в «Мартакоче» твои воспоминания об Александре Фёдоровиче и о том счастливом дне, когда мы тобой пошли к нему... Тысячу раз жаль... Александр Фёдорович.

Буду здесь редактировать журнал «Хек»¹. Жду материалов...»

Я выслал.

Слухи — поехал в Берлин.

Слухи — поехал в Москву.

Телеграмма — «Еду Ереван поездом №... Встречай». «Октябрь» — союз рабоче-крестьянских писателей Ленинакана. М. Армен. Согомон Таронци. Гегам Сарьян.

Ленинаканский вокзал.

Чаренц сошёл с поезда бодрый, жизнерадостный. Зеленоватый костюм. Шляпа. Небрит.

Неужто это страна Наири...

Принял «рапорт». Я представил своих друзей.

— Очень рад.

Третий звонок.

— Приезжай в Ереван. Подумаем, что делать дальше.

Поезд тронулся.

— Держитесь!

Ереван. Кафе «Наири».

— «Рабоче-крестьянская!» Такой литературы нет. Пролетарская — это я понимаю. Союз нужно сделать общеармянским. И назвать его «Ноябрь», по месяцу установления Советской власти в Армении. Итак, союз пролетарских писателей Армении — «Ноябрь». Поздравляю.

— Армен в Ереване.

— Дальше?

— Едет в Горис учительствовать.

— Дальше?

— Поговори с Мравяном, пусть оставит в Ереване.

— На какой предмет?

— Прекрасный поэт.

— Что написал?

— «Шир-канал».

— Ерунда.

— «Газовая мечта», неопубликованная поэма.

— Принеси, почитаю. «Газовая мечта». Гм.

— Слушай, прочёл я «Газовую мечту». Приведи-ка его ко мне. Замечательный поэт может получиться.

— С какого года?

— 1906-го.

— Хорошую вещь написал, молодец. Оставайся в Ереване, работу подыщем.

¹ Руль, кормило.

До рассвета просидели на берегу Зангу.

— Я об Акселе теперь думаю. Если и он будет с нами, мне больше ничего не надо.

Корпел над декларацией.

— Сукины дети, помогите же! Это вам не стихи писать! Честное слово, легче одиннадцать поэм написать, чем одну декларацию.

— Аллах-аллах, кто выдумал эти декларации?

Съезд «Ноембера». Редакция газеты «Хорурдаин Айастан».

Распорядился закрыть все двери. Раз постучались. Кто-то, стоявший возле двери, хотел открыть.

— погоди, — подошёл к двери сам, рывком распахнул её.

Гюли-Кехвян и Алазан.

— Товарищ Чаренц, мы...

— Агентам ассоциации здесь нечего делать!

Захлопнул дверь, продолжал:

— Наша литература должна отражать жизнь нашей страны, лицо нашего народа, психологию современного человека.

— Революция, строительство социализма не свадьба с зурной и доолом, как это выглядит в стихах наших поэтов.

Пришёл Бакунц. Познакомились.

«Традиционная» ночь на берегу Зангу. На этот раз — вчетвером.

Жаркая, летняя ереванская ночь. Холодное пиво.

Когда был молод ещё незабвенный Карабалла, он не продавал цветов. Он выполнял поручения. Днём ли, ночью — всё одно. Дневные, ночные — всё равно.

Вот он показался. От стола к столу.

— Да, умереть мне за тебя...

— Нет, умереть за тебя...

— Карабалла...

— Да, товарищ Чаренц, слушаю...

— Уста Маркара знаешь?..

Смеётся, чудной вопрос задали...

Чаренц достал парижскую авторучку, написал на салфетке что-то:

— Отдашь ему. Духан Рабиса, возле бани, понял?..

— Знаю, товарищ Чаренц, знаю...

— Пусть возьмёт инструмент, ждём его. Это тебе на дорогу. — А его уж и не видать.

Уста Маркар со своим инструментом.

Уста Маркар, «Сама невеличка, милый невелик...». Или это: «Кто нам даст воды и хлеба»...

— Карабалла, скажи, пусть яш-ш-шик пива принесут!..

— О зурна, зурна, зурна...

Печаль.

Тоска жёлтая...

— Аксель, милый, дай-ка я тебя поцелую...

— Иди своего Арташеса Тер-Мартиросяна целуй.

— Не ревнуй, не ревнуй, и тебе стихи посвящу... «Сама невеличка, милый невелик...»

Ночь течёт. Сквозь ивы. Под шелест Зангу.
Столы пустеют. Горизонт синеет.
Рассвет.
— Уста Маркар, «Утро светлое».
Утро светлое.

Не всегда он был при деньгах.
— Что же делать?..
Замычал. Поглядел на меня внимательно, словно впервые видел. Достал авторучку.
— Гм... Отнеси эту записку Асканазу. Дома, наверное, сидит, воскресный день. Потом вместе куда-нибудь обедать пойдём...
— Неудобно...
— Что тут неудобного? Ежели он народный комиссар, так я народный...
На углу, на перекрёстке Абовяна и Амиряна — Мравян. Можно подумать, у нас с ним свидание.
— Чаренц...
Прочёл записку. Улыбнулся... Из чёрного бумажника достал червонец:
— Скажешь ему, чтоб завтра зашёл ко мне в комиссариат.

— Так и сказал?
— Ага...
Снял кепи с головы, хлопнул об колено:
— Вот, братец, бумаги у меня разные имеются, видишь, связи... Идём поедим где-нибудь.
Созвал совет «Четырёх». Очень был официален.
— Я повстречался с рядом ответственных работников. В моём... (поправился) в распоряжении «Ноября» имеется некая сумма...
Говорил так, словно не три человека слушали его, а переполненный зал.
— Товарищи, мне кажется, что мы на эту сумму должны прежде всего начать издавать газету... затем книжки наших товарищей.
— И под конец позвольте мне...
Но «под конец» он не выдержал...
— Черти, бумаги ведь у меня какие есть, связи...

Ежедневный бюллетень «Ноябрь».
— В Эчмиадзине печатать будем, подальше от этих всяких.
Бумаги у него были, связи были, единственную карету ЦК дали ему, автомобилей тогда не было.
Века прошли с тех пор, века...
— На фаэтоне Цека катаемся, вот!
Потом показал пальцем на кучера и приложил палец к губам — не говори, не отвечай мне, послушай только:
— Эх, куда, интересно, подевался тот тифлисский мой извозчик? Из Карса...
Всё было понятно.

Вторая и третья страницы — статьи против «этих». Острые, солёные, крепкие. Наборщики набирают. Мы делаем правку, вносим корректуру. Почти счастливы.
— Сегодня ты прямо как хан, как Гурген-хан... Пошли перекусим чего-нибудь.

Нэповская столовая. Под деревьями, сплетённый из хмеля и вьюнка, из лоз, без крыши и без стен, зелёный... домик. Стол. Длинные скамейки вдоль стола.

— Кажется, Амалия недалеко живёт. Ты поди разведи там какую-нибудь лирику, я отдохну немного...

Растянулся на скамейке. Под голову — кепи.

Заснул.

И в эту минуту...

Отряд школьников прошёл рядом с зелёным домиком. Они хором декламировали:

Нет, это не мираж был.

...Под солнцем вечерним, вечерним пламенем объята.

В старом поле бились толпы обезумевшие...

И когда они были уже на довольно почтительном расстоянии, кто-то, «соло»:

Я это, я вновь —

Пришедший из веков необъятный поэт —

Егише Чаренц —

Твой, страна Наири, певец яркий,

Хвалу тебе поющий

Твой сын великий...

Знали бы они, что «сын великий» разлёгся тут, в зелёном домике, на сухой скамье, кепи — под головой...

Я вспомнил, что он написал «Дантову легенду», «Всепоэму», «Страну Наири». Классик. На деревянной скамье — человек с горстку. Бледный лоб. Кривой нос.

Легенда.

...Эчмиадзин. Духота. Зелёный домик. 25-й год.

Был бы я художник!

И когда газета уже была набрана, готова...

Как гром среди ясного неба.

Из ЦК явился собственной персоной секретарь, унёс весь тираж...

— Взяли и унесли...

Два экземпляра только спаслось.

Долгие переговоры после этого, Ереван — Эчмиадзин. Эчмиадзин — Ереван. Бумаги есть, связи есть...

На второй и третьей странице «Ноября» — литературный, гладенький материал...

Как это произошло. Вместе с Арменом очутились у Бакунца. Коньяк, угощение. Задушевные речи.

Без него.

Он «застукал» нас на Абовяна.

— Откуда так?

— У Бакунца были.

— Что делали?

— Коньяк, угощение, задушевный разговор...

— Предатели...

Целую неделю ходил обиженный. Потом разыскал нас троих.

— Я не такой, как вы, зла не помню, пошли к Стёпе, кутнём как следует. Усту Маркара с собой возьмём...

Стёпа (Манукян) жил напротив церкви Григория Просветителя во дворе «Айпетрата».

— Подходящая комната для пирушки.

Из нэповских магазинов закупил, набрал, ещё заказал...

Бенедиктин, коньяки, ликёры, икра, ветчина...

— Большой пир закатим...

Не суждено было.

— Братцы, пока уста Маркар придёт, пропустим по одной...

— Ещё по одной...

— Ещё...

Чайными стаканами. Коньяк. Ликёр.

Единственным «живым» свидетелем всего дальнейшего был Норенц.

Когда вошли в комнату музыканты, глазам их раскрылась... картина — участники большого пира, распростёртые на полу, на тахте, под столом.

Живые, никоим образом не бездыханные, но трупы.

Единственный в здравом уме и полном сознании — Вагаршак Норенц. Сидит за столом, обстоятельно мажет масло на хлеб, сверху икрой покрывает... и мирно невозмутимо вкушает.

При виде столь безнадёжной ситуации уста Маркар удаляется со своими людьми.

Потом смеялся:

— Ну и пир же у нас тогда был — скоростной...

До возмездия и возмездие

Он жил в одной из комнат редакции «Хорурдаин Айастан». С Арпик. Тут же располагалась редакция журнала «Норк». Он был его редактором.

Дом-редакция? Или редакция-дом?

Поздний печальный осенний вечер.

Телеграф принёс весть о самоубийстве Есенина.

Я не знал Есенина.

— Чувствуется есенинский дух, — сказал он как-то о моих неопубликованных стихах. —

Не читал? Удивительно. Почитай. Очень полюбишь.

Прочёл. Полюбил. Очень полюбил.

С газетой в руках я вошёл к Чаренцу:

— Есенин... Покончил самоубийством...

Посмотрел на меня своими глубокими чёрными глазами, попробовал улыбнуться:

— Шутишь?

Я протянул газету.

— Нет... не шутишь. И он не шутил... Вскрыл вену... Да ещё и повесился. Гм.

Отшвырнул газету.

— И последние стихи написал кровью. Гм.

Увидел слёзы Арпик, закурил, зашагал по комнате, остановился у окна:

— Собственно говоря, этого следовало ожидать...

Проплясал, проплакал дождь весенний,

Замерла гроза.

Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,

Поднимать глаза.

1926 год. Весна. Лето.

Они получили новую квартиру. Арпик уехала в Ленинград.

Одиночество. Беспорядочная жизнь.

Не было Арпик, её увещеваний, её слёз.

Грустил, буйнил, тосковал. Своенравный. Неукротимый.

Не было Арпик.

Часто вспоминал Есенина. Засыпал за столом, просыпался и глухо и певуче читал:

Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным.
Неудержимо, неповторимо
Всё пролетело... далече... мимо...
Сердце остыло, и выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи!

На свете есть один-единственный Ереван, одна-единственная улица Абовяна.

Единственная улица. Всё остальное — подворотни, дворики.

Нет тайн у этой улицы. (Не существует для неё никаких тайн — ни политических, ни семейных, ни личных.)

Он вошёл в летний клуб. Белоснежная рубашка. Как двадцатилетний.

Не один был. Она.

Чёрные глаза. Иссиня-чёрные волосы. Короткая юбка. Белее снега лицо.

Ты не знаешь ещё, как безрассудны
Мои мечты, как безумны;
Чистый взгляд твой стрела смертельная,
И ты не знаешь, что я враг твой,
Светлое сердце твоё невинно,
Меня сжигает на груди твоей «лента»,
Ты ещё не знаешь, как безрассудны
Мои мечты и как безумны...

— Если бы Тьян не написал в своё время, я бы сейчас это сделал... Такое чувство, будто я написал — сегодня... Тебе не понять...

Возле нынешнего «Севана» — 3-я столовая.

Небритый, неряшливый, бледный.

— Что говорят про меня «эти»?

— Не говорят, ликуют.

— Хотелось бы знать — почему?.. Как ты сказал? Ликуют?.. Вам-то что, вы в революцию пришли с пустой головой и идёте, задрыв носы. А я, я от Брюсова иду, от Бальмонта и Блока, Серёжи Есенина и Маяковского... Вам-то что... Я от Верхарна иду и Верлена. Артура Рембо имя слышал? Про Максимилиана Волошина слышал когда?.. Для вас жизнь как намыленное шоссе, скользите себе. Французского поэта Франсуа Вийона не знаешь, два раза в тюрьме сидел...

— Что же, отправляться, значит, всем нам в тюрьму? — подумал я вслух.

— Не о том речь, — заорал он на всю столовую, — не понимаешь ничего. Назови мне хоть одного настоящего поэта, который бы не был в конфликте со своим временем... С Серёжей Есениным как всё вышло?!

— Ну, ладно, а Арпкина в чём тут вина? — не выдержал я.

— Кончай давай, знаю я твои мысли. Да я один волосок на голове Арпик не променяю

на эту... если хочешь знать... и вообще перестань разговаривать с позиций святоши... И тебя знаем. Ты вспомни лучше Амалию, себя в Эчмиадзине... расскажи лучше, что это ты там натворил.

— Я свободный человек, — я сделал невинное лицо, — у меня жены нет, и ответ мне не перед кем держать...

— Нет, ты расскажи всё-таки.

Я рассказал. Он про себя промурлыкал:

— «Мы все, мы все тут сироты...»

Немного погодя:

— Пошли отсюда.

Кепи на глаза натянул. Простонал:

— Одно я твёрдо знаю... ничего твёрдо не знаю... должна же кончиться вся эта муть...

Пришли ко мне этого пожарника отчаянного.

Карабаллу имел в виду.

Вечером на Абовяна. (Для этой улицы не существует тайн, ни государственных, ни семейных, ни личных.)

Встревоженные лица, шепоток:

— Что?.. Где?.. Когда?.. Куда?..

— Возле бульвара... девушка в больнице. Ч. Ч. Ч. ... милиция.

«По несчастному стечению обстоятельств... в ночь на 5-е сентября 1926 года, в 12 ночи, за довольно тяжкое уголовное преступление я был арестован и препровождён в уголовное отделение милиции города Еревана. Ровно через неделю ветреным пыльным вечером, сопровождаемый начальником милиции, я отбыл в Исправительный дом, находившийся напротив так называемого «Нового вокзала», рядом с военным гарнизоном».

А там:

«Комната — в длину 8 шагов, в ширину — 4».

Из Ленинграда вернулась Арпик.

Тяжёлая встреча в камере.

Горькие слёзы как у провинившегося ребёнка:

— Тысячу раз прости.

— Ты прости. Что бросила тебя, оставила одного, мой большой ребёнок, мой большой ребёнок...

Снежная, мягкая зима.

Подступы к Исправительному дому, такие уже родные.

Стучимся в дверь. Я и Армен.

Нас пускают без всяких проволочек. По особому распоряжению.

В комнате нет его.

— Егиш — он во-о-он где... третий барак... в очко играет.

Играет страстно, с фанатизмом уголовника.

Подпеваает себе:

Пошли в Арамус,
Потеряли совесть,
Ах, мой наганус,
Ах, мой наган,

Мой помощник,
Мой семистрельный...

— Ну что там, на свободе, нового, братцы? (Мне.) Это что же ты за такой стих про меня напечатал в парижском «Ереване»?.. Принеси почитаю.

— Пошли к начальнику, разрешение возьму, пошляемся немного.

— Товарищ Чахмачян (с комической серьёзностью взял под козырёк), заключённый Егише Абгарович Согомонян, он же...

— Идите... к обеду не опоздай и...

— Амо, дружище, для чего же я иду тогда, чтобы и не пить?

А во дворе:

— Беник, получишь мой обед, сам съешь! Идёмте!

— Начальник у нас гениальный человек, ребята. Давайте назначим его первым секретарём Цека.

Гантар. Оживлённая нэповская толкотня. Торговля.

Несколько листов лаваша. Несколько порций потрохов, в лаваш завернутых.

Дрожа от холода, поёживаясь, угодили... в нэпманский притон.

— Жизнь — она такая, братцы, как направишь, так и пойдёт.

— Новую поэму пишу, братцы... поэма-то поэмой, но сюжета и действующих лиц нету...

Действующие лица, впрочем, есть — я и Луна.

Затосковал.

— Друг мой, друг мой,
Я о-о-очень и о-о-очень болен...

— Печатное это — нет?

Люби улицы тёмные,
Дешёвые гостиницы,
Пьяниц умелых,
Проституток жестоких...

Вам от меня заповедь, братцы. Такие тёмные грязные кабаки куда чище вылизанных ресторанов Абовяна...

Просиял вдруг:

— А помнишь в Шайтан-базаре пивную?

Потом вдруг Стамбул вспомнил:

Где Полис теперь, где Бера,
Где ресторан «Сплендид» теперь?..

И — вернулся к действительности:

Ах, мой наган ты,
Ах, мой наган,
Мой помощник,
Мой семистрельный...

— Славно провели время, ребятки...

Ну, пока, Арпик ничего не говорите... скажите только, чтобы табаку мне принесла... для трубки, надоели папиросы до смерти... так-то. «Золотое руно» пусть принесёт...

И пошёл, поёживаясь от холода.

Ах, мой наган...

Прочёл в парижской газете «Ереван» моё стихотворение «С Чаренцем». Улыбнулся — облегчённо.

— Щемяще как написал.

Ты помнишь, ты помнишь, шелестела осень...

— Что же он ябедничал тут, этот парикмахер-поэт...

— Теперь я для тебя почитаю моё «Возмездие». Прочитать? Очень... как это теперь говорят — упадочническое...

Прочитал. Разговор с Луной, заглядывающей в тюремное окошко.

...Так говорила друг мой — Луна...

Помню восемь строк:

Ах-ах, глупый поэт.
Ты наивное дитя,
Что же, ты полагал,
Что возмездия нет?
Думал, что песню
Делают из слов?
Захотелось, прохладу воспел?
Захотелось — чека?..

Впоследствии он сжёг эту поэму.

Красная была тетрадка — с красной обложкой. Написано было на ней «Возмездие». Были в ней и стихи

В одном из стихотворений этой тетради описывается его собственная гибель. Самоубийство.

— Ты войдёшь и увидишь меня на полу, бездыханного, рядом дымящийся наган.

Последняя строка там такая:

Ну, обними, обними своего сладкого Чара...

— А что ты думал? Сидеть в тюрьме и дифирамбы писать? Или, может, марши? Сжёг всё.

И снова гром. Не среди ясного неба, правда.

Арпик умерла. Так гаснет звезда.

В темноте сидеть и плакать,
Что ещё мне остаётся...
Девочка моя, моя хорошая,
Чистая звёздочка моя...

Особым решением — недельный отдых. «Каникулы».

Крохотная гостиница на втором этаже пивного бара «Нагасаки».

Маленький одноместный номер. Посетители.

Арусь Восканян.

— Со мной покончено, Арусь, родная...

Сырое яйцо. Коньяк.

«Каникулы» кончились быстро. Пришли попрощаться.

Исаакян, Гюликехвян.

Показался и сам начальник тюрьмы, приехал в двухместном возке, запряжённом одной лошадью.

— Не пойду.

Быстро разделся, нырнул в постель.

Гюликехвян:

— Чаренц, ты сознательный человек, ты должен принять во внимание...

— Не пойду, Гюли...

Исаакян:

— Егиш, существует государство, законы...

— Не пойду, Аво...

Начальник тюрьмы Чахмахчян (до сих пор он молча, с улыбкой наблюдал всё):

— Товарищи, оставьте нас с Егишем вдвоём...

И пяти минут не прошло... Чаренц вышел к нам одетый и подтянутый и быстро спустился по лестнице с этим волшебником — начальником тюрьмы... Сели в возок и...

Что он сказал ему, как уговорил? Загадка.

Особое решение. Освободить.

Особое решение. Принудительное лечение.

— В Майкоп еду. К своим.

Помню лицо твоё старое, мать моя нежная, бесценная.

Светлые морщины и чёрточки, мать моя нежная, бесценная.

Уехал.

Из Майкопа вернулся исцелённый.

Прочитал все новые книги. Остался недоволен:

— Неужели эти люди не волнуются, не грустят, не любят? Что за бездушная барабанная поэзия!

— Надо создать свою лирику, свой эпос!

— Придёт время — издадим Дуряна, Мецаренца, Текеяна, Варужана, Сиаманто...

И возмущённо, словно кто возражал ему:

— И почему это не должны издавать их?!

Миновала беда.

Эпический рассвет

Степанаван. Гостиница «Ташир» — в четыре (или три...) комнаты.

Письмо из Еревана.

«...И особенно рад, что ты работаешь. Из газет ты, наверное, уже знаешь, что секретарём Цека назначен твой земляк. Агаси Ханджян. Я побывал у него. В высшей степени образованный и интеллигентный, хоть и очень молод. Вспомнился мне Александр Фёдорович...»

А я не работал — наплёл ему.

Сел. «Детство».

Эривань. Улица Амиряна.

Библиотека имени Шаумяна, ныне — Исаакяна.

— Ну, рассказывай, что делал?.. Проза?.. Возьму ночью почитаю.

Сунул в карман. Ушёл.

Бессонная ночь. Кому интересно знать про мою бабу, сестру, дядю? «Ну и чепуху же ты написал, парень».

И зачем я ему только отдал?

— ...Слушай теперь меня внимательно — собери всё, что у тебя есть из прозы, и вместе вот с этим принеси, книжку сделаем. Пока я в Петрате. Пока твой земляк там...

Женился. Девушка родом из Шамаха. Следовательно — по желанию Ширванзаде, с его одобрения.

И благословения.

— Вот и сватом заделался на старости лет... (Ширванзаде).

— Второй Арпик я уже нигде на всём белом свете не найду, Ширван.

— Изабелла хорошей матерью будет, хозяйкой...

— Изабелла, дай мне галстук.

— Галстук что такое, Чаренц?..

— Слушай, когда мы станем такими, как Туманян, когда мы остепенимся, чтобы гостей принимать, посетителей?.. И вообще — когда мы людьми сделаемся?..

— На, почитай, лютая книжка... Быстро прочтёшь, я Большого ванца взял.

(Большой ванец был Агаси Ханджян, книга — «Отступление без песни» Шаана Шахнура.)

— И в Америке один хороший прозаик есть, Амастег. Книга у Аксея. Очень ему нравится...

— Ты знаешь, что я был в Ване? В «Дантовой», там, где сказано «мёртвый город» — про твой Ван сказано. Я и в дома там заходил — может, и в ваш дом заходил... очень книг было много, богатые библиотеки. Там и увидел в первый раз книги Индры — большое впечатление производят.

Гостиница «Интурист».

Китайское панно — во всю стену.

Рояль. На рояле посмертная маска Маяковского работы Меркурова.

— Да. Есенин. Маяковский... Две стороны одной медали.

Переводил «Железную дорогу» Некрасова.

— Почему именно это?

— Потом поймёшь.

Потом я понял... И как ещё понял!

Чаренц редактировал годовой альманах.

Отправил меня в Литературный музей отобрать неопубликованные вещи Теряна.

Я отобрал, написал сам быстро четыре стихотворения и подсунул их вместе с теряновскими. Заметит?

Глаза его засияли:

— Смотри-ка, как будто сегодня написаны. Надо включить их в сборник.

Этого я не предвидел.

Я молча выбрал свои четыре листочка, молча спрятал их в карман.

— Отдай, зачем ты их взял!

— Это мои, я написал.

В глазах засверкали молнии.

— Сукин сын, меня никто до сих пор не мистифицировал!

Три дня не говорил со мной.

Вошёл в библиотеку на Амиряна.

— Чем заняты, товарищ заведующий?

А я в портфеле своём «порядок навожу».

— Ты лучше мне отдай свой лирический портфель, уж я тебе скажу, что там чего стоит...

«О женщина с зелёными глазами...» Аллах-аллах...

Схватил мой портфель и ушёл.

Прошло два дня. Пришёл с портфелем, показался мне озабоченным, мрачным даже. И даже официальным.

— Когда тебе закрываться?

— Через полчаса.

— Кончишь работу — зайди в пивной павильон. Буду ждать.

— А портфель?..

— Там и получишь.

«Получишь». Зловеще что-то.

Он раскрыл портфель и вытащил из него три папки.

— Прежде чем перейти к делу...

И произнёс целую обвинительную речь. Я обвинялся в рассеянности и прочих сопутствующих человеческих пороках.

— Вот, смотри. В этой папке ты увидишь свои самые слабые и непригодные стихи — так сказать, неприемлемые. Не уничтожай их, пусть себе лежат, среди них есть кое-что интересное. Здесь собраны те работы, над которыми следует ещё поработать. Поэзия тоже любит уход и заботу... Ну а тут — тут лежат стихи, которые хоть сейчас можно отправлять в типографию. Займись составлением собственного сборника. Пора уже. И вообще приведи в порядок своё литературное хозяйство. Я тебе не личный секретарь, ясно?

Куда уже яснее.

Улыбнулся кривоватой своей улыбкой:

— Придумай какое-нибудь хорошее название для книги.

— Что скажешь, я великий — или этот: «Нож к горлу»?

Делаю вид, будто вопрос — из трудных.

— Надо подумать... Наверное, ты?..

Смотрит на меня удивлённый:

— Ну ладно. Я или Вштуни?

Опять делаю вид, что задумался:

— Смотря... с какой стороны... подойти.

Вспыхнул.

— Ах ты собака, да раз уж на то пошло, я и Теряна больше...

Он отредактировал мой «Мргаас» («Время созревания плодов»).

Печаль поселилась в моём сердце,
И весел я, и грустен,
По лесу медведь прошёл,
В руках мою книжку держал, ворчал.

— Это печатать нельзя, Ванандеци тебя живьём проглотит.
С разрешения Ханджяна взял из музея все неопубликованные стихи Теряна.
Довольный, по-детски погрозился:
— Больше не обманешь.

— Итак, по подсчётам из «ноემберского» легиона осталось четыре человека — Аксель, Армен, ты, я. Слава аллаху.

Принципиальный был. Интересы литературы прежде всего.
Наири Заряна он не любил, но когда вышла его «Рушанская скала» — приветствовал от всей души. Обрадовался. Похвалил во всеуслышание.
— Прежде всего интересы литературы, вот...

Жаловался на отца Абгара-агу, глядясь в зеркало:
— Каким это носом меня одарил, э? Женщины в страхе бегут. Чтоб этого Абгара-агу! Да-а, то ли дел Вштуни, один рост только чего стоит!..

Покончил с какими-то делами, попрощался с Карабаллой. Вошёл в аптеку.
По телефону:
— Агаси, хочу зайти к тебе... С одним твоим земляком... Верно, у тебя их много... Угадал... Идём.
— Пошли в бельведер... к хозяину. Получится — нет?..
Что это он задумал?

По дороге, на углу улиц Спандаряна и Раффи.
— Видишь тот дом? Красный, недостроенный... мыловаренный завод будет...
— До каких пор мне по гостиницам мотаться... Квартуру сейчас себе попрошу, прямо в этом красном доме. А что, и к рабочему классу ближе буду. «Ты завод, завод, завод, святая книга наша, библия...»
— Можешь написать про это?

Простое, строгое убранство.
Ещё более простой приём. Блока читал.
Нам был рад.
— В красном доме, Агаси-милый... квартиру.
Расхохотался весело и сочно:
— В красном доме?.. Но почему обязательно в красном доме?
— Так хочу, Агаси-милый.
Набрал номер. Бумагу написал. (Отдашь Матиняну.) Чаем угостил, Блока подарил мне.
— Дай посмотреть. Отдам потом.
Присвоил. Чаренц.

«Красный дом». Второй этаж. Работа кипит.

Пилят, рубанком водят, рамы оконные приделывают, пол устилают.

Небритый, в пыли весь, весёлый. Руководит — прораб...

— Шкаф хочу сделать, бумаги кой-какие туда спрятать.

— От кого?

— От турок.

...Всё готово. Въехали.

— Изабелла, свари кофе.

— И никто не станет спрашивать, кто каким был писателем — пролетарским или «путчиком»...

— Книжки мои сожгут, девчонок в приют отдадут...

Очень хотел сына — Арпеник.

Очень хотел сына — Анаит.

— Не везёт нам очень!

— Слушай, парень, «Мура» твоего прочёл, кончай, посмотрим, что будем делать...

— Над «Муром» сейчас работаешь или над романом?

— Над обоими (вру).

— Параллельно?

— Ну да (и не краснею ведь).

— У-ди-ви-тельно... Смотри только, не приведи Оганеса-агу в Венецию, а Мура в Ван...

— Слушай, не умирает никто из армянских писателей, посмотреть бы, как хоронят...

Ширванзаде и Абемян долгие годы были в ссоре.

Причина?

Ширванзаде:

— Благодаря моим пьесам вышел в актёры Абемян.

Абемян:

— Благодаря моей игре вышел в драматурги Ширванзаде.

И не разговаривали друг с другом.

Он любил обоих.

— Надо помирить их, неудобно так.

Пригласил их в «Интурист» на ужин.

Пришли, ничего не подозревая. Были ещё мы с Акселем. «Враги» уселись. Надулись. Молчат.

И тут Чаренц произнёс блестящую речь. Оценил, расхвалил каждого в отдельности и вместе. Описал, какое они колоссальное впечатление произведут, если появятся вдвоём на улице Абовяна, и как досадно видеть когда один из них поднимается по одной стороне улицы, другой спускается по противоположной, один смотрит на север, другой на юг... Речь подействовала. Два почтенных деятеля искусств обнялись. Примирение состоялось.

Всё шло прекрасно. Ширванзаде налил вина Абемяну. Абемян выбрал для Ширванзаде хороший кусочек шашлыка.

Тут в глазах Чаренца зажёгся лукавый огонёк:

— Ну как их не посорить опять, а?

— Не надо! — взмолился я в ужасе.

И ужас мой был не напрасным.

— Собственно говоря, Ширван, если бы не Оганес, кто бы стал играть в твоих пьесах?
Что тут сделалось!

— А что останется от Оганеса, если отнять у него Бархудару и Гиж Данэла?
За столом остались он, Аксель и я.

Рассмеялся:

— Ничего, опять помирю.
Не успел.

«Книга пути».

Неприятности сверху, снизу.

Неприятности слева, справа.

Злился, горячился, становился желчным.

Морфий, медленное самоубийство.

— Тысячу грехов мне приплели. Сами, мол, ленинцы, а я нет. А кто лучше меня про Ленина написал? Никто.

Подал заявление о выходе из Союза писателей. Отказали.

Потом сами исключили. Ломая двери, ворвался обратно.

Сам о себе мог писать: «бессмертный», «великий», «яркий». Но когда в одном из стихотворений я назвал его «великим поэтом»:

— Неудобно. Что за «великий»? Зачем такое? Великий — это Туманян, Терян. — И переделал: «Наш поэт». — Здорово получилось, верно?

Дни съезда

Москва.

Он вошёл в вестибюль гостиницы «Новый Восток» с огромным арбузом в руках. Пошёл заказывать номер. Вернулся.

— Придётся минут пятнадцать подождать.

Всегда грустная Изабелла и трёхлетняя Арпик присели на чемодан.

— Что это вы, как беженки, уселись на чемодан.

Усадил Изабеллу в одно кресло, Арпик — в другое, сам устроился... на арбузе.

Изабелла возмутилась — что скажут люди?

— Они думали, это картонный, раскрашенный арбуз, пусть теперь видят, что он настоящий.

В Лазаревском институте.

— Терян здесь учился. Сколько раз проходил через эти двери. Что мы по сравнению с ним? Хулиганы...

— А чего же ты тогда писал: «Приятно читать вам слюнявую песню Теряна»?

— Вот я и говорю — хулиганы мы. Терян великий... — И совсем тихо:

Звенит покой полей, и льёт небесный свод
Неистощимый свет печали и молчанья.
В алмазном зеркале немотствующих вод
Сияют облаков живые очертанья.

— Вот как надо писать.

— «Песня Теряна слюнявая», — пробормотал я. Посмотрел на меня сердито, сорвал с головы шапку, хлопнул себя по колену.

— Кончай, Гурген-хан!

Во время съезда был какой-то грустный, взъерошенный.

— Ни Багрицкого, ни Маяковского, ни Есенина.

— Но зато N сидит за нами, — шепнул Аксель.

Он тут же оглянулся, посмотрел:

— Он не поэт, слушай, он балалайка. Вот Пастернак, Сельвинский, Светлов — другое дело...

Своим выступлением остался недоволен.

— Поздно дали слово, зал был пустой...

— Но когда ты поднялся на трибуну, зал заполнился...

Обрадованно:

— Ты заметил, да? И я заметил.

Потом победно:

— Тебя с Норенцем возвеличил, вот...

Аксель, полный мтнадзорской грусти, с кружкой пива в руках слегка подался вперёд, слушает.

— Отряд слаб. Старые стары, новые только на ноги становятся.

Неспокойный, взволнованный.

— И встанут, и придут, и догонят, что, иссяк, что ли, гений армянского народа!

Из Мавзолея вышел помрачневший.

— Что за чудовищная штука смерть: лежит недвижимый тот, кто весь мир привёл в движение.

Театральная площадь. Думает о чём-то напряжённо. Жара. Ослабил галстук.

— Кем бы ты хотел быть — известным поэтом или известным политическим деятелем?

— Известным поэтом.

Усмехнулся — гм...

— Например, Есениным?

— Есениным.

Стал читать, немного в нос:

И самого себя
По шее глядя,
Я говорю:
Настал наш срок.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк.

— Вот он, твой Есенин... Можешь вон тому милиционеру приказать покинуть пост? Не можешь. Хоть ты тысячу раз скажи ему, что ты поэт. Кто знает, может, этой самый милиционер не раз твоего Есенина в милицию доставлял... Так-то мир этот устроен.

После съезда. Колонный зал Дома союзов. Шумный банкет.

Изабелла, рядом маленькая Арпик.

Ни минуты не сидел на месте. Убегал куда-то, пропадал в толпе, снова появлялся.

Взял на руки Арпик:

— Смотри, вон Максим Горький.

— Максиморги...

— А вон тот дядя... с большой головой — Эренбург.

— Меренбург...

Засмеялся, расцеловал дочку.

— Не мучай ребёнка, — грустно улыбнулась Изабелла.

Последние аккорды

Арусь Восканян:

— Вчера у него была. Никогда ещё в своей жизни не был таким интересным...

— Морфий принял, читал фрагменты о Комитасе... Лицо, как бы сказать... как у мученика, страдальца, одним словом, лицо святого... Он долго не проживёт... Такие не живут долго (расплакалась). Я не знала, как себя вести... руку... ему... поцеловала. Не ожидал, принял вид обиженного мученика... Бедный человек, великий человек.

Возле двухэтажного чёрного здания старой почты.

— Никто не следит за нами?

— Нет.

— Посмотри хорошенько.

— ...

— Мне всё кажется, сейчас какой-нибудь кирпич на голову «упадёт».

Вошёл в помещение почты, с опаской выглянул оттуда.

— Большой ванец визу пообещал. За границу поеду. Может, вылечусь?..

Очередной удар грома. Из Тифлиса.

Тяжёлый и мутный людской поток нёсся от вокзала к улице Абовяна, от Абовяна к Спандаряна и от пригорков Конда — к кладбищу «Козерн».

Людской поток — из Канакера, из пригородов, из деревень и посёлков, всех возрастов.

Течёт поток, не видит перед собой ни заграждений, ни милиции, ни конных отрядов.

Хоронят Большого ванца.

Он выглянул на улицу, поглядел на человеческое море, натянул кепку, смешался с толпой.

В бельведер вошёл лёгкой поспешной походкой, поспешно и легко поднялся по лестницам, пробивая плечом дорогу.

Большой ванец спал. Но только не в постели.

У гроба венков не было, были цветы.

Рану на левом виске закрывала красная роза.

Быстро прошёл вперёд, приблизился, словно спросить хотел о чём-то неотлагательном, но тут же отшатнулся, повернулся, стал пробираться к выходу. Спустился вниз, попросил стакан воды.

— Видал, что случилось?..

Пальцы — из воска, лицо — пергаментное, глаза — факелы.

Пишет, читает, горит, бредит.

— Кто вошёл, Изабелла?..

— Никого нет, Чаренц...

Кривая улыбка трогает губы.

— Меня Чаренцом зовёт, представь — жена Исаакяна скажет Аво: «Чаю хочешь, Исаакян?..»

Взял со стола книжку Сиаманто.

— Прекрасный, страшный поэт...

Стал читать из Сиаманто.

Встал, вышел на балкон.

— Изабелла, в дверь стучатся...

— Нет, Чаренц, никто не стучится...

И в последний раз я увидел тебя в 1936 году в первых числах октября, во всяком случае, — до десятого.

Я проходил около Дома культуры, ты пересёк улицу Абовяна, пошёл по улице Спандаряна.

Шёл ты небрежной своей походкой, одно плечо чуть ниже, то плечо, к которому всегда клонилась твоя голова...

Эпилог

И проходишь ты до сих пор в моём сознании, во мне ты, великий певец великого и чудовищного века нашего, ты, стихийное, беспокойное, бушующее величие, светлый сын моего народа, ты — самозабвенный подвижник революции, страдалец и мученик, товарищ героический, учитель честный, Егише Чаренц...

1957 — 1966

ГРАНТ МАТЕВОСЯН

НА СТАНЦИИ

Вот что произошло осенью. Мы были в девятом классе — мы возмужали ещё на одно сладкое, грубое и жаркое лето, а наш директор школы и учитель географии товарищ Давтян, ни в коей мере не причастный ни к нашей успеваемости, хорошей и плохой, ни к скрытому смеху других учителей над ним — ни к чему, из мягкого плена благополучия и преклонных годов проговорил лениво:

— Заткнитесь, обезьяны.

На сенокосе, ночью, из-за стога сена тихо выскользнул и растворился в темноте, сняв ботинки, хромой бесстыжий Спандар. И тут же в лунном свете поднялась, на секунду тревожно прислушалась и шагнула в ту же темноту своим крепким долгим шагом высокая Лена, но на эти её шаги села во сне вдовая Гино: «Эй, кого там носит?»

Вот такие были дела. Такое случилось лето. Я прочёл «Декамерон», прошлогодние платья были узки девушкам, Игнатова Джемма бросила мне ранец на полдороге — «отдашь нашим» — и ушла с шофёром из Кировакана, чтобы сделаться его женой, худенький Гаруш из Шамута видел во дворе у новой учительницы лифчик на верёвке, зеленоглазая Анаит, уронив голову на руки, смотрела на меня, смотрела, и вот товарищ Давтян сказал сквозь полудрёму:

— Заткнитесь, ленивые обезьяны.

И я сказал, чтобы проверить, по-настоящему он спит или только полуспит, я сказал:

— Обезьяны не мы.

Выяснилось, вообще не спал, он сказал:

— Кто же?

Прошлогодние платья были узки, трещали на девушках, мы видели развешанное во дворе у новой учительницы бельё, летом Гино помешала этим двоим, великолепнейшей Лене и хромому Спандару, а у Анаит шерстяное платье и кожа на груди лопались. Я медленно и как бы через силу поднялся, презрительно наклонил голову и подождал. Он сказал:

— Обезьяны не вы, кто же?

С передней парты испуганно глядела на меня худенькая сестрёнка Гаруша, за моей спиной ужасом наливался прекрасный взгляд Анаит, я осторожно опёрся рукой о парту, пожал плечами и сказал:

— Кое-кто, — и, не моргая, прямо посмотрел на него.

— Продолжай, — сказал он.

— Очень надо, — сказал я.

Он выставил меня из класса.

На деньги, заработанные мной этим летом, мне были куплены рубашка, пиджак, часы, ботинки, брюки, специальные трусы для плавания — плавки, самописка, матери — шаль, детишкам — конфеты; в этом сентябре теплом и тайной повеяло на нас от нашей учительницы французского, от нашей вожатой, от всех девочек восьмого, девятого и десятого классов, я сказал:

— Как бы не так.

И для того чтобы учителя, и ученики, и родители учеников уважали его и уважали не только при встрече и разговаривая с ним, но и во всё остальное время — у себя дома за обедом, в туалете, читая газету, гуляя, он выгнал меня из школы. «Обезьяна», — сказал он в заключение. Я ему не сказал в ответ: «От обезьяны слышу», и поэтому ещё оставалась надежда, что, если попросить хорошенько, может, он и примет меня обратно. Но мой отец

рассудил иначе — он отправил меня в ремесленное училище. Дома галдели и молниеносно уничтожали колбасу с хлебом семеро ребят, моих братьев: «Сделаешься каменщиком — дому поможешь...»

— Бокс!.. Стоп!левой! Только левой! Правой у тебя нет! Бокс!левой, левой, левой, левой! Молодец!

В первом раунде я расквасил нос Карапету Карапетяну, который в училище пришёл из Апарана, был массивен как бык и шёл на тебя, словно боднуть собрался. Из пятнадцати встреч этого года в четырнадцати я разделал ему его широкое дурацкое лицо. Он начинал уже приедаться мне, он утомлял меня своей ненарушаемой готовностью быть битым, его присутствие уже не беспокоило меня и не мобилизовывало, и вот тут-то, в пятнадцатую нашу, решающую встречу с сокрушительной силой опустил он кулак на мой подбородок. Он заставил меня ткнуться носом в землю и ощутить на губах вкус собственной крови, смешанной с пылью.

—левой, левой, левой, — вокруг меня прыгал наш тренер, — где ж ты забыл свою левую, разиня?..

Осенью этого года нас взяли в Москву. Того, кто назывался противником, не было. Его не существовало. На ринге, в квадрате от канатов, была одна победа и было одно поражение, победу отдали Маканину, поражение мне — это означало, что мы с ним были противниками. Но, ей-богу, я его перед собой так и не увидел, кулак мой так и не нашёл его. По всей вероятности, он был где-то поблизости, возле меня, потому что ему хлопали, но нет же, его не было, его не было — я его не видел, я дрался с воздухом, с канатами, я принял судью за Маканина, «левую, левую, левую», — шептал где-то тренер, за перчатками два раза мелькнули маканинские кошачьи глаза, но потом его снова не было, «левой, левой, левой...» — шептал тренер, я неожиданно повернулся, чтобы ударить этого Маканина и правой, и левой, и коленом, и головой, чтобы разбить вдребезги его изворотливость, сделать его, наконец, как ему и положено было быть, реальным и зримым противником, но его опять не было. Я с размаху полетел на канаты.

—Надоел ты мне со своей левой! — заорал я на тренера.

И кусок хлеба не шёл в горло, и белоснежность постели была излишней, и девушки не пробуждали во мне мужчину.

В том году был напечатан мой большой очерк. Рассказ про бокс не напечатали, сказали: смотри — вот ринг, вот тут канаты. На ринге противники, а вот и судья — все на месте? Кого-нибудь недостаёт? Нет. Ну вот, а теперь противники вытягивают из неизвестности победу, кто сильнее, тот побеждает, при чём же тут слова: «В квадрате из канатов была одна победа и было одно поражение»? Очерк про строителей получил первую премию на конкурсе. Восемнадцатой весной я узнал женщину: я вспомнил в тот день свою школу в деревне, её директора товарища Давтяна и засмеялся. Я смеялся потому, что вот как всё получилось: Давтян мне напороочил участь свинопаса, я обернулся с порога, чтобы сказать ему «как бы не так», и увидел, как шамутовец Меружан изо всех сил тянет руку и просится рассказать урок. Он в моей памяти всё ещё тянул руку и рвался к доске, а я уже и в Москве побывал, и победу одержал, и поражение потерпел, и теперь вот нахожусь в гостинице и моюсь в ванне, а за дверью в номере дремлет женщина, и имени её я, честное слово, толком не знаю — не то Ида, не то Аида.

Среднее образование я получил в вечерней школе, и когда шамутовцы и цмакутовцы предстали в городе перед дверьми университета, застёгнутые наглухо, до последней пуговицы, томясь от страха и городской духоты, пугаясь неизвестности и чудовищных строгостей экзаменатора, у всех на устах было одно сочинение, которое обладало зрелостью дипломной работы и имело блеск классического произведения. То была моя письменная ра-

бота. Я шамутовцам и цмакутовцам сказал: «Ну как там обезьяна?» И прибавил великодушно: «Старый человек, дай бог ему здоровья, пусть себе живёт...» И сказал шамутовцам: «Ну как, какого же мнения мой отец насчёт профессии каменщика?»

«Урок выучил, братик? — на нашем диалекте протянул я нараспев Меружану. — Приехал, в институт поступить хочешь?..»

В этом году была сделана ещё одна безуспешная попытка вовлечь меня в большой бокс, но успехи мои были столь многочисленны, что эта неудача даже и не огорчила меня: друг за дружкой были напечатаны три мои очерка и один рассказ, я открывал вечер встречи с известным поэтом, мои однокурсники всё ещё боялись тени нашего декана, а его секретарша уже была моей без всяких обязательств с моей стороны, мои товарищи, все без исключения, благоговей и трепеща, с замершим сердцем поехали бы на научную сессию в Тбилиси, а я отказался. Беря интервью у всемирно известного Сарьяна, когда он в минуту невнимательности ошибся и не то сказал, я поправил: может быть, так, а не так? И он тут же согласился и поправился. На лекции по политэкономии я писал большой очерк в газету, время от времени я поднимал голову и возражал лектору, тот выходил из себя, а я снова принимался за свой очерк, подмигивал Вержинэ, дул на гладкий затылок Аэлиты и через плечо говорил Сурену: «Не мешай, чёртов сын, вместе ведь будем пропивать, дай кончить».

И пока Алхо потихонечку, шаг за шагом приближал к Цмакуту свой и Лисицы — Гикора груз, я в это самое время, расположившись в мягком вагоне скорого поезда Ереван — Москва, мнил себя баловнем судьбы, удачником, и всеобщим любимцем, и, право же, божьим наказанием для женщин. «Ах, этот Грант Карян...» Дюма-отец утопал в славе, окружённый женщинами, — это был я; Кутузов спал во время решающей битвы — это был я; наш царь Артавазд с высоко поднятой головой прошёл на плаху мимо шлюхи Клеопатры — это опять был я. Нобелевская премия, ужин в «Монпарнасе» — «На третий столик две бутылки коньяка». И кошечка Бриджит Бардо. И Пикассо: «Девочка на шаре». И разговоры: «Я вас ненавижу...» «Император вас просит». — «Передайте императору, что я задержусь на час...»

— Вержинэ!.. Вержинэ!..

— Поздно уже, поздно.

— Вержинэ...

— Четыре года... с первого дня... дома, на лекциях, в университете, на занятиях, в лагере, на раскопках... четыре года... куда ж ты глядел?..

— Вержинэ...

— Поздно.

— Ну что ж, Вержинэ, счастливого тебе домохозяйничанья!

А это, кстати сказать, так именно и произошло: Вержинэ вышла замуж за инженера, на госэкзамены прибежала запыхавшись, с капельками пота на верхней губе и во время экзамена срывалась, выбегала за дверь покормить ребенка грудью, а когда-нибудь в Ереван должна была приехать неотразимая молодая француженка — звезда французского кино, или же просто Грант из Цмакута должен был поехать в Париж. Мне пьедесталом служили визгливое восхищение мной моей матери, удивлённый взгляд десятерых наших малышей, отцова тайная гордость и предложение доцента Ахвердяна, сделанное в коридоре университета: «Оставайся в аспирантуре». И то, что я ехал в поезде Ереван — Москва, и поезд этот был скорый и был мой — я мог медленно прохаживаться по проходу взад-вперёд, чувствуя на себе отутюженные брюки, мог открыть окно, мог курить, в вагоне были пепельницы, месторасположение которых мне было известно, и ещё я мог лечь, положив ногу на ногу — это моё место. В 1939-м, правда, Лисица — Гикор и ещё несколько доярок ездили в Москву и, может статься, скорым ездили, но они, конечно же, не почувствовали его комфортабельности — их везли как бы оптом, как бы пачкой, и потом так же, оптом, водили по

Москве: вот Кремль, вот Москва-река, это Мавзолей. Потом их снова засунули в поезд и отправили обратно. А тут грузинка в брюках и с глазами с куриное яйцо уставилась на меня, бедняжка. И я это замечу или не замечу, как мне в голову взбрѣдет, — бедная грузинка. А второй пассажир в купе близорук и сильно лысый уже, а я удачливый, красивый, в серых в полоску отутюженных брюках, чѣрные ботинки начищены, тѣмный галстук на белой рубашке ослаблен, — я лежу на своём месте небрежно, нога на ногу, а несчастная грузинка глаз, наверное, не сводит с дверей моего купе, и третий пассажир — наверное, жена очкастого — запустила пальцы в золотистые свои волосы и старается не смотреть в мою сторону, но не может. Лорд Байрон мимоходом увидел её тоскующий взгляд, великолепный высокий лоб, длинные пальцы в золотых волосах и длинные ноги под столиком, и, похлопывая ладошкой по рту, лорд Байрон зевнул. «Останешься в аспирантуре? Оставайся в аспирантуре». Ох уж эти мне полуграмотные педагоги, уж эти полуграмотные доценты: происхождение глагола... Мейе говорит, Ачарян говорит, Введенский говорит, Ачарян говорит, и моя резкая сокрушительная реплика: «А сами вы что говорите?» — и испуганный взгляд девушек. Белый июльский день, Вержинэ в садике — муж заслонил её — кормит ребёнка грудью, а наверху уже её очередь, она плохо готовилась, «происхождение денег... деньги как... да ешь же ты, проклятый, надоел». За голубыми теньями в июльском солнце прошѣл Грант Карян. Ах этот Грант Карян — высокий, стройный, чѣртов сын; на что уж походка — и та красивая. На лекцию приходит сонный — красив, на демонстрации ноябрьской на улице — красив, с Каринэ из политехнического протанцевал твист — до чего же был красив, на экскурсии с лёгкой улыбкой протанцевал курдский танец — опять был красив... Каринэ из политехнического он дал пощёчину и в университет пришѣл с синяком под глазом, губы разбитые, вспухшие — да так, трое их было, припѣрли к стенке... — и сукин сын — снова был красив, убей бог, красив.

— Кировакан! Станция Кировакан!..

И этот Кировакан... Полненькие хозяйечки в халатиках, раскрасневшиеся и потные, варят варенье, двадцать третий сорт уже. «Видала?» — «Что?» — «Машину горсоветовского Грачика, чѣрную». — «И когда он успел обменять!..» — «Семнадцатого, пять дней уже». — «Вот это мужчина!» — «Ага». И сюита «Кировакан» в исполнении художественной самодеятельности химкомбината: «Мой Кировакан, ты пленяешь гостей своим волшебным видом, город песен, город вздохов, мой Кировакан». И мой отец: «Приезжай в Кировакан учителем, дом построим, кироваканцами сделаемся». Вот, вот, провинциальными царьками сделаемся, будем приезжать в сѣла — баранов для нас будут разделявать, в Ереван понадобится — командировочку себе оформим... Будем подходить к поезду Тбилиси — Ереван — нет ли таких подходящих дачниц, чтобы и молоденькие были, и без мужа или если с мужем, то чтобы муж, на наш взгляд никудышный был... — «Ну как, уговорил свою?» — «Посмотрим, ломается пока». — «Это они вначале так». — «Да знаем».

За окном на одну только секунду выглянула и ту же осталась позади маленькая станция Фамбак. Бедный маленький полустанок Фамбак — всего лишь одна красная фуражка, один зелёный светофор да один звонок. Сколько высокомерных скорых проносилось мимо тебя, а ты вот так и остался стоять в овражке — один зелёный светофор, одна красная фуражка, один звонок. И этот второй пассажир в купе — тоже ведь один раз на свете живѣт, да и то близоруким и лысым. И эта пассажирка — вся такая женственная и грустящая, но вот открывается дверь в купе и в дверях стоит Бриджит Бардо — бедняжке станет стыдно, что она по-заграничному сидела, запустив пальцы в волосы, и что ноги у неё обнажены, и что до сих пор она думала про себя, что красивая.

— Молодой человек едет в Москву сдавать экзамены?

— Молодой человек кончил университет, — не меняя позы, с ослабленным галстуком ответил я и сам себе сказал, что беседа идѣт на парижском уровне.

— Вот как?

— Светает, вы совсем не спали.

— Куда же направляется молодой человек?

— В Цмакут. Это в Чехословакии, — ответил я и поднялся.

Пришёл заспанный кондуктор сказать, что поезд сейчас остановится в Колагеране и будет стоять всего минуту.

— Цмакут, — сказал я, выволакивая корзины и чемоданы в проход. И почувствовал, что деревня Цмакут делается значительной.

А те, конечно, подумали, что происходит несправедливость — молодой человек создан для Парижа, а сходит в каком-то Колагеране и путь держит в какой-то Цмакут. Поезд медленно пополз дальше, а Грант Карян, заложив руки в карманы брюк, равнодушно наблюдал его движение. А корзины и чемоданы на тротуаре хозяина не имели. Потому что Грант Карян к ним тоже никакого отношения не имел. Колагеран становился значительным. Грант Карян, ослабив галстук на белой рубашке, стоял на единственном в Колагеране тротуаре. Он дождался, пока прошёл последний вагон, пока не воцарилось молчание и пока в воцарившемся молчании из темноты своего курятника не подал голоса петух. Грант Карян улыбнулся и проникся к этому петуху снисходительностью и любовью, совсем такой, как в сутолоке быстрой шумной улицы проникаются к чужому незнакомому ребёнку и глядят его мимоходом по голове.

Грант Карян, высокий и стройный, чётким шагом зашагал к телефонному узлу на станции, потом зевнул и, такой высокий и стройный, оказался в помещении, где пахло тёплой и нечистой утренней спальней. Вся сонная и помятая телефонистка мрачно сказала в окошко: «Что тебе?» И Грант Карян понял, что дома у неё есть дети, и подумал: «Бедный трудовой народ».

— Который час?

— Пять. Соедини меня с Цмакутом.

— Каким ещё Цмакутом?

— С деревней Цмакут, это моя родина.

Она на секунду отогнала сон и улыбнулась.

— Ты не косоного Егиша сын?

— Ну да, — согласился он.

Тяжело уронив голову на руки, закатив глаза, она с отрывистой ворчливостью спящего сказала:

— Слушай, слушай, ты, часом, не чокнутый?.. Слушай... а ведь у вас в селе весь народ такой...

В полутьме на скреплённых стульях поднялся, сел дежурный милиционер.

— Почему это? — спросил я телефонистку, а себе сказал, что люблю незлой юмор наших.

— Слушай, да кто же это там в пять часов сидит, тебя дожидается?

Дежурный милиционер посмотрел на меня покрасневшими глазами, посмотрел непонимающим взглядом, потом вдруг сказал очень неожиданно:

— Это не нашего косоного Егиша сын?

— Сторож, наверное, в конторе, — сказал я телефонистке и сам устыдился своих слов — что сторожу было делать в это время в конторе?

Всё так же не отнимая головы от стола, она проговорила лениво:

— Как же, миллионы твоего председателя могут унести — вот и поставили сторожа и пулемёт в руки дали.

— В Цмакут путь держишь? — спросил милиционер.

— В Цмакут.

— В те края вечером машина была, вечером бы приехал — уже бы дома был. — Подложив под себя на стуле руки, он ещё немного поглядел на меня, потом спросил: — Который час?

— Пять.

— Да, — сказал он и зевнул, — вечером бы приехал, дома бы сидел, машина была, так часиков в двенадцать уехала. Сколько тут километров?

— Двадцать пять.

— Да, — сказал он и снова улёгся на стульях. — Ночью ушла. Не в Цмакут, в Шамут ехала, ну да это же рядом. Сколько километров?

— Семь.

— Да, — сказал он. — И ваш заведующий фермой тоже поехал. Левон ведь у вас фермой заведует?

— Кажется, — сказал я.

— Не Левон разве звать?

— Не знаю, — сказал я.

Станция была узенькая. Крайняя необходимость вынудила инженеров построить станцию на немыслимом месте: скалы отступили ровно настолько, чтобы пропустить две пары рельсов. Перроном служил узенький тротуарчик, а здание станции разместилось за счёт речки. И живут на этой станции люди. У них рождаются дети. Дети ходят в школу до седьмого класса, потом садятся на поезд и выбираются из ущелья, чтобы никогда больше не возвратиться назад. А потом родительский дом им видится из окон рабочей электрички Алаверды — Лениканан, из общего вагона Тбилиси — Ереван и из окон пассажирского скорого Москва — Ереван. Наверное, на минуту им становится грустно при виде гусей, переваливающихся между линиями, и при виде скользящей вниз по ущелью жёлтой полосы солнца, которая, на секунду приласкав бегущую по дну ущелья горчичного цвета реку и разлитое между путями машинное масло, медленно переползает на другую сторону горы — к просторам и долинам, к лесам и тишине. Грант Карян прошёлся по единственному тротуару, отпил воды из родника-памятника, пошёл обратно и подумал: «Моя бедная, несчастная станция!» Потом вошёл в зал, который был недавно подметён и благоухал мокрой пылью и утренней свежестью. Грант Карян зевнул в пустом зале и сказал:

— Бедный мой Колагеран.

Грант Карян сел, потом лёг на скамью, и длинный его рост понравился ему, и то, что белая рубашка должна была чуть-чуть запачкаться, это тоже понравилось ему, и он подумал: «Вот мы и на станции Колагеран».

...Над его головой постучали по скамье пальцем, и кто-то потянул его за ногу. Грант Карян проснулся — милиционер то ли улыбнулся, то ли был огорчён.

— Образованным человеком кажешься, нельзя ложиться на скамейках.

Грант Карян, выбритый, плечи — косая сажень, красивый и ладный, сказал милиционеру снизу вверх: «А?» — и, руки в карманах, снова улёгся.

— Тебе говорят! — И Грант Карян снова сел. — Ездют в Ереван, голову там оставляют и приезжают. Сказано нельзя — значит, нельзя.

— Ладно, ладно, не сердись, — сказал Грант Карян и вышел из зала. И, стыдясь, вспомнил, что никакого такого твиста с Каринэ из политехнического он не танцевал. И, увидев сваленные в кучу на тротуаре свои корзины и чемоданы, он подумал: «Как же нам теперь отсюда выбираться?»

Милиционер, установив порядок, расхаживал довольный по тротуару. Он дошёл до родника, вернулся, посмотрел на меня, посмотрел на рельсы внизу и сказал:

— Не стой здесь, собери вещи, иди на шоссе, машины там останавливаются.

— А бывают машины? — спросил я.

— Когда как, сам знаешь.

— Спасибо, — сказал я.

В семь часов случилась машина. Когда я услышал её шум, я сказал себе: «Грант Карян всегда был счастливчик». Потом показалась сама машина — не грузовая — шамутовский «виллис», — и моя надежда померкла, погасла, как восемь лет назад, когда я не осмеливался голосовать перед легковой машиной. Мир сладкой жизни не принимал Гранта Каряна, Грант Карян не принимал сладкой жизни. Он сидел понурившись на корзинах, с которыми его связывали последние стипендии и надежда хоть немного порадовать мать.

— Эй, горожанин, — он свистнул мне. — Товарищ журналист! — В машине улыбался шамутовский врач, мой бывший одноклассник Меружан, он свистнул мне, и этот свист убил меня. Товарищ товарищу так не свистнет, хозяин слуге так не свистнет, так свистят разом взлетевшие вверх оставшимся внизу. Начиная с девятого класса, каждый дачник из Еревана был для них богом. Потом богами были только те из дачников, которые имели какое-либо отношение к медицинскому институту. Мать Меружа была им слугой и рабыней. Его пастух-отец присылал для них с гор мацун в мешочке — «осенний мацун, айта, другого ничего вкусного нету, что у пастуха ещё может быть?» — и улыбался с крестьянской дальновидностью, и так мало-помалу — там мацун, тут хитрость, тут мёд — ползком-ползочком Меруж прикарманил диплом и вот теперь стоит передо мной, стряхивает с живота пыль.

И я вспомнил, как меня избили и как я после этого совсем не улыбался. И что били меня вовсе не три человека, а один, да и этот один не был боксёр. Это был прораб, муж Вержинэ. Перевозя на строительство цемент, он спрыгнул на ходу с грузовика, я шёл в библиотеку, схватил меня за руку: «Узнаёшь?» Я и в самом деле ещё не успел узнать его. Он двинул меня раза два и поехал со своим цементом дальше, на своё строительство.

— Что новенького, товарищ корреспондент, куда путь держите?

Собаке до того шла благодушная эта ирония, что мне стало стыдно за свои несколько напечатанных статей и очеркообразных опусов. На свете тысяча профессий, что же, мне именно было предназначено эту проклятую бумагу марать?

— Домой, Меруж, еду. В Цмакут.

— Аа-а-а... браво, браво, хорошо, что нас вспомнил.

— Приехал, а машины нет, сижу вот, жду, — Грант Карян встал, подтянулся и улыбнулся чарующе.

— Ждёшь, значит?.. Что нового в Ереванах?

— Ереван как Ереван, Меруж, жарко, пыльно.

— Вот как, — сказал он, и зевнул, и похлопал ладонью по рту. — Ночь не спали. День рождения тохяновской дочки справляли.

«А ты взял и вместо подарка мацун принёс».

— Хочешь, давай чемоданы повезу, а ты с корзинами сам доберёшься.

— Как там твой долг? — неожиданно спросил его Грант Карян.

— Какой долг? — Меружан изменился в лице.

— По химии разве не было у тебя хвоста?

— Нет.

— А-а-а, — протянул Грант Карян, — ну тогда хорошо. Я думал, у тебя хвосты остались. Ну, браво, браво, раз так.

Тот ещё немножко подумал и сказал:

— Значит, не едешь?

— Благодарю, Меруж.

— Правильно делаешь, товарищ корреспондент. Тут стекло имеется, может по дороге поломаться, и дело у меня по дороге тоже имеется одно, задержим ещё тебя с твоими чемоданами, — он улыбнулся, — ты ведь у нас птица важная.

— Поезжай, конечно.

«Не может быть, чтобы ты без мацуна обошёлся».

Тот снова улыбнулся.

— Ну до свиданья, товарищ корреспондент, захаживайте к нам, — и ручкой сделал.

А я вспомнил коридор в университете, доцента Ахвердяна: «Об аспирантуре не подумываешь?» — и как в это время рядом с нами прошла совсем неглупая, женственная, полненькая, привлекательная карьеристка Аэлита — кандидат в аспирантуру и на всякую руководящую работу — в плотно облегающей её красивое тело одежде, и я враждебно посмотрел на её подвижную спину и проводил её взглядом до конца коридора, пока она не вошла в деканат. «Так ты подумай». — «Я подумаю», — и я по перилам съехал вниз. Потом съехал ещё один пролёт, потом — ещё, потом — ещё, ещё. Выходя, я сказал сторожу, который вот уже сорок лет летом и зимой носил военный китель, сапоги и военный картуз, я сказал этому сторожу Николу: «Хватит тебе в капитанах ходить, ты не думаешь о диссертации, а, Никол?» — и серьёзный Никол подумал, что, конечно, ему больше бы подошла диссертация и что университет не место для таких полоумных Грантов Карянов. А я в это время шёл по улице, под солнцем, и смеялся себе.

— Порожня была машина, почему не поехал? — любопытствовал милиционер. Глаза его были серьёзны, словно он был озабочен случившимся, но мысленно он смеялся, потому что понял истинную мне цену — так, рублей пятнадцать, — тот же старый осёл, седло только поменяли.

— Не порожня была, мацун вёз, — сказал я.

В словах этого Гранта Каряна, может, крылся какой-то смысл, может, нет, а может, он смеялся над ним, и милиционер осторожно, в меру посмеялся.

— Держи хвост пистолетом, — сказал ему Грант Карян и вошёл в помещение станции. — Я думаю, сейчас можно позвонить, соедини с Цмакутом.

— Здравствуй, Санасар, Грант говорит... со станции, — он со смехом согласился, что да, косога Егиша старший, и потому, что дела шли так хорошо, подмигнул телефонистке, — Санасар, я приехал, сажу на станции. Скажи там нашим, чтоб лошадь прислали... Нет, на себе не дотащу. Два чемодана, две корзины. До свиданья, жду.

Грант Карян достал из кармана полосатых брюк бумажник и из вороха, от ста сорока семи тысяч ста пятнадцати рублей, отделил пятирублёвку и протянул телефонистке.

— Давай мелочью.

— Мелочи нет.

— Поищи — найдётся.

— Не держу копеек.

— Как же нам быть?

— Пусть у тебя останется, потом вернёшь.

— Да ты что, спятил?

— Почему? — Грант Карян засмеялся.

— Слушай, кто же это у меня должен тут столько наговорить, чтобы я твою пятёрку разменяла и отдала тебе?

Грант Карян снова засмеялся и, смеясь, сказал:

— Ладно, сейчас в кассе разменяю, принесу.

— Касса вечером откроется.

— Пусть останется, — серьёзно сказал Грант Карян, — буду в ваших краях — зайду возьму.

Телефонистка уставилась на него удивлённо, и Грант Карян снова засмеялся. А телефонистка поморгала глазами, поморгала и сказала:

— Слушай... вот ещё сумасшедший... Слушай, отец у тебя чокнутый, и ты такой же, это что же с вашим семейством будет, а?

— А что? — засмеялся Грант Карян.

— Ещё и спрашивает!

— Нет, правда?

— Слушай, если я сейчас возьму эти деньги, и машина придёт, и ты с божьей помощью уедешь сегодня, на какие же шиши ты будешь папиросы себе покупать, а?

Грант Карян посмеялся до слёз, потом рассмеялся опять и подумал, что любит эту станцию и этот телефонный узел, где в ящиках нет ни копейки денег, эту телефонистку, у которой дома штуки четыре ребят, этого милиционера, и — бог свидетель — этого Меружана, и отца его с мацуном в мешочке, и добродушный, щедрый юмор людей своего края. И своего косоного отца, и свою медлительную печальную мать, и своих девятерых косоных братьев, и себя, сумевшего каким-то чудом умудриться и выйти прямоглазым, не косым.

Потом я сидел в зале ожидания; чеканя шаг, подошёл милиционер и встал надо мной.

— Сидя разрешается.

— А?

— Спи, спи, ночь, наверное, не спал.

После восьми часов станция наполнилась крестьянами, в девять пришёл рабочий поезд и смёл, унёс всех кур, все яйца, весь шум, всю зелень, масло, яблоки, галдёж, жалобы, мясо, сыр, угрюмость. Остались я, милиционер да старое станционное здание со старым станционным звонком.

— Пошли перекусим, — предложил милиционер.

— Спасибо. — Я понял, что он это себе говорит, с какой стати он будет каждого встречного тут потчевать, человек на зарплате сидит, а на станции за день тысяча людей проходит.

— Что ж стесняться-то, — сказал милиционер.

— Спасибо, не хочется.

— Ну если не хочется...

В десять часов я снова позвонил в Цмакут — к телефону никто не подошёл. В пол-одиннадцатого я позвонил опять, и опять звонок раздался в жарком селе, где был закрыт клуб, закрыт магазин, где был заперт сельсовет и здание школы благоухало известью и замазкой, а чёрный колодец наполнялся водой, а в верхней части села, заподозрив коршуна, задирала голову какая-нибудь бабка и на половине обрывался петушиный крик на плетне, — я увидел село ясно, отчётливо со всеми его запахами и цветами, услышал заливающийся в пустой конторе телефонный звонок, и в одну секунду я погрузился и затуманился. Там, среди солнца и печали, медленно старится собака по имени Басар, расхаживают с выводком наседки и, выстроенные в ряд, тускнеют и пылятся на полке тома Толстого, Ширванзаде, Мопассана; низко, однотонно и усыпляюще поют телефонные провода; в ущелье, неподвижная, как на иллюстрации, вот уж двадцать лет стоит всё та же старая белая лошадь, и скосбочилась и не падает крыша молчащей мельницы — куда это я еду? Я стану с ребятами косить сено, а потом, отдыхая, мы станем поддевать Лаврентия Варданяна — он не знал, что мороженое холодное, — проглотил разом. Мы будем над ним смеяться, а он растянется в тени, надвинет шапку на глаза и задремлет. А потом мы снова будем косить, и косить, и косить и так и не кончим, а там начнётся косьба на полях, и останется одна жара, и шершавый колкий колос, и потная, словно не твоя, шея, и обсохший горький рот. «Два часа как отправилась по воду, чёртова сука!» — «А ну попридержи язык!..», и я вспомнил университетский коридор и крепкую, твёрдую и мягкую спину удачливой карьеристки Аэлиты. Никто никогда не разговаривал с ней без улыбки. И неглупая была и не дешёвка: немножечко знаний и полная мера неназойливого мягкого обаяния. «Кандидатура для аспирантуры вполне подходящая».

Я стоял на узком тротуаре узкого вокзала и ел себя поездом. Я стоял на единственном тротуаре и поносил как мог Аэлилу Мирзаханян:

— Невежда! Все девушки твоей группы были умнее тебя! Карьеристка, организаторской своей работой вперёд пролезла... Самодовольная... И что ты там организовывала, спрашивается?.. Красотой брала?.. Да где же это твоя красота хвалёная?..

Я вспомнил плохую дорогу в село и то, что министерство вот уже семь или двадцать семь раз выделяет деньги на строительство этой дороги, и каждый раз находится в райцентре какой-нибудь пьянчуга, который в конце года идёт под суд. И ещё я вспомнил попутно много других вещей — то, что мать и отец думать не думают о том, как должны прожить их столько ребятишек — просто-напросто рожают их и любят равной одинаковой любовью, а они бегают необутые, рваные; и то, что я тоже два года в грязь и слякоть шлёпал почти что босой в школу из Цмакута в Шамут; и то, что эта скотина Меруж был самый тупой в школе, тупица из тупиц, и был самый осторожный; и то, что у того инженера-прораба была тяжёлая рука; и то, что во время дождей у моего отца сильно болят ноги, а он всё равно тащит на себе сено, дрова тащит, навоз из хлева выгребаёт и идёт в село, хромая на обе ноги, вместо того чтобы сидеть дома и потирать ноги; и то, что эта станция такая узенькая и миленькая... По всем этим причинам я ругмя ругал, поносил на чём свет стоит Аэлилу Мирзаханян. А она по-прежнему улыбалась, по-прежнему была хороша собой, кокетничала в деканате и ни на волосок не промахнулась: все улыбались ей, улыбался и доцент Ахвердян, все принимали её ум, её подготовленность и прочие выдающиеся качества.

Захочет Аэлита — сделается знаменитой, захочет — пол-Африки отхватит, а если не отхватит — значит, не захотела. Все другие «знаменитости» ничем не умнее её были. Вот президент Америки Вильсон сидел у себя в Белом доме, белый свет был для него приятен и мил, и захотелось ему сделать какое-нибудь доброе дело, он подумал и начертил карту «Великой» Армении, он чертил карту «Великой» Армении, и карандаш скользил по бумаге плавно и мягко — историки заглянули в его архив и сказали: «Ах какой был христианин!» А этот Гитлер что наделал — будто у самого всё было в порядке, — вознамерился во всём мире навести «порядок»! А этот армянский офицер турецкой армии — он что наделал, — избавил от неминуемого плена турецкого министра Энвера, а Энвер, не будь дурак, тут же организовал массовую армянскую резню; потом, ключи от склада были у него, пошёл нацепил на себя значок генералиссимуса. А эти дураки крестоносцы! Сказали: «Идём освободить гроб Господень». Пошли. Пойти-то пошли, а что дальше было — наткнулись на пряности, сукины дети, на перец, на имбирь... Схватили тот имбирь, перец, обрадовались и разошлись по домам. Их спросили: «А гроб Господень?» Они сказали: «Как?» Им сказали: «Ну как же гроб?..» А они ели обед, приправленный перцем, и это было неслыханно вкусно, и им некогда было даже ответить. А этот Рим философов, законодателей, поэтов и ораторов, который отправил Карфагену такую грамоту, словно не было в том Риме ни философов, ни ораторов, ни поэтов, ни законодателей, а словно сидели в нём одни сплошные невежи-варвары, — потребовал, чтобы Карфаген отодвинулся на тринадцать вёрст от берега моря... А этот Месроп, конюх цмакутский, не захотел быть просто конюхом, пошёл объявил, что он конюх-националист, за что и был арестован, и не подумайте — это ему даже понравилось. А его следователям, наверное, нравилась их тупая, дутая серьёзность. Что это всё за кошмар, господи!

Я сказал Аэлите Мирзаханян:

— Извини, Аэлита, изучай на здоровье свои деепричастия.

И когда подошёл и, тяжело дёрнувшись, стал поезд Тбилиси — Ереван, Грант Карян улыбался. По всей вероятности, глаза его глядели умно, и улыбка в уголках губ была красива. И он сказал в поплывшее окно поезда тупо глядящему на него волосатому мужчине и его толстой супруге:

— Жарко, да? Ешьте, ешьте, еда против жары — очень хорошо.

И сказал в следующее окно — наверняка каким-нибудь жуликам-спекулянтам:

— Куда это вы собрались, не за перцем? Перец уже крестonosцы унесли.

И сказал в другое окно русским девушкам:

— Слезайте тут, в Ереване жарко.

Они показали на станцию и поморщились.

— А в вашей Москве, думаете, всё хорошо?

— А мы из Курска, — сказали они.

— Молодцом, — заключил Грант Карян и пожилому мужчине в следующем окне про его жену-девочку сказал: — Куда этого ребёнка везёшь?

И сказал крестьянам в другом окне:

— На базаре полно яиц, дождались бы января — пятьдесят копеек штука!

И отдал честь вагону с военными:

— Здравия желаем, товарищ генерал!

И сказал улыбающемуся усатому:

— В Кировакан собрался? Варенье будешь трескать!

А поэту из предпоследнего вагона сказал:

— Натурализм, капитализм, пантеизм, социализм.

И выпивающим в другом вагоне сказал:

— Ш-ш-ш!.. Тише!

И победно пригвоздил влюблённых в последнем вагоне: «Мяу, му-у-у...» — девушка похожа была на влюблённого котёнка, парень глядел телёнком.

После этого целых пять часов я был на станции один. Мне казалось, я схожу с ума. Улыбаясь, я мяукал в уме, блеял козлом про себя, но от этого мне не делалось веселее. Я попробовал было разругаться с начальником станции, но из этого ничего не получилось.

— Почему у вас нет камеры хранения?

— Кто сказал, что нет?

— А где же она, не видать.

— Это другой вопрос. Закрыта.

— А почему закрыта?

— Работник уехал в Ереван.

— Уехал в Ереван. А мне что делать?

— Это тоже другой вопрос, положи голову на руку и зятяни баяди. — Длиннее этих азербайджанских песен-баяди ничего не было на свете.

Я снова позвонил в Цмакут — и снова это был безлюдный жаркий центр села и стареющий в печали пёс. Я заснул. Милиционер снова дёрнул меня за ногу щёлкнул по голове.

— Что, машина пришла?

— Нет, самолёт. Специальный. Нельзя лежать.

Мне не хотелось просыпаться, потому что мне было нечего делать. Я поглядел на часы и снова улёгся на скамье.

— Вставай!

Я вскочил. Он молча повёл меня между скамейками, подталкивая за локоть, потом открыл какую-то дверь, и, пока я думал о том, что в указателе ошибка, что всё это театр и что самое грустное дело на этой земле — быть жителем маленькой станции, он прошёл, стал за письменный стол и, глядя на меня оттуда, усмехался.

— Дальше? — сказал я.

А дальше на письменном столе безмолвно угасал телефон, а под телефоном было толстое стекло, под стеклом — письменный стол, под письменным столом — его утеплённые сапоги, под сапогами — стёртый старый пол, а под полом — погреб, под погребом — река.

Река текла уже тысячу, миллион, миллиард лет в тех же берегах, ударяясь о те же камни, и сердце разрывалось, до того было скучно. Но милиционер улыбался — рад был, что косить не надо, что на станции у него свой дом и что сам он имеет отношение к чему-то такому большому и важному, как скорый Москва — Ереван, что у него две свиньи и кормить их нетрудно, потому что на станции только у него свиньи, а двух поросей начальника станций унесло водой и буфетные остатки достаются теперь только его свиньям. А день — ну да день можно чем-нибудь заполнить: поезда приходят, уходят, машины проезжают, в буфете время от времени скандальчики затеваются, проезжают грузовики, гружённые каменным углем и разным строительным материалом, их можно остановить и спросить у водителя путёвку, радио говорит — можно послушать, как в Америке или ещё где какой-то сопляк спёр из банка слиток золота. И что он с этим золотом, спрашивается, будет делать — не деньги чтобы одежду купить. Верно, обменяет на деньги, чтоб одежонку или ещё какую-нибудь вещь купить. Да поймают, наверное, изловят... И можно, наконец, спросить у толстого пассажира, спустившегося набрать воды в колонке: жарко в Ереване? — и согласно и сочувственно покачать головой.

— Вчера в город поехал, — усмехнулся он, — сегодня вернулся, и мы уже и не люди для тебя, так, что ли, выходит? Для того тебе диплом в руки давали?

— Дальше, — сказал я.

— Нет, ты мне скажи, ты диплом для того получал или тебе его для другого дали?..

— Нет у меня никакого диплома.

— Ещё не хватало, чтобы был, — усмехнулся он.

— А вдруг да есть?

— Как же, да по тебе что, не видать, что ли...

Брюки у меня уже были помятые, рубашка загрязнилась, лицо, наверное, заплыло, и глаза болели.

— Я ночь не спал, — сказал я.

— А я при чём?

— Ни при чём.

Он откинулся на спинку стула и скверно заулыбался.

— Что я, не человек, что ли, а ну как запрю сейчас дверь и тебя измордую? Кто докажет, что я избил?

— Можно, — сказал я. — Свидетелей нет.

— Ишь, о свидетелях заговорил. — Он поднялся. — Пять лет даром государственный хлеб ел, чтобы прийти сюда и о свидетелях рассуждать.

Нет, он не из тех был, кто бьёт, просто он развлекался, время своё убивал.

— Знаешь, не морочь голову, — сказал я.

— Ну-ну-ну!

— Ох, да не морочь ты голову!

Он поднял телефонную трубку, сказал, чтобы телефонистка его с Кироваканом соединила, — он звонил в кироваканскую милицию. «Не морочьте ему голову...» Он попросил дежурного, сказал, что это Колагеран беспокоит, — парень просит не морочить ему голову; он ждал дежурного капитана, а я тем временем нагло усмеялся, но про себя я плакал, честное слово,

— Мы, видишь, теперь с дипломом...

— Да заткнись ты, дурак! — заорал я.

Он подробно доложил обо всём капитану, не прибавив и не убавив ничего. За эту точность я был ему благодарен. Капитан на том конце провода молчал, и мне на минуту сделалось жалко этого капитана. И тут мой милиционер завершил свою речь, присовокупив к сказанному мою последнюю реплику:

— Товарищ капитан, я его к порядку призывал, а он мне сказал: «Да заткнись ты, дурак!»

Капитан молчал, и я издали, не видя, любил его; капитан и я — мы боролись с тупостью.

— Привезти его в город, товарищ капитан?

— Не надо, — сказал капитан.

Милиционер обиделся:

— А что же мне с ним делать, товарищ капитан?

Капитан помолчал, потом сказал:

— Оштрафуй.

Я бы на его месте поступил точно так же, сказал бы: «Оштрафуй», — и бросил бы трубку, и всё тут. Какого чёрта! Но я был Грант Карян, я сидел на станции, ждал машины или подводы, а машины не было, и подвода не шла. Я должен был косить поле в Цмакуте, и я должен был каким-нибудь образом — уж сам не знаю как, — но я должен был подъехать к товарищу Рубену и урвать в школе хоть сколько-нибудь лишних часов, потому что дома меня ждал галдёж этих наших девятерых детей, моих братьев и сестёр, и запах их стиранных и нестиранных грязных трусиков, и запах толстых шерстяных носков моего отца.

— Копейки нет, дурак!

Он сказал, качая головой:

— А если сейчас снова позвоню?

— Слушай, — сказал я, — тебе хочется прогуляться в Кировакан, иди себе, этот твой стол и начальник станции никуда не убегут.

— Вуэй-вуэй-вуэй, — он деланно удивился, — получил диплом и сердится. Отец твой такой спокойный человек, как же это ты у него такой нервный получился, а?

Милиционер шутил, значит. Что ж, он мог вот так с шуточками-прибауточками и в Кировакан меня потащить. И оштрафовать. А потом похвастаться: «Сидел себе парень с новеньким дипломом, а мы его немножечко позлили, посмеялись над ним малость, повеселились».

— Доставай мошну.

— Никакой такой мошны нету, а вот что в редакции я работаю — про это тебе известно? Ах не известно? — сказал я.

Работал бы я в редакции — прикатил бы на машине, а этого дурака и не заметил бы вовсе и станции Колагеран тоже бы не заметил, я бы и знать не знал, что существует такая станция на свете.

— Ну и что, что в редакции, что ты можешь мне сделать? — Он отвёл побледневшие глаза и бесшумно облизал белые бескровные губы. Потом снова облизал — ему явно не хватало воздуха.

Я до сих пор не видел ничего противнее зависти полуграмотного человека.

— Писать станешь? Наплетёшь с три короба? Ну и пиши, мне ничего не сделается, с этой станции снимут — повышение дадут. Прикатил начальник на мою голову — в редакции работает, видишь. Напишет — меня с работы снимут. В редакции работает, карманы дырявые — копейки нет, он в редакции работает. Он не из Цмакута, он из газеты, ишь...

Я потянулся к карману, чтобы достать сто тысяч рублей, чтобы вытащить сто тысяч рублей и шмякнуть ими об его чугунную башку. Я вытащил последние свои рубли, те самые, которые он сам дал утром, разменяв мою последнюю, единственную пятёрку, и уплатил штраф.

После этого я стоял на узком перроне и глядел на следующий из Москвы в Ереван пассажирский скорый, а за моей спиной милиционер кивал на меня головой начальнику станции и говорил:

— Парень диплом имеет. В газете работает. Не задерживай поезд, а то так пропесочит

в своей газете. Шапку поправь, а то опишет в газете. И отец у него тоже газетчик. Отец и сын — оба газетчики.

Я молча, про себя, плакал и говорил скорому:

— Приходите важные-важные и проходите. На станции Колагеран остановочку делаете, стоите минутку. Благодарим покорно. Очень вам благодарны. Командировки берёте, потом где-нибудь печать проставляете, и дело с концом. Постель откидываете и спите себе всю ночь. В вагон-ресторан идёте. Курицу грызёте, коньяк пьёте. Просыпаетесь и зеваете.

Я снова позвонил в Цмакут — в моё бедное, разнесчастное малюсенькое село. Тут на ближней электростанции забыли его подключить в сеть, а большая луна только сияла в небе, но не омывала светом его дома, сады и тропинки, потому что густой лес не пропускал ни единого луча. Люди вернулись с полей, легли спать, и не нужны им были ни газеты, ни радио, ни разговоры.

— Осталось пятьдесят копеек, — сказала телефонистка, — это на завтра — завтра ещё позвонишь, позвонишь — машина прикатит, увезут нашего ереванца. Слушай, а что это с тобой? Случилось что? — по-нашему — серьёзно и смеясь — сказала она. — Отделали тебя. Ну да, отделали ребёнка, ясное дело.

«Чёрт бы их всех побрал, — думал я, — забрались в свои леса и знать не знают, какие дела происходят на свете, не знают и не хотят знать... Косят себе траву, скирдуют, коров держат, овец пасут, сыр и масло выделывают, мясо... И хоть бы к линии железнодорожной поближе были, а то забрались чёрт-те куда...»

Колагеран давно уже зажгёт свои лампы и фонари и тёплыми своими окнами глядел на станционный покой. Прошёл товарный, не останавливаясь. И почти до самой верхней станции проводил его и вернулся дежурный паровоз. Двое рабочих вот уже пять часов тянут пиво в ларьке напротив. Разорив заросли фасоли у стрелочника, мирно беседуя, проследовали гуси — пошли вдоль линии, свернули, перешли мост, перешли шоссе и нашли себе привольное местечко. Спокойной ночи, до завтрашнего утра.

«Чёрт побери, чем плохая станция, — думал я, — и город и деревня. Правда, никто сюда не приезжает на гастроли, но в любое время можно сесть на поезд и махнуть в Кировакан, Тбилиси, Ереван. Свиной хотите держать — пожалуйста. Чёрт побери, и город и деревин — свиной держат, а насчёт волков могут не беспокоиться — не подступятся. И на столах красный жареный картофель, и кружочки колбасы, и чай всегда есть, белая скатерть, радио вполголоса, свежий белый хлеб каждый день, и пекарня под носом, на электростанции. И свет всегда есть, не забудут включить. Чёрт дери, жил бы мой отец тут — сажал бы себе фасоль, свиной разводил, сам бы работал стрелочником, или милиционером, или пекарем на пекарне, по утрам приносил бы мягкие, горячие ещё батоны. Ах чёрт дери!»

Темень в Цмакуте ночью чёрная, как грязь. И убегает из-под ног земля, и размывает берега речушка, и в темноте волчья свора уволакивает собаку из-под дверей. И для каждого сопляка корреспондента из газеты надо резать барашка, а потом молча, разинув рты, ждать, что скажет эта шпана о погоде, об огне, о шашлыке, о Месропе.

И я снова выругал Аэлилу Мирзаханян и увидел, что совершенно бессилён против её ослепительной улыбки и хозяйственной расчётливой головы. А потом ясно — совсем как воспоминания о селе Цмакут — я увидел, что диван, кресло, и телефон, и милые переливы смеха подходят Аэлите, а эти корзины, и эта грязная рубашка, и покрасневшие глаза — мне. Каждый из нас был на своём месте. Старые министры и преподаватели умирают, уходят на пенсию. Кто-то должен заменить? Мы кончили университет, мы тихо-тихо будем подбираться к преподавательскому и министерскому возрасту. Кто из нас станет лектором или министром? Аэлита.

Мы стояли в коридоре, мимо нас прошёл преподаватель английского Гамлет Таронян. Его пружинистая походка была слишком экстравагантна, чтобы можно было удержаться и

не пойти следом, передразнивая его шаги, а до этого я рассказывал новый анекдот и мы все смеялись. Гамлет Таронян оглянулся — и, почёсывая нос и понутив голову, я продолжал идти его походкой, будто это была моя походка. А он проводил меня взглядом, пока я не завернул на лестницу и не полетел с этой лестницы кубарем, ничего не разбирая перед собой, сгорая со стыда и смеясь.

— Тише, ты что...

— А... Аэлита, какая глупость получилась! Тьфу!..

— Ну что с тобой? — между прочим сказала она и продолжала подниматься по лестнице с этим ветхим стариком Асратяном. Примерно два года я был психологическим рабом Гамлета Тароняна, а Аэлита этого Гамлета не замечала и внимания на него никакого не обращала, потому что его голос в деканате ничего не значил и он не был уважаем, а она знала в пределах положенного английский и походку его не передразнивала. Аэлита станет министром. Аэлита не виновата. Почему она на меня не похожа? Почему Аэлита серьёзна, и недурашлива и далека от шутовства? Аэлита станет министром, а я в горах скажу косарям, что она в нашей группе училась. «Товарищами были», — скажу я. Косари взглянут на снимок Аэлиты в газете, прочтут список почётных гостей, присутствовавших на приёме, посмотрят на меня и скажут: «Отец твой был хвостун, и ты туда же».

На узкой станции Колагеран, в глубокой ночи я умолял её:

— Нельзя быть такой карьеристкой, нельзя, Аэлита... Поимей совесть, нельзя так, Аэлита. Всё это можно, конечно, я понимаю, всё это так делается, но такой красивой и такой карьеристкой нельзя быть сразу, Аэлита...

Пришёл скорый Ереван — Москва. В пять часов утра. Ровно двадцать четыре часа спустя после моего сошествия на эту станцию. Он прошёл по мне и ушёл. А когда он пришёл, я посмотрел на часы и сказал, что молодец, правильно пришёл, без опоздания, и вчера тоже минута в минуту пришёл, без опоздания. Я хотел было похвалить машинистов за точность, но вдруг увидел, что вот уже двадцать четыре часа сижу на этой станции, и ужасной нелепостью показалось мне, что я мчался на вокзал в Ереване на такси, и то, что, погрузив в машину свои корзины, и чемоданы, и специально купленную бутылку лимонада, я приставил палец к виску и задумался — не забыл ли чего, и то, что я велел таксисту ехать по улице, где живёт Вержинэ, — «Грант на двадцать пять лет едет в Австралию», и то, что я достал папиросу и водителю сказал: побыстрее, и он погнал свою машину так быстро, что не прикурив свою сигарету, которую держал во рту перед этим.

Я прошёл в зал, потому что мне сделалось стыдно. Я закрыл глаза, потому что мне показалось — уже возвращается из Москвы мой вчерашний скорый. Конечно, это было не так, он должен был вернуться через четыре дня, а сейчас он, наверное, был где-то на подступах к Ростову. Ну что ж, он дойдёт до Москвы, разгрузится, его смажут маслом, почистят, и он пустится в обратный путь, а я, как этот мост, как эти гуси, как этот ларёк, — я всегда буду тут, и из меня, как из скамеек этого зала, полезут древесные жучки.

— Санасар! — заорал я. — Да что же это у вас там приключилось, ведь я уже тридцать часов тут торчу!

А он забыл про меня, он помолчал, помолчал и спросил:

— Это кто говорит?

— И что же это выходит, Санасар, — сказал я, — что же это получается, а?

— А всё-таки кто это?

— Это я, Санасар, я тридцать часов валяюсь тут без дела.

Он помолчал ещё немного и засмеялся, представив, видимо, несчастную физиономию этого бездельника, тридцать часов слоняющегося по станции — тридцать часов болтался дурень без дела и ждал, пока другие что-то сделают, а сам пальцем не шевельнул, звонки только звонил по телефону, депеши подавал.

— Да ты кто такой? — смеясь, спросил он.

— Грант, Санасар, я Карян Грант.

— Да, — обрадовался он, — косога Егиша Грант? Здравствуй, Грант!

— Здравствуй, Санасар.

— Я же тебе сказал, нету волов, заняты все волаы, не могу дать! — вдруг заорал он уже не мне, а кому-то там в Цмакуте. — Ну что, что город, собирай манатки и хоть сейчас убирайся в свой город, но, пока ты тут, изволь слушаться! Смотри-ка, все стали командирами... — Он покрутился в конторе и, подойдя к телефону, швырнул трубку на рычаг.

Ну что ты тут скажешь? Что я мог ещё сделать? Ну хорошо, я не танцевал с Каринэ из политехнического твист, а про себя гордился, что танцевал; очень хорошо, я самый страшный на свете человек, я чудовище, первый людоед на земле — это я организовал резню армян турками, я хочу каким-нибудь образом завязать новую мировую войну и среди шума её и дыма потихоньку, незаметно истребить, прикончить остатки армян и евреев, а потом ходить по этому поводу в трауре; я считаю, что на свете можно обойтись без этой станции, что не нужны железная дорога, телефон, радио, асфальт, молот, цемент и уголь, и пуговицы, и часы, постель, улыбка, рояль, зал, жвачка, буква — всё лишнее, — человек недостойн всего этого, я хочу начать жизнь снова с дремучих лесов, с кореньев и цинги. Прекрасно, но почему же люди своей добротой не предотвратят все мои страшные действия?

Чудовище Грант Карян сидел на своих корзинах и говорил себе: «Пошёл ты знаешь куда, был бы ты мужчиной, поехал бы с Меружем, размазня несчастная». Грант Карян покрутился, потоптался на станции и снова встал перед окошечком телефонистки:

— Соедини снова.

— Говорю тебе, оставайся у нас учителем, — она соединилась с другой дежурной и продолжала: — Ваши, когда добираются сюда, спрашивают: «Куда это мы попали — в Москву или Ереван?..»

— Санасар! — заорал я. — Ты человек или кто? Что мне сделать, чтобы ты сжалился, как мне скрутить тебя, скажи — сделаю! Четыре лета ведь косил на твоём колхозном поле!

— Что же, медаль теперь за это хочешь?

— Нет, — закричал я, — хочу человеческого отношения!

— Чем же тебе наше отношение не человеческое?

— Тридцать часов толкусь на станции.

— Ну да? Ты откуда говоришь?

— Со стан-ци-и.

— Кажется, вчера ты тоже был на станции? Всё ещё там, значит? Ох, чтоб крыша над тобой да не обвалились, пять лет в городе проучился, так и остался егишевской породой, ох-охо-хо...

— Санасар, — сказал я, — груз у меня...

— Сейчас пошлю вашим сказать.

— Санасар, груз у меня, прислал бы лошадь какую...

— Лошади нет и не будет, сейчас дадим знать вашим.

— У наших нет лошади, Санасар, а груз тяжёлый...

— Не знаю, — сказал он, — что вашим передать: Грант на станции и груз тяжёлый везёт не довезёт?

— Товарищ председатель, — сказал я, — наши не собственники; когда строили колхоз, лошадей всех собрали и людям сказали, когда надо будет — возьмёте, попользуетесь.

— Это ты у себя в дипломе такое вычитал? — спокойно поинтересовался он.

— Мне кажется, в твоём дипломе это прежде всего должно быть обозначено.

— Обозначено! Мы люди скромные, нам дипломы не нужны.

— В таком случае какого ты мнения насчёт элементарной человеческой логики?

— Наше дело работать, а не логику разрабатывать.

— Коня, Санасар!

— На тебе, выкуси! — сказал он и бросил трубку, и, когда я тоже бросил, он ещё что-то сказал.

— Чего?

— Ничего, — сказал он, — говорю, полон дом народу, и без лошади проживёте.

— Пожалуйста, — сказал я. — Можешь не говорить даже нашим. И вообще твою лошадь и твою мать... До свиданья.

...Грант Карян бросил трубку и, высокий и стройный, с деловитой небрежностью, чуть-чуть небритый, напряжённым и медленным шагом направился в политехнический институт, нашёл там Каринэ, протанцевал с ней твист, отправился после этого в университет, проучился в аспирантуре, защитил диссертацию, и не было среди преподавателей другого такого молодого и преуспевающего, такого остроумного и блестящего. Он был самым знаменитым в Ереване, все повторяли: «Грант Карян, Грант Карян...», о нём уже поговаривали в Тбилиси и Киеве, о нём знали в Москве: «Удивительно, в Ереване, и такой образованный, такой талантливый», и тогда Грант Карян, высокий и стройный Грант Карян с ослабленным галстуком на белой рубашке, двадцати восьми — тридцати лет от роду, не вставая из-за письменного стола, выдвинул ящик, достал пистолет и выстрелил себе в рот. «Тяжело, товарищи, бремя победителя», — и никто, так никто и не узнал, что его молодое сердце ежеминутно сжималось от тоски при воспоминании о станции Колагеран.

Чёрт бы побрал заграничные фильмы, чёрт бы драл нашу цмакутскую библиотечаршу, которая в детстве, пока какую-нибудь дрянь не вбивала мне в голову от первой до последней строчки, другой дряни в руки не давала: «Взял книжку — надо прочитать».

— Пожалуйста, — сказал я, — можешь даже и не сообщать нашим. И вообще твою лошадь... твою мать... До свиданья...

— Ничего, — сказал Санасар, — моя мать привычная, не впервой. До свиданья.

— До свиданья, — сказал я, — и мне тоже не привыкать — в десятый раз приезжаю на эту проклятую станцию и плесенью покрываюсь, пока выберусь. Большое спасибо, очень благодарен.

— Выбрали председателем и в грязи вываливают, чего не услышишь — и Андро тебя облает, и инспектор, и сторож, и соседский председатель... кому не лень, вот и до тебя очередь дошла... пожалуйста.

— Извини, — сказал я.

— Пожалуйста, но насчёт лошади ты извини.

— Ладно, — сказал я, — кто ты такой, чтоб ещё и обижаться на тебя, твою лошадь, твою мать, понял?

— Ну и вырос сынок у Егиша, ай-яй-яй! Ты подожди там ещё немного.

— Чего ещё ждать, я с тобой разговаривать не желаю.

— Ах, ах, до свиданья.

— Будь здоров, дома крупинки пшена нет.

— Приходи ко мне, у меня дома полно, возьми себе тонну взаймы.

— Мне что жалуешься, я не кладовщик твой. До свиданья.

— А я твой слуга, что ты у меня лошадь требуешь?

— Ничего я у тебя не требую.

— Очень приятно. До свиданья.

— Ты вспомни, как вы обманули моего отца, пришли, сказали, ты у нас честный работник, самый примерный, — выпороли всю шерсть из матрацев, заткнули свой план по заготовке. Примерные вы сами и честные тоже. До свиданья.

— Как же, потом мы орден за то получили, а у твоего отца до сих пор спина болит, на деревянных полатах спит. До свиданья.

— Не твоё дело, на чём мой отец спит.

— Что не моё дело?

— Болит у моего отца спина или не болит.

— А что же ты сам вспомнил про это?

— Вспомнить не мешает. До свиданья.

— Вот, вот, не забывай.

— А помнишь, как раз будто бы из центра человек приехал и будто бы у вас дома ничего не было, пришли, нашу свинью — мы её только что прирезали, — помнишь, как нашу свинью унесли?

— Помню, и как через два дня после этого вам копчёного окорока дали, тоже помню.

— Помни-помни и ещё помни, что нам кожа тоже была нужна, семеро босых детей сидели дома, ежели нам надо было коптить, мы бы сами закоптили, понятно? Мы и сами умеем коптить.

— Я копчу, ты коптишь, он коптит, мы коптим, они коптят, у тебя в кармане диплом, дальше?

— Матери официальное пособие выписали, а вслед кричите — крольчиха.

— В год одного, а то и двух приносит, как же её ещё называть прикажете? Вот, говорят, ещё одного сообразила — сколько же это вас, выходит, стало?

— Одиннадцать... Девочка или мальчик?.. Санасар, мальчик или девочка? Санасар...

— Говорят, родился, смешался с остальными, косой Егиш никак не разберёт, который новорождённый.

— Как мать?..

Моя ленивая, мягкая мать с тайной улыбкой — фальшивый вздох и тайная улыбка, нарочитая сердитость и улыбка: «Ну я тебя проучу, бессовестный, ох, извели меня, измучили, пол-яйца ты возьми, пол — ты, идите на улицу. Грант книгу читает... Ш-ш-ш... вон идёт ваш отец... ваш маршал отец идёт, что-то несёт. Араик, беги навстречу... Грант, химия осталась... Ваш маршал отец вагоны с добром из Германии привёз, в вагонах два кило сыру оказалось, что будем завтра есть, муженёк?» — «Про зовтро — зовтро подомоем...» — «Ну не муж, не муж — маршал, а не муж...»

— Санасар, — заорал я в трубку, — лошадь или ещё что... целый месяц с поля не уйду, косить буду!..

— А что выругал?

— Извини.

— Сначала ругаешься, потом прощения просишь.

— Да ведь со вчерашнего дня тут торчу.

— Я, что ли, тебя туда забросил, сам торчишь и сам на меня обижаешься!

— Да я, что лошадь не даёшь, обижаюсь.

— А-а-а, ну обижайся, обижайся, сколько влезет обижайся.

— Ну хорошо, не обижаюсь, Санасар.

— Правильно делаешь, что не обижаешься.

— Санасар...

— Ты что, спятил, кто тебе лошадь сейчас даст, август на дворе...

— Ну так и твой август, и твою лошадь, и твою мать, и эти мои корзины, и эту станцию... какой ты человек после этого?

— Как-как? Кричишь, не слышно...

— Кто кричит?

— Не слышу...

— А я тебя почему так хорошо слышу?
— Не слышу, придёшь, в селе поговорим.
— Лошадь пошли, как же я в село приду?
— А, лошадь... лошади не будет. До свиданья.
— До свиданья, Санасар, попомню я тебе это.
— До свёдонье, Соносор, попомню я тебе ото...
— Чего?.. Слушай... Да ты шут, оказывается! Тебе село доверили...
— Чого... слшой, до то шот, тебе село доверили...
— Тьфу ты!..
— А что же, раз уж председатель, так и пошутить нельзя?
— Два дня тут торчу, Санасар.
— Сочувствую.
— Машина под тобой, любая лошадь в любую минуту, чего тебе сочувствовать.
— Бедный ребёночек на станции, с косою в руках, солнце печёт, тени нет, воды нет, дождь должен пойти — ноги у него болят, и волк вон идёт, не знает, носки над костром мокрые посушить или волка отогнать, бедный ребёночек...
— Ня знаят, наски макрыи пасушить или валка атагнуть...
— Нё зноет, носки мокрые сошить олё волко отогнуть...
— Мацун атнес — прядсадателям стал, хатяли снять — масла атнес, да сях пар прядсядателя, ракаважу...
— Мосло пронёс, сом съел, мосло съел — но глоза нолёг, но глоза нолёг — профёссором стол, профёссором стол — но стонцию приёхал, роковожу — нё подчинёются...
— Нет, — заорал я, — хватит, я у тебя лошадь прошу, сам руководи кем хочешь, а мне лошадь пришли!
— А я не через масло председателем стал, да будет вам известно, товарищ Карян.
— Ну ладно, Санасар.
— Пожалуйста, пожалуйста, ничего.
— Извини, что время отнял.
— Ничего, не беспокойся, побалакали.
— Но то, что ты делаешь, не по-человечески.
— Тут этого товару нету, привези с собой немножечко со станции.
— Лошадь пришли — привезу...
Чёрт побери, я то окрылялся, то снова падал духом, он делался для меня то богом, то скотиной, то богом, то скотиной, богом — скотиной... и никак я не мог в эту минуту понять, что он не бог и не скотина — просто человек. В Цмакуте ливень, льёт, люди уселись, сонные, за карты или за домино или просто шутят, перекидываются словом, газетку почитывают или расселись вокруг телефона, молчат. Молния разбивается в соседних горах, и подрёмывая, они вспоминают, как в том году молния убила буйвола Лачина возле Белого родника, а в прошлом или позапрошлом году унесла Ашотову жену Розу и что новая жена Ашота за ребятами лучше старой смотрит, и как женщина она тоже лучше. По поводу громоотводов надо пожаловаться в министерство, а может, не имеет смысла? Говорят, в газете про эту статью напечатали — в селе кто-то читал, — кто читал? Господи, конечно, можно не то что в министерство, можно и в Москву написать, но куда ты их приткнёшь, эти громоотводы; говорят, в горах бьёт, настигает, ну да, в горах тоже случается, но ведь в тот раз сына Есаи в овраге убило, под ивой?
— Ну-ка взгляни там — посмотри, река раздалась? — спросил Санасар.
Река была бурая, бежала, захлёбываясь своей водой, билась о берега. Гуси в ней больше не плавали, под мостом не было видно старой автомобильной крыши и бочки изпод мазута. Речка бушевала — ещё немножко, и она снесла бы выстроившиеся в ряд дере-

вянные уборные начальника станции, телефонистки, милиционера, стрелочника, уборщицы, директора школы, учителей.

— Раздалась, Санасар, и что же дальше? — Я подмигнул телефонистке.

— Отчего раздалась?

— Отчего раздалась? — повторил я и снова подмигнул телефонистке.

— Дождь идёт, от дождя раздалась, понятно?

— Нет тут никакого дождя, Санасар, и солнца нет — духота одна.

— Да здесь, говорю, в селе дождь. А в горах и вовсе град шёл.

— Ну и что? — Я моргнул телефонистке.

— Как что, я беседую с товарищем Каряном.

— А о реке для чего спросил?

— А, — рассмеялся Санасар. — Да. Так, значит, наша ведь это река, товарищ горожанин, тут град идёт, там и расходится, понятно? Отсюда течёт река, забыл?

Он снова засмеялся, и я обрадовался, что он смеётся.

— А, дождь, значит, а то я думаю, чего это он про воду спрашивает. Значит, дождь у нас, и от этого, значит, река... Санасар! Прошу тебя... а? Лошадь или там чего-нибудь, — я подмигнул милиционеру, а он стоял и усмехался, — вторые сутки тут, Санасар...

— Нет, ты правду говоришь? Да не может быть! Неужто ты всё ещё в Колагеране? Уж на что вода — за два часа добралась до вас, без диплома, без всего, самостоятельно добралась до Колагерана и ещё куда-то направляется, а ты с дипломом, взрослый, образованный, за два дня до Цмакута не можешь добраться, ну и ну...

— Да ну, Санасар, к чёрту диплом, главное, чтоб в поле уметь работать. Лошадь мне, Санасар...

— Нет, почему же — диплом тоже нужная штука.

— Нужная, Санасар, но лошадь сейчас нужнее.

— Конечно, лошадь тоже вещь нужная, но диплом ещё нужнее, вон у Рубена диплома нет — снимают с директоров.

— И очень плохо делают, что снимают, какое они имеют право в дела твоего села вмешиваться!

— Нет, почему же, это даже и кстати, придёшь — сразу директором сядешь.

— Да кто меня директором назначит, Санасар. Смеёшься?

— Я замолвлю словечко.

— Спасибо, Санасар.

— До свиданья, ждём.

— Да ведь лошадь пришли за мной, Санасар.

— Без двух минут директор — на что тебе лошадь какая-то?

— Да ведь вещи у меня, Санасар.

— Ничего, забудется, директором станешь — всё забудешь, — здороваться и то забудешь.

— А?! Да ты меня ещё не знаешь, Санасар!

— Все так говорят сначала.

— Смотря кто говорит, Санасар.

— И так тоже вначале говорят.

— Ты меня испробуй, а потом говори...

— Ха-ха-ха-ха... и это тоже говорят...

— Наверное, трудно им приходится, вот и говорят.

— А тебе что так трудно пришлось, война, что ли?

— Войны нет, два дня на станции торчу.

— Возьми да и приходи.

— Да ведь груз у меня, Санасар, тяжёлый.
— Груз? Что ж это у тебя за груз такой?
— Две корзины, два чемодана.
— Две корзины, два чемодана, а внутри что?
— Да так, Санасар, разное.
— Тайный, значит, груз.
— Ничего тайного, Санасар, просто называть нечего.
— Две корзины, два чемодана — груз, говорит, а как назвать, так и называть нечего.
— Сахар, Санасар.
— Сто килограммов сахару?
— Пять. Лапша, Санасар.
— Девяносто пять килограммов лапши?
— Десять, Санасар.
— Прямо десять?
— Нет, восемь, Санасар.
— Разве восемь и десять одно и то же? Дальше!
— Да на что тебе весь этот мусор, Санасар?
— Вот видишь, сам говоришь — мусор, значит, прав я, что лошадь не посылаю.
— Печенье для детей.
— Для детей! Будто Егиш не может съесть. Дальше!
— Что дальше?
— Сахар, лапша, печенье — всё?
— Нет, ещё есть, Санасар.
— Ну-ка, ну-ка.
— Виноград. Первый виноград.
— Смотри, какой молодец!
— Книги мои.
— Молодец!
— Обувь детям.
— Совсем молодец!
— Пиджак для отца бумажный.
— Ай да Егиш, молодец! Надевать будет?
— Да думаю, что наденет. Шаль для матери, старые мои ботинки. Тетрадки с лекциями. Мой пиджак, трусы, майка. Для отца кальсоны. Пелёнки для новорождённого. Детское мыло. Женские трусы тёплые. Нож и вилка. Один торт. Один уют. Термометр и йод. Седло, замок, плуг, кизяк, шапка, латки, я тебе покажу когда-нибудь, сукин ты сын!

Я бросил трубку и такую услышал тишину, словно я был под наркозом; из далёких тёмных далей с тяжёлым шелестом возвращалось сознание.

— Ну что? — сказал я не то милиционеру, не то телефонистке, потом снова схватил трубку. — Садист!

Из темноты на меня с жалостью смотрели глаза телефонистки и с презрением и тоже жалостью глаза милиционера, штрих за штрихом принимали очертания стены, Орджоникидзе на паровозе, дверь, окно, шоссе, дорога, чей-то кабан, и я снова метнулся к телефону. Потом... потом милиционер держал меня за руки, и под ухом у себя я слышал его дыхание.

— Спокойно... спокойно... спокойно... — говорил он.
— Червяк!.. Невежда!.. Идиот!.. Скотина!.. — выдыхал я.

И вдруг мир показался мне красивым и печальным, и я почувствовал, как мозг мой теплеет, теплеет, вот уже совсем нагрелся и стал размягчаться. Стали мягкими и расплавились

все связи и обстоятельства в моём мозгу, у меня не стало никаких претензий, я никого не любил и никого не ненавидел, только с неодолимой силой притягивал к себе пол, я тянулся из объятий милиционера на землю, но он ещё крепче сжимал меня и не пускал.

— Ну пожалуйста... ну пожалуйста... — просил я. — Отпусти, пожалуйста... ну пожалуйста...

Он отпустил меня, но подо мной оказался стул, я посидел на нём с минутку, потом бросился на землю, и в этом было что-то демонстративное, напоказ. Я бросился на пол и хотел было завывать, но это было бы совсем уже нарочито. И я заткнулся. И запах той пыли на полу до сих пор ещё стоит у меня в ноздрях. Я лежал, растянувшись на земле, и говорил себе, что оплакиваю свои попранные права, и одежда на мне запачкалась и грязная именно поэтому, и платить мне больше за телефон нечем — поэтому, а милиционер всё-таки хороший человек, а Вержинэ у меня отняли тоже поэтому, и вот я даже не смог заголосить в полный голос и плачу про себя, и это красиво, но на самом деле я думал, как же мне теперь подняться с полу — повод ведь нужен какой-то, и ещё думал о том, что после всего этого Санаसर, наверное, всё-таки пришлёт лошадь, совестно ему сделается, пришлёт.

Среди глубокой тишины мало-помалу стал восстанавливаться мир со своими голосами и звуками: шум принадлежал реке, мерное постукивание многих колёс — поезду, вот он приблизился, вскрикнул, стал, постоял немного, ушёл, а вот кто-то подошёл к дверям с улицы, чьи-то шаги, дверь распахнулась, шаги прозвучали и затихли возле меня.

— Ого... напился!

— Нет, лежит просто.

— А что же случилось?

— Обиделся.

— Ай-яй-яй, кто же это ребёнка тут обижает, а?

Что бы он обнял меня и оказался моим отцом, и сам бы я был маленький, он нагнулся бы, поднял меня и стал утешать. А накануне я потерял бы ножик свой и плакал бы от этого. Я бы плакал, плакал, плакал, плакал... Меня бы утешали, а я бы от этого ещё сильнее плакал, я бы плакал и вспоминал, как он у меня складывался, какая у него была длинная рукоятка и какие были на этой рукоятке узоры, я бы плакал, а мне бы велели перестать плакать, рассердились бы, а я бы заплакал ещё пуще, уже и над тем, что мне не дают плакать, я бы плакал много, безутешно, и я бы заснул на руках у отца и проснулся бы, как молоко невинный, и, проснувшись, улыбнулся бы светло-светло...

— Вставай, парень... А то чемоданы там твои стоят и говорят: у нас, говорят, хозяин есть, и хозяин наш не какой-нибудь мальчишка — взрослый человек, университет окончил... А оказывается, хозяин ребёнок, валяется тут в пыли, землю собой вытирает.

— И телефон мне испортил.

— Ну да, испортил?

— Испортил — вот звонят, а я не слышу.

— Вот это уже хуже.

Грант Карян нехотя, через силу, поднялся с земли, встал, и покачнулся, и с красными глазами мрачно проговорил:

— Ну и что ещё?

Голос у него был хриплый, и понравился ему самому, и ему захотелось, чтобы его ещё о чём-нибудь спросили и чтобы он ответил и ещё раз услышал свой мужской низкий голос.

— Телефон испортил и копейки в кармане не имеешь, что же мы теперь будем с тобой делать?

— Нету копейки, ну и что?

— Не знаю что.

— Зато я знаю, — сказал Грант Карян.

— Что ты знаешь?

— Возьмите меня да повесьте.

— Ай-яй-яй, дурень цмакутский... слушай, если мы тебя, такого молодого, такого красивого, с новеньким дипломом, повесим, тебе самому не жалко себя будет?

— Нет.

— Ну раз нет... держите его... ведите...

Начальник станции и милиционер взяли меня под руки и повели. Они вывели меня из здания, перевели через мост, повели к милиционеру домой. Они вели меня, чтобы накормить жареным картофелем и напоить чаем, чтобы уложить меня, дать переспать ночь по-человечески. Чтобы сделать меня своим должником. А утром разбудить, сказать, что Алхо пришёл за мной, потом чемоданы и корзины приладить к седлу и показать, где мне перейти линию.

— Араик, — сказал я брату, — другой лошади не нашлось в селе, эту дохлятину привёл?

— Вуэй, — сказал тот в сердцах, — ты спроси, эту-то Андро давал или нет.

— А что он говорил, что не давал?

— Говорил, два часа как пришла с Касаха.

— А как же дал?

— Отец пошёл — не дал. Мама с отцом поругались. Потом мама пошла, привела.

— Как мама?

— Ну как ей быть!

— По дороге сильно гнал?

— Будто она идти могла, чтоб ещё и гнать.

Внизу бесшумно извивался скорый Москва — Ереван. На секунду мне вспомнился запах купе, женские ноги под столиком и Грант Карян, небрежно возлежащий на своём месте.

— Араик, — сказал я, — у тебя есть с собой деньги?

Он что-то промычал.

— Что, нету?

— Откуда?

— Мама не даёт тебе?

— Когда пособие получила — дала рубль. Я пошёл купить себе самописку, пришёл, смотрю, рубля нету. Теперь не знаю — по дороге потерял или дома оставил.

— Ничего, Ара, я дам тебе денег.

— Да на что мне деньги?

— Конфет себе купишь.

Убийственно по-взрослому, убийственно озабоченно он поглядел на меня с минуту и отвернулся.

— Что, не любишь конфеты?

Он почти заорал:

— Люблю!

— А что же тогда?

— Дома куска сахара нет, ты говоришь — конфеты!

— Араик... Араик, кто брал лошадь в Касах?

— Гикор, — обиженно ответил мой братик.

— Араик, я дам тебе самописку.

Он очень просто спросил меня:

— А сам чем писать будешь? Карандашом?

— Да найдётся чем, Араик.

— Ты свою самописку дашь мне, а сам станешь карандашом писать?

— Ну хотя бы.

— Молодец, — сказал он.

«Левой, левой, левой, левой... молодец! Левой, левой! Левой... Правой нет! Левой! Правой нету — вторая мировая война унесла. Трамваем отрезало. Родился без правой. Левой, левой, левой! Молодец, молодец!» После нескольких товарищеских встреч он окрестил меня Великолепным Левшой. А когда меня взяли на испытательные соревнования, он возомнил уже, что я повезу его тренировку, его мастерство вместе с данным мне прозвищем в Москву, Берлин, Рим, Мельбурн и вознесу всё это на помост победителя. «Левой, левой, левой...» Комиссия была настроена благожелательно. Я тоже полагал, что у меня великолепная левая. Но этот бык — этот Карапет Карапетян в первую же минуту двинул меня по подбородку. Я сказал себе — ничего. Комиссия ждала моей неожиданной левой. Припав к канатам, тренер шепнул: «Левой, левой, левой». Я был с ним согласен — я знал, что вот сейчас, ещё немного — и взметнётся моя неожиданная левая.

...Мы были уже одеты. Комиссия разошлась, Карапет Карапетян был объявлен победителем, тренер мой, плюнув напоследок, удалился, мы стояли на улице, была весна, сумерки, а я всё думал, что вот-вот взметнётся моя неожиданная левая. «Ну и что это был за бой?» — сказал я Карапету Карапетяну. Он пожал плечами. «Хорошо отделался от моей левой, Карапет», — сказал я. Потом я попросил Вержинэ сказать мужу, что Грант боксёр, что у него ужасная левая. Не знаю, сказала она или нет, но он спрыгнул на ходу с машины, раза два двинул меня по морде и повёз дальше свой цемент.

— Санасар хороший человек, товарищ Араик?

— Человек как человек.

— В селе дождь шёл?

— Сказал тебе — шёл.

— Араик, а почему дядя не хотел давать лошадь?

— Я сказал тебе, лошадь только из Касаха вернулась.

— А что же это он даёт лошадь Гикору в Касах, а мы просим — говорит, только из Касаха вернулась.

— Что же ему говорить, давно вернулась, если она только что вернулась.

— А он знал, что я тут неделю уже валяюсь?

— Они с отцом немного в ссоре.

— Из-за чего?

— Он сказал отцу: «На что тебе столько детей?»

— Какое ему дело?

— Сказал: «Столько ртов, как прокормишь?»

— Да какое ему-то до этого дело?

— Отец сказал: «Мне их кормить, не тебе», а он сказал: «Ну так и иди доставай лошадь в другом месте, Алхо только из Касаха вернулся».

— Как же нам теперь быть, Араик?

— Ты насчёт чего?

— Вообще.

— Не знаю. Отец сказал, с дядей холодно здороваешься.

ПОД ЯСНЫМ НЕБОМ СТАРЫЕ ГОРЫ

Наши матери косили и плакали. Лошадей всех взяли на войну — работали на волах и плакали. Вязали тёплые носки и плакали. Пели и плакали. Плакали и вздыхали: Шакро-о, Мартирос, Шакро-о, Пион, Гикор. Мы их как следует и не видели, мы их не помнили, наши матери сквозь песню и плач говорили «Шакро-о», и сердца наши переполнялись печалью и радостью, какой-то печальной силой, какой-то тяжёлой надеждой. На жёлтые шелестящие поля, скинув рубахи, вышли косить смуглые парни, а их взяли и увели на войну. Табуны коней погнали с мягких гор на войну. Из неосёдланного этого табуна ни один конь в село не вернулся. Из ребят два-три человека вернулись, и наши матери плакали и сквозь слёзы говорили: «Андраник вернулся, Шакро-о».

...Ды-Тэван не мог смеяться, вместо смеха у него получалось «ды... ды... ды... ды...». И ещё у данеланцевского Артёма была тогда свирель, он играл на ней перед войной, а теперь не играл, но эта гладкая ладная свирель была, мы знали, что она есть. Иногда перепал нам керосин, и в такие дни ярко светились керосиновые лампы... А бывало, перепал кусочек хлеба... Да, война кончилась, но костям, уже гниющим в далёких безвестностях, русских и немецких, но людям, уже ставшим воспоминанием, уже делающимся землёй и цветами, им уже невозможно было плакать и морщить лицо, и на их морщинки уже не могли накладываться новые морщинки, и в зелёных чистых наших горах травинка за травинкой, ниточка за ниточкой начинали уже наново сплетаться улыбки. Как цветы делаются букетом, так радость слагалась из еле уловимого аромата хлеба, из одной штучки сливы, из кусочка каменной соли, из яркого керосинового пламени и из того чувства, что погибли лучшие, и вернулись лучшие, и на войну не пошли тоже лучшие. Каранц Оган немножко хромой, немножко рыжий, немножко рябой, весь полный и рыхлый, с булькающим, будто варево во рту перекачивает, смехом, немного сплетник, немного шут, с бельмом на глазу — Оган...

Никаких советов давать не буду, читай спокойно, на бойся.

Оган щурил глаза и кривил рот, стоя в сумерках возле отары.

— Васка, ач-чи! — вскричал Оган, и рыжий, с длинной шерстью козлище-вожак стал выдираться откуда-то из середины отары, отара пришла в движение, а вожак, выбравшись, медленно потянул её за собой к Гарнакару. Пастухи так и говорят. Говорят: «Тянет отару». Говорят: «Ну, тяни давай». Вожак тянул отару медленно, торжественно, трудно — как тянут тяжесть, мокрый, полный улова невод, к примеру. — Ванка, ач-чи! — вскричал Каранц Оган и посмотрел мутным прищуренным глазом. В сумерках встрепенулся другой огненный нэри, вожак то есть, встрепенулся и с диким переплясом метнулся из отары к Шиш-тапу, к Острому холму. Отара потекла следом.

Нэри, да, значит, козёл-вожак. Но ещё козленком его кастрируют. Кастрируют, чтобы не пробудилось никогда мужское и козлиное, чтобы тяжелел, крепчал в нём вожак. Сначала, значит, кастрируют, потом принимаются за рога — заворачивают их в горячий-прегорячий хлеб и выпрямляют и закручивают кверху, и вот вожак тянет за собой отару. Этот горячий хлеб был ещё до нас и до войны, — совсем давно. У села тогда было два вожака для двух его отар. А потом пастухов взяли на войну — воевать против немецких танков, отары смешали, и Каранц Оган, переступив в сумерках с ноги на ногу, прищурил глаз с бельмом и вскричал: «Васка, ач-чи... Ванка, ач-чи...», — и отара разделилась, и вожаки потянули каждый свою старую отару, один к Шиш-тапу, другой к Гарнакару.

Старая собака в сумерках устремилась было к Шиш-тапу, но в таком случае оставалась без присмотра гарнакаровская отара, она качнулась к Гарнакару, но тогда без присмотра

оставалась шиш-таповская отара, старая собака постояла-постояла, растерянная, в сумерках и поползла к ногам Огана. Она была такая старая — и зубов у неё не было, и видела плохо, почти не видела. Она была настолько уже сторожем при овцах, что давным-давно забыла, что такое щенки. Она всюду плелась за отарой, крутилась в ней и вокруг неё, и, когда существование отары на секунду угасало в её мутных глазах, в её усохшем обонянии, в её умирающем слухе, во всех складках её сторожевого существа, она глухо, про себя жаловалась и выла, и это был плач по утерянной отаре, плач над собственной, можно сказать, уже наступившей смертью. Потом она снова находила отару, и радость этого нахождения была опять-таки глухой и молчаливой, где-то совсем внутри её существа. Она и на самом деле должна была вот-вот потерять отару или же должна была почувствовать бессмысленность своего существования и уйти, исчезнуть с лица земли — вот так должна была она погибнуть. Она потёрлась о ноги Огана и заплакала — оттого что отара раскололась пополам, оттого что она одна.

— Ну что, — сказал Оган, — что плачешь? Асатур вон пришёл, — сказал Оган. — Майор твой пришёл, — засмеялся Оган, — тебе в подарок Берлин принёс, что скулишь? Эй, майор, — позвал Оган. — Иди, — сказал Оган собаке. — Где твои овцы, пошла к Гарнакару. Не сдохла ещё, ступай ищи своих овец.

Я прочёл в газетах, что средний возраст пастухов в селе Дсех Туманянского района — семьдесят лет. Это значит, что если среди пастухов есть такой, которому случайно двадцать, то среди этих же пастухов есть и такой, которому сто двадцать лет. Но если бы на самом деле существовал такой стодвадцатилетний старец, весь мир бы знал об этом. Нету. Значит, и двадцатилетнего тоже нету. Значит, всем по семьдесят или около того. Для них собственное тело и то груз, но они всё ещё тащатся за отарой. Ещё тащатся. Завтра уже не смогут.

— Ничего, — сказал Главный специалист, — старики — народ крепкий, ещё пяток-десяток лет протянут, пока что-нибудь придумаем.

— А молодые? — спросил я, и он поправил очки в золотой оправе и сказал:

— Молодые в космос смотрят.

— А шашлык любят.

— Да, любят шашлык, — сказал Главный специалист. — Шашлык вы тоже любите. И я люблю шашлык. Поэтому мы используем опыт Англии. Пастбища в Англии делят на участки, и границы обводят электрическим проводом, таким, знаете, слабое напряжение, сегодня отара пасётся на этом участке, завтра на том, сегодня здесь, завтра там. Если отара вздумает перейти сегодня на завтрашний участок, электричество легонечко бьёт по морде — не переходи, милоч, это завтрашний участок.

— Но... А как же пастух, а пастушество?..

В летней рубашке с короткими рукавами, с галстуком поверх этой рубашки, руки на полированном письменном столе, Главный специалист спокойно посмотрел из-за стёкол в золотой оправе и сказал:

— А в чём, собственно, заключается работа пастуха? В конечном счёте? Чтобы сегодня отара паслась на этом участке, завтра на другом. Сегодня здесь, завтра там. Работу пастуха со всей добросовестностью выполнит электрический провод.

— Да, но как же тогда вожак, как же собаки, как же волки... а сумерки, а костёр, а голоса, ночные голоса, звёзды...

— Волк? Волк выйдет из лесу, чтобы сожрать овцу, электричество его легонечко по морде — не ешь того, что тебе не предназначается, милоч, — с лёгкой улыбкой сказал он, и я увидел, что он бог, со снисходительной любовью смотрит сверху на эти мелочи. — Кстати, — сказал он, — а что такое нэри?

— Вы Главный специалист, — сказал я. — Вы не знаете, что такое нэри?

— Знаю, — сказал он, — но для чего он?
— Чтоб тянуть за собой отару, возглавлять.
— Вот видите, какое излишество, — сказал он, и, сидя в его чистом кабинете, против него, разумного и холодного, я вспомнил эту историю.

— Пошла, — сказал Оган, — видишь, где овца? Ещё не сдохла, ступай к овце, догоняй, ну!.. Майор, — позвал в сумерках, — Асатур...

— Оган... — отозвался из сумерек Асатур. — Это кто же майор? Я?

— А кто же Берлин взял, не ты разве? — И, полуприкрыв рот, каранцевский шут подождет ответа.

Побрякивая медалями под буркой, Асатур медленно затопал в сумерках к Гарнакару, и был он могущественным, и был защитником, и мы, дети на летнем пастбище, почувствовали это, когда он шёл к Гарнакару, мы почувствовали себя маленькими и защищёнными, мы наконец перевели дух и расслабленно улыбнулись: сейчас он навезёт на волах валежнику из лесу, и волы не будут больше наступать на наши босые ноги и не ударят копытом по нашей сухой коленке, и на открытых горных склонах солнце не ударит нам в голову. Мы чувствовали это всё время — и когда он шёл к Гарнакару, позвякивая в сумерках бронзой своих медалей, а Оган прищурился и: «Майор, собаку свою позови», — и когда он, прежде чем кликнуть собаку, спросил из гарнакаровского загона: «Какую ещё собаку?» — И Оган ответил: «А Чамбар...» — И Асатур в гарнакаровском загоне хлопнул в ладоши и удивился собачьей старости: «Да ты что?! — И крикнул из Гарнакара в сторону летнего выгона: — Чамбар, Чамбар, эй, Чамбар!» — И Оган сказал старой собаке, которая плакала у него в ногах, но была настолько стара, что как следует в голос плакать не могла и тихо скулила, жалуясь на своё одиночество и на то, что отара разделилась пополам, Оган сказал ей: «Иди, Асатур зовёт, ну! Где твоё крыло, крыло твоё где, говорят?» — А крыло означает ту часть отары в ночном дремлющем загоне, которую пастух, как брату, доверяет собаке. И старая собака поплелась искать в гарнакаровском загоне крыло тех прежних своих молодых, звонких времён, и Асатур крикнул из Гарнакара в Шиш-тап, позвал собаку, которая была у него до Берлина и до медалей, и до Гитлера и должна была быть до тех пор, пока жива была в ней отара, Асатур крикнул:

— Сюда, Чамбар, эй... — И в это время в дверях своей палатки согнулась-выпрямилась-согнулась, вся сжалась и всхлипнула невестка Лоланцев:

— Асатур тоже пришё-о-ол... Стоящие, нестоящие, все вернулись...

— Ахчи, — столпились возле неё женщины, — стыдно, ахчи, — сказали женщины.

— Заткнись, — сказали женщины.

— Молчи, — пригрозили женщины, — чтобы голоса твоего не слышали.

И, окружив её, женщины молча оплакали вместе с ней её погибшего и этот бархатный вечер, и нашу худобу, и наши вытаращенные в этих сумерках глаза, и женщин и заставили её вместе с ними радоваться Асатуру — что жив-здоров и бронза на груди звенит, и вот пришёл-притопал к ним из всех берлинов и европ... И в это время над летним выгоном и над женщинами от Шиш-тапа к Гарнакару раздался-прозвучал голос Огана:

— Майор!..

— Эй! — из Гарнакара в Шиш-тап, словно из Берлина в Ахнидзор, крикнул Асатур.

— Одну из своих медалей дай мне, а?..

Женщины друг дружке сказали:

— Помолчите-ка, посмотрим, в своём уме вернулся, нет...

И снова Оган крикнул из Шиш-тапа в Гарнакар:

— На что тебе столько медалей, отдай мне одну...

Асатур не отвечал, он соображал, можно или нельзя отдавать свою медаль другому, и мы услышали булькающий смех Огана — словно родник задышался в темноте.

Из своего Гарнакара Асатур запоздало ответил:

— А тебе на что?

«Нацеплю на грудь. На что тебе столько?» — подумали вместо Огана мы, ребяташки, но сам Оган молчал, молчали женщины, молчал в сумерках Шиш-тап, казалось, что-то должно случиться, и от этого все покрылись мурашками. Глухо завывала в Гарнакаре старая собака и тут же заткнулась, словно её придушили, потом вечер наполнился цокотом тысячи ног, и это было похоже на глухое землетрясение.

Двигалось азербайджанское кочевье.

Впереди шёл азербайджанец-кочевник. С набрякшими сосцами, окружённая щенками, то обгоняя азербайджанца, то отставая от него, бежала длинная красная сука, и широкой стеной текла густая, грязная, усталая отара.

Оган ответил на приветствие азербайджанца и засмеялся:

— Люди, смотрите в оба, как бы он чего не унёс.

Усталый азербайджанец слабо улыбнулся в ответ и прошёл — дескать, он понимает, что шутник шутки шутит.

Отара за ним текла грязная, усталая, глухая, словно шла из средневековья. Чистые дожди наших гор всё зелёное лето должны были смывать с неё грязь степей, и эта же самая отара в наших горах должна была стать белой, как облако, а сейчас она текла густая, грязная, глухая, и мои барабанные перепонки чуть не лопались.

Отара потекла, кончилась, она завершилась коровами и волами, у которых на спинах были прилажены хурджины, в хурджинах сидели детишки, они смотрели широко раскрытыми глазами и ничего не видели, им спать хотелось. Пришёл, обогнул луком наш летний выгон и снова вышел на дорогу отставший от отары красный волкодав.

— Вроде бы ничего не взяли, а, люди? — крикнули в сумерках, но такого рода штуки встречались в те времена, когда ещё не было Советской власти, тогда разбойники крали у бандитов, бандиты у разбойников, разбойники и бандиты вместе у бедняков, и вор назывался тогда смельчаком.

— Оган, — смеясь, позвал из сумерек своего Гарнакара Асатур, и мы поняли, что воровство или что-то наподобие воровства в сумерках всё-таки произошло. — Оган, — засмеялся Асатур, и мы поняли — что-то похожее на воровство совершил сам Оган. Я вспомнил усталую поступь азербайджанца, его глухое приветствие, мечущуюся между своими щенками красную суку, широкую, густую, грязную отару, навьюченных коров, детишек в хурджинах, красного волкодава, отставшего от отары и бегом обогнувшего юрту, и снова красных щенят длинной суки, которые то забегали вперёд, то отставали от матери, то забегали вперёд, останавливались, оглядывались и снова бежали. Они не знали, куда бегут. Мать шла, и они следом. Азербайджанец шёл, мать шла, овцы шли, и они бежали тоже. Их только что вытащили из хурджина, потому что уже совсем мало оставалось идти, они сами уже могли дойти до места. — Оган, — позвал Асатур.

Но азербайджанец вернулся. Он стоял на дороге у поворота и смотрел. Ничего не говорил, стоял и смотрел сверху на наш выгон. Молча смотрел на выгон, а мы так же молча смотрели на него.

— Эй, — позвал Оган.

Азербайджанец молчал, потом шагнул к нам и сказал:

— Да нет, я так.

— Кто тебя знает? — крикнул Оган. — Скажи, если что.

Оган отбросил бурку и, хромя, пошёл навстречу азербайджанцу. Азербайджанец был с дубинкой, и Оган тоже был с дубинкой, но драка и тому подобное случались до Совет-

ской... Оган оглянулся, посмотрел на бурку, и я стал бочком-бочком, потихонечку, шаг за шагом, бочком-бочком...

Оган дошёл до азербайджанца, и азербайджанец дошёл до Огана, Оган и азербайджанец стояли друг против друга.

— Ну что? — сказал Оган.

— Ничего, — сказал азербайджанец.

Я уже был возле бурки. Возле бурки я присел и сделал вид, будто давно уже сижу тут, вытаращив глаза, потом я лёг рядом с буркой и, оцепенев, тайком от всех и от себя самого взял к себе за пазуху этих скользких, этих мягких, с холодными мордочками... и снова бочком-бочком, потихонечку, шаг за шагом, бочком-бочком я стал удаляться от бурки. Их когти, прикосновение их мокрых носов к моему голому животу было неприятным. Я дошёл до палаток, скользнул между ними, юркнул в нашу палатку и залез под тахту. И в это время Оган сказал азербайджанцу:

— Сахласын, — что означало «здравствуй».

— Нехорошо, — ответил азербайджанец.

— Сан маным достум, ман саным достум, что нехорошо — ты мой друг, я твой друг, ния айб, — сказал Оган и, разинув рот, уставился на азербайджанца.

— Отдай щенят, — попросил азербайджанец.

— Чапалахдар, — сказал Оган. Я под своей тахтой не понял, что это значит. И в это время азербайджанец сказал:

— Если не умеешь, не говори по-нашему.

— Билерам, — сказал Оган. — Знаю.

— Ну раз знаешь, ламу лари манавур, — сказал азербайджанец. — Отдай щенков.

— Билмерам, — сказал Оган, — совсем билмерам. Мол, не знаю, совсем не знаю, о чём это ты.

— Сан? — сказал азербайджанец. — Ты не знаешь?

— Ман, — отозвался Оган, — я не знаю.

— Стыдно, — сказал азербайджанец.

— Это наши горы, добро пожаловать в наши горы, это Шиш-тап, вон там Гарнакар, какие ещё щенки, — сказал Оган.

— Два собачьих щенка, — сказал азербайджанец.

— Если не умеешь, не говори по-армянски, — сказал Оган.

— Оган, — позвал Асатур.

— Майор дыр, — сказал Оган. — Это он взял Берлин, Берлинын, билерсан?

— Билерман, — сказал азербайджанец.

— Ну а раз знаешь, о чём речь, — сказал Оган. — Собака не шестерых родила — пятерых, беш, — сказал Оган.

— Дорд, — сказал азербайджанец, — ты двух украл.

— Нехорошо, — сказал Оган, — такие вещи до Советской власти случались, что ещё за воровство — пеш кеш дыр.

— Пеш кеш не делаю, — сказал азербайджанец, — не дарю.

— Что не даришь? — спросил Оган.

— Щенков, — ответил азербайджанец.

— Каких ещё щенков? — сказал Оган.

— Собачьих щенков, что ты украл, — сказал азербайджанец.

— Кто украл? — сказал Оган.

— Ты украл собачьих щенков, — сказал азербайджанец.

— Чапалахдар, — сказал Оган.

— Совсем у тебя нет стыда, — сказал азербайджанец, — йохтур, нету.

— Какой такой стыд? — сказал Оган.
— Которого у тебя нет, этот стыд, — сказал азербайджанец.
— Такую дорогу прошёл, устал небось, и как это тебе не лень целый час говорить о каких-то двух щенках, — сказал Оган.
— Осенью они взрослыми собаками станут, — сказал азербайджанец, — отдай.
— Сейчас лето, — сказал Оган.
— А потом осень будет, — сказал азербайджанец, — отдай.
— Что отдать? — спросил Оган.
— Щенков.
— Откуда?
— Из бурки.
— Поди возьми, — сказал Оган, — но друзья так не делают.
— Осенью взрослыми собаками будут, — сказал азербайджанец, — не обижайся.
— Бери, — сказал Оган, — осенью взрослыми собаками будут.
Прижав щенков к животу, я окаменел под своей тахтой.
Азербайджанец молчал, потом сказал:
— Смотря кто вырастит.
— Смотря кто вырастит, — согласился Оган.
— Кто вырастит, тот и узнает, — сказал азербайджанец.
— Я хороший чабан, — сказал Оган, — за четыре года этой войны ни одну овцу волкам не отдал, ни одной овцы не потерял.
— А найти, — сказал азербайджанец, — нашёл?
— Мы овец не находим, мы щенят находим, да и то когда совсем туго приходится. Сука наша старая-старая, дальше некуда, такая старая.
— Сах ол, — сказал азербайджанец, — будь здоров.
— Санда сах ол, — сказал Оган. — И ты тоже будь здоров.
Я под своей тахтой глубоко вздохнул, и женщины, стоя в дверях у Лоланцев, засунув руки под мышки, как стая, которая оправляется, переступали с ноги на ногу, и все про одно и то же подумали, что Оган хорош и лоланцевская Софи тоже.
— Оган, — позвали женщины.
В далёких сумерках азербайджанец уже совсем смешался с дорожной мглой, Оган повернулся на хромой ноге.
— Оган, — засмеялись женщины, — и отчего это ты такой хороший?
— Хороший разве? — сказал Оган.
— Ну до того хороший, — сказали женщины.
— Ну а раз я такой хороший, — сказал Оган, — вы почему же нехорошие?
— А мы тоже хорошие, — крикнули женщины, — уж одна-то хорошая среди нас точно есть, одна очень хорошая, Оган, иди к нам.
— Это кто же такая, что я не замечал? — сощурился, с раскрытым ртом подождал ответа Оган.
— Нехорошо смотрел, потому и не замечал, — сказали женщины. — Софи. Иди сюда, — позвали женщины.
— Лоланц? — спросил Оган.
— Лоланц, — сказали женщины и подождали.
— За овцой некому смотреть, — сказал Оган.
— Тэван, Тэван, — позвали женщины, — Тэван, Тэван, да Тэван же, тьфу! — разозлились женщины.
— Оган, — проснулся в своей палатке Тэван, — обвенчать хотят, не ходи, — засмеялся Тэван.

— А тебя кто в расчёт принимает, — не то сердито, не то ласково сказали женщины своему Тэвану. — Ты бери дубинку да ступай к овце.

— Женить хотят, Оган, не ходи, — засмеялся Тэван.

Женщины на секунду смешались, потом:

— Чтоб тебе в этой земле сгнить, — и все вместе, как стая, шагнули вперёд. — Ах ты Ды, — и поискали в темноте палку какую-нибудь или камень. Тэван рассмеялся «ды-ды-ды-ды» и побежал, и женщины кинули ему вслед палку. — Где твоя овца, туда и ступай... Оган, — снова принялись за своё женщины, — поди сюда.

Оган молчал, молчал в сумерках выгона, потом Оган проглотил слюну, со слюной вместе словно проглотил кадык и что-то сказал.

— Оган, — из шиш-таповского загона крикнул Тэван, — женить хотят, уноси ноги.

— А как же дети? — сказал Оган.

— Что дети? — не поняли женщины. — Дети у бабки в Шамуте, через десять дней пойдёте заберёте.

— Да нет, — сказал Оган, — а как же дети?

— Что же, детям сиротами оставаться, что ли? — сказали женщины.

Оган молчал.

— Оган, ну почему ты такой хороший? — сказали женщины.

— И для кого это ты такой хороший? — сказали женщины.

— В чистых рубашках будешь ходить, Оган, весь в чистом будешь, — сказали женщины. — Вечером горячий обед будешь есть, — сказали женщины. — А то от одежды твоей овцой пахнет, — сказали женщины.

Они его окружили, взяли в свою стаю, приговаривая, напевая и плача, повели к дверям лоланцевской невестки, втолкнули и дверь за ним захлопнули. Лоланцевская невестка Софи стала каранцевской невесткой, и летний выгон притих.

Моя мать улыбалась, в ярком свете лампы моя мать не переставала улыбаться, но керосин надо было беречь, моя мать прикрутила фитиль и загасила огонь. Я слышал, как в темноте кружится её улыбка и как потом на её лице высыхают слезы. Мать, а мать, сказал я, ты что, плачешь! Не плачу, сказала она, спи. А что ж ты делаешь? Радуюсь, сказала она. Мать, а мать, а муж у Софи хороший был человек? Асатур? Его тоже звали Асатур, да, мать? Тоже, да, хороший был, спи. Мать, а мать, а если Асатур увидит, что Софи вышла замуж? Асатур не вернётся, спи. Ну а если вдруг вернётся? Придёт, увидит, в доме у него пусто. Не вернётся, сказала она, его ранило, в Тифлисе в больнице помучился-помучился и умер, бедный парень. Мать, а мать, а кто же его теперь будет вспоминать? Отец с матерью, сказала она. Матери нету, значит, отец... только отец, а мать? Только отец, сказала она. Мать, а мать, а ведь отец старый, сил в нём никаких. Софи, сказала она. Мать, а мать, Софи сейчас его вспомнит и заплачет. Пусть поплачет, сказала она, а ты спи. Мать, а мать, а Оган не даст, чтоб плакала, она постесняется и вспоминать не будет. Ну и пускай, пускай не даст, пускай не помнит, сказала она, пусть один раз вдоволь наплачется и пусть её отпустит, жалко женщину. Мать, а мать, а Софи не будет помнить, а он так и останется в дверях? Кто останется в дверях? — присела в постели мать. Асатур. Придавленно, глухо она прошептала: Иисусе Христе, Асатур умер в тифлисской больнице, похоронили его, мёртвым вечная память, живым — жить, спи. Мать, а мать, когда умирают, полностью умирают? Полностью, сказала она. И больше их не бывает? Не бывает, сказала она. Мать, а мать, а как же это бывает, что бывают, а потом уже не бывают? Не знаю, сказала она, поди у смерти спроси. А не жалко их, а мать? Жалко, сказала она, помучился-помучился и угас, бедный парень. Мать, а мать, он придёт, а дверь закрытая, не сможет в дом войти. Дома у него не будет, и дети уже не его дети, не дадут себя поцеловать, и жена уже другого жена, как нищий, как странник голову опустит... Мать, а мать, а щенки сейчас свою мать вспоминают? Щенки сейчас спят, и

ты спи. В тишине я прислушался к голосам внутри себя. И я услышал, как отделяются от щенков их маленькие сны, как шелестит прохлада в траве, внутри меня звучала песнь свирели, она то звенела, набирала силу, то рассыпалась, пропадала. Мне казалось, что внутри меня такое, один только я это слышу, но это было не внутри меня, и это был не шелест ветра, и это не отделялись от щенков их маленькие сны о матери — в свою старую свирель дул шершавыми шелестящими губами дядюшка Данеланц Артём, дул для тех, кто остался на улице, и для тех, кто, лёжа в постели, прислушивался во тьме к своим внутренним голосам, для высыхающих слёз и расцветающих с тихим шелестом молчаливых улыбок, для бедного Огана и бедной Софи, которые, как на старых фотографиях, сидели сейчас на тахте рядышком, хлопали глазами и прислушивались, слушали внутри себя — несчастливую судьбу Асатура, безмятежный сон детей на далёком шамутском выгоне, песенку свирели и вопрос: что же будет дальше?

— Оган, эй, — из шиш-тапского загона позвал Тэван, — слабо тебе, каково тебе? — засмеялся Тэван. — Тепло тебе, слабо тебе? Слушай, поговори, — из своего холодного загона, из бурки — над головою звёзды, — позвал Тэван, — спроси, ежели сестра имеется, уговори, чтоб за меня пошла, за меня, слышишь, за меня...

Они сидели в своей палатке на тахте и молчали, словам Тэвана они, может быть, молча улыбались... потом дверь в палатке хлопнула и выскочил, как сыр белый, очень белый в сумерках голый ребёнок, мальчик, и, хохоча, задыхаясь от смеха, убежал, а за ним то ли с полотенцем, то ли с рубашкой в руках выбежала Софи.

— Ловите, ловите, ловите этого разбойника!

— Пускай, ахчи, пускай идёт, — с шиш-тапского склона крикнул Оган.

— Простынет, — сказала Софи. — Холодно.

Высокие горы вдали побелели — выпал град. Завернувшись в бурку, Оган смотрел, как, пропадая за муравейниками и снова белея в темноте, на четвереньках, весь в росе, смеясь, бежит к нему их сын, а рядом бежит высокий, с густой шерстью красный волкодав. Оган сказал:

— Холод ему нипочём.

Я сидел перед нашей палаткой, и меня била дрожь. Я смотрел на град, покрывший далёкие склоны, и дрожал ещё сильнее. Обхватив колени руками, я смотрел на голого этого ребёнка, ползущего на четвереньках по мокрой траве, и меня била дрожь. Шерсть красного волкодава казалась тёплой, но это была не моя шкура, и против этих холодных градин я был, как свирель, полый — холод прямо-таки свистел во мне. Говорили, что я наелся незрелых слив, вот и знобит меня, говорили, горло больное, а голый этот ребёнок схватился обеими руками за вымя козы и сосал её крепкий сосок, коза волокла его за собой, а он всё равно не отрывался и сосал, и моя мать сказала, что горы не для меня и я не для гор.

— Ступай в село, — сказала моя мать, — собирайся в город.

И мой азербайджанский остался наполовине, и потому я сейчас несладко пересказал разговор Огана и азербайджанца о щенках. Азербайджанец сказал: «Осенью они взрослыми собаками станут». Оган сказал: «Если хорошо смотреть за ними». Азербайджанец сказал: «Ты чабан что надо, ты знаешь своё дело». Оган сказал: «За четыре года войны я ни одной овцы не отдал волкам, ни одного ягнёнка, и другом моим был вот этот дряхлый Чамбар». Азербайджанец сказал: «Я тебе не щенка даю — брата даю, друга даю».

Горы были не для меня, но и город тоже не для меня был. Сын моей тётки сел писать письмо домой, написал, что погода в Ереване хорошая, что сам он живёт хорошо и что я тоже живу хорошо, что спим мы полные восемь часов, на завтрак нам дают джем, масло, сладкое какао, на обед дают борщ, котлеты, компот или виноград, на ужин биточки, чахохбили, крепкий чай с четырьмя кусками сахара, чёрного и белого хлеба сколько хочешь, и наша учёба продвигается вперёд. Это была правда.

Он писал и орошал письмо слезами, на каждую страничку по две капли слёз. Две капли, потому что два глаза, из каждого глаза по капельке. Он мог бы пролить слёз гораздо больше, но тогда письмо бы размылось и его нельзя было бы прочесть. Это были не лживые слёзы, и в письме его была правда, но это его какао мне не нравилось, его крепкий чай мне не нравился, его слёзы меня смешили. И потом, на что крестьянам наша хорошая городская погода?

— Напиши, что плакал мало, чтобы письмо можно было прочитать, — сказал я.

Он умудрялся быть чувствительным и дисциплинированным одновременно. Он запечатал конверт, надписал адрес, но над адресом лить слёз не стал, потому что почтальонам на его слёзы было начихать, а вот адрес они могли не разобрать, и, аккуратно одетый, подтянутый, в начищенных ботинках, он предстал перед завучем. Он попросил у него разрешения пойти опустить письмо в почтовый ящик. Потом, опять-таки с разрешения, пошёл демонстрировать своё великолепное тело гимнаста студентам художественной академии, чтобы они лепили своих «Непоколебимого», «Юношу», «Возмужание», «Скалы», «Мы победим» — три рубля в час, а я в это время сидел и писал письмо, и у меня ничего не получалось. «Град в горах стоял? — писал я — писал я и зачёркивал. — Поля пожелтели уже? Малина поспела? — И тут же зачёркивал. — Ну как там щенки? А град когда растаял и воды в реке прибавилось, нашу запруду не занесло песком? Азербайджанец и Оган не подрались ли? Дед выходит в сад? Вишня у Абовенцев ещё не поспела? Нэри отару тянет? Асатура всё ещё кличут Майором? Дядюшка Артём не играет на свирели? А два красных мака на далёком склоне всё такие же красные среди зелени? Фасоль зацвела? Как собаки?»

Я вышел из общежития и в путаном городе Ереване среди духоты и пылищи нашёл квартал Шилачи, а в Шилачи дом дочки материнной тётки.

— Пай, пай, пай, — засмеялся муж этой самой дочки, он был на пенсии, ничего не делал и надо всем смеялся. Он был старый ахпатец, но крестьянином себя не считал, а считал революционером, потому что восстал весь Ахпат, значит, и он в том числе, кроме того, он знал, как дело было, когда революционеры отбирали у контрреволюционеров чаманлужский железнодорожный мост. — Да что же в тебе крестьянского, — засмеялся он, — настоящий городской парень стал, заводской.

Среди этой духоты и пылищи дочка материнной тётки всплакнула, вспомнив наши холодные грады, наши студёные родники, она вспомнила звонкую речь наших краёв и дала мне денег на мороженое — пять рублей.

— Как вспомнишь Ахнидзор, пей газированную воду, — заплакала она, — как вспомнишь, мороженое ешь.

— Село — хорошая штука, но крестьяне... — скорчил кислую мину её муж. — Кто-то в городе сказал, — пристращал он, — сказал, что ахнидзорцы — плохие революционеры...

— Не обижай ребёнка, — заволновалась дочка материнной тётки.

— В принципе и в селе и в городе должны жить одни горожане, — спокойно заметил её муж.

— Это как же? — прошептал я.

— Не понял, что шучу?

— Понял.

— Шучу я, — сказал он. — Как собака при отаре, вот таким верным надо быть, как собака.

Зажав в кулаке пять рублей, я потолкался в городе. Фонтан на центральной площади шумно рассыпался вдребезги. Под строительные шумы всюду разукрашивали здание гостиницы напротив Правительственного дома. Я посмотрел на гостиничное здание, посмотрел на Правительственный дом, потом снова посмотрел на здание гостиницы — тяжёлые своды гостиничного здания хотели быть ещё красивее, чем Правительственный дом, а Пра-

вительственный дом стоял как совершенство, и гостиничному зданию говорил — ну что ж, будь, и всем другим зданиям тоже говорил — будьте.

Я ещё немного поболтался в городе.

В полуподвальном прохладном зале тренировались ребята. Среди них был будущий чемпион по боксу. Тренер был уверен, что среди них есть чемпион. Тренер знал, что чемпион есть, но не знал ещё, кто именно этот чемпион. Кто больше пота прольёт.

— Работайте, работайте, — говорил тренер, — не стойте.левой, левой, левой, — подпрыгивал тренер. Он поманил пальцем — позвал меня в зал. Да, меня. И снова движением руки — заходи, мол. Я покраснел, отошёл от решётки и медленно побрёл по городу.

На улицу высыпали девушки, в медицинском училище, в мединституте и на филфаке кончились лекции, и тротуары, мостовая и перекрёстки — вся улица из конца в конец — заполнились радостью и смехом, солнечными очками, пёстрыми платьями, ликующими улыбками, и было их много, и были они хорошие, все-все!..

— Непокоримый, — сказал я сыну своей тётки, — дай три рубля.

— Для чего? — спросил он.

— Если ты дашь мне три рубля, у меня станет восемь рублей, — сказал я, — а будет восемь рублей, поеду через Дилижан в село.

— В Ахнидзор? — ухмыльнулся он.

— В Ахнидзор, — сказал я.

— Чего ты там не видел? — спросил он.

— А кто плакал? — сказал я.

— Я поплакал и забыл, — сказал он невозмутимо, — ты тоже поплачь, и дело с концом.

— Скромный, дай мне три рубля, — сказал я, — дай три рубля, Прометей, Гигант, Чудовище.

— Нету, — сказал он, — вернее, есть, но на завтра. Завтра, — сказал он, — всего лишь завтра, когда мы вырастем, станем больше, эти деньги нам пригодятся.

— А как же мне сейчас поехать в Дилижан? — сказал я.

— А тебе не надо ехать в Дилижан, — сказал он.

— Надо, — сказал я.

— Ну и поезжай, раз надо, — сказал он, — поезжай.

— Денег мало, на машину не хватит.

— Поезжай поездом, — сказал он. — На поезд хватит, ещё и останется, соску себе купишь.

— Через Дилижан на машине ближе, за Дилижаном сразу наши горы, при чём тут поезд, какая ещё соска?

— Обыкновенная, для младенцев, таких, как ты.

— А ты уже большой, — сказал я, — котлеты, биточки, крепкий чай, чахохбили, две капли слёз.

Потом я стоял на окраине, ждал, пока какая-нибудь из попутных машин возьмёт меня за пять рублей, и мне показалось, что, когда я стоял на площади и мне нравился Правительственный дом, и тогда, когда мне нравились тяжёлые своды гостиницы, и тогда, когда нравилась лёгкая испарина на боксёрах, и потом, когда мне нравилось, что тротуары и перекрёстки заполнились девушками, что всё это время я предавал и снова предавал и опять предавал наши горы... Оган и азербайджанец против блеска этих девушек были несчастные невежды, и старая собака ныла, брошенная в далёкой глуши — такой же далёкой, как виденное-невиденное во сне... Она поноет-поноет и сдохнет, пусть.

Одна из машин остановилась. Я подошёл спросить, не повезёт ли водитель за пять рублей... Меня схватили за волосы, за шею, за руки, подхватили под мышки, втащили в машину, подмяли под себя и уселись сверху учитель физкультуры, завуч, сын моей тётки и

ещё один или двадцать человек.

— Варвары, дикари! — закричал и дёрнулся было я. Они молча сидели на мне, потом сын моей тётки засмеялся.

— Что, соскучился по Каранцу Огану?

— Ну, соскучился, это же не голод, пройдёт, — дошёл до меня голос завуча, — немного мужского терпения, и пройдёт.

— Дикари, насильники, деревенщина, не можете понять, отпустите меня! — крикнул я и задёргался.

Шучу. Давно уже отчихался, и пыль грязных сидений не стоит у меня в ноздрях, затылок уже не помнит жилистого зада моего двоюродного братца, и я уже только шучу, вспоминая этот случай. Но именно тогда, сжатый в тисках, я почувствовал разрывающую все удила свободу открытых гор.

— Отпустите! — взбрыкнул я. — Пошли прочь, отпустите, меня, сукины дети!

— Силён, — сказал учитель физкультуры, — почему боксом не занимается?

— Плевал я... — Но сын моей тётки сел мне на голову, и я не успел плюнуть, куда хотел.

— Гляди, — сказали они, когда мы проезжали мединститут, — голова не болит? А то скажем этим девушкам, в минуту вылечат.

— Зуб не болит? А то возьмём к этим девушкам, в минуту вытащат, — сказали они, когда мы проезжали медицинское училище.

— Зуб что, — сказали они, — зуб и в селе вытащат.

— В селе как запустят клещи, в селе грубо тащат, — сказали они, — могут вытащить, а могут и сломать. А эти обезболивают.

— Знаешь, как обезболивают? — сказали они. — Смотрят на тебя синими глазами, тебя бросает в дрожь, ты про всё забываешь. И вдруг видишь, зуба нет, а они смотрят на тебя своими синими глазами.

— Вот типография, — сказал сын моей тётки, — если сделаешься поэтом и будешь писать о горах, здесь тебя напечатают.

— Горы, — взвыл я.

— Да, горы, — сказал он, — ну и что?

— Оган, — взвыл я, — Асатур... вожак... град... собаки.

— Про собак и я знаю, ну и что?

— Ничего ты не знаешь, — всхлипнул я.

— Знаю, — сказал он, — про собак всё знаю.

— Ты только про чахохбили знаешь, — задохнулся я.

— Смотри, — сказал он и показал пальцем на Норк. Он показывал на красный особняк в залитом солнцем саду. — Видишь, — сказал он, — тридцать три тысячи стоит, продают, триста тридцать три рубля у меня уже есть. Но послушай, — сказал он, — я ведь и про собак знаю. Послушай, что я тебе про собак расскажу.

— Ты лучше про крепкий чай расскажи.

— Нет, расскажу про собак. Слушай. Из оврага выгона не видать было. Шиш-тап был с турецкую папаху — таким маленьким казался. Иди себе и иди. А я малины набрал, посуда доверху полна, иду на выгон. Малины объелся, подташнивает и под ложечкой сосёт. И солнце вдобавок. Так и прибывает к земле. А Шиш-тап — как папаха, маленький, так далеко. А три-четыре дня назад здесь дождь прошёл. Тот, что с градом. Голодный я, ужас, а как посмотрю на малину, мутить начинает. И вдруг смотрю, красный пёс, а рядом бурка. Хорошо, думаю, пастух, значит, близко, хлеб, наверное, у него есть. Но никакой такой отары и никакого пастуха не было, один красный пёс. Голодный до чёрта, живот к спине прилип.

— Боб, огановский Боб.

— Да, огановский Боб. Оган, значит, попал под дождь, бурка отяжелела, Шиш-тап вон как далеко, с папаху отсюда кажется, Оган бросил бурку здесь, чтобы просохла. Собака осталась стеречь бурку. Три-четыре дня палящего нашего солнца — бурка просохла, собака от жары и голода отошала, сошла на нет, мордой уткнулась в лапы, еле смотрит, глаза как щёлочки стали, почём знать, видит или не видит. Смотрю на эту чёрную жаркую бурку, смотрю на выгон, выгон далеко-далеко, лень накатывает. Ты бы что сделал?

— Взял бы бурку, собака бы следом пошла, вместе бы пришли на выгон, — сказал я.

— Если б она дала взять бурку, если бы смогла встать и идти за тобой.

— Эту собаку и её братца я у азербайджанца украл.

— Но ты для неё всё же не Оган, — сказал сын моей тётки уже в общезнании.

Из окна виднелся спортивный бассейн. Какой-то юноша стоял на руках на самой верхней ступеньке вышки, неподвижно стоял, его мышцы отливали бронзой, потом он медленно согнулся дугой, как-то вжавшись в себя, перевернулся, вытянулся и рывком метнул себя в бассейн. Это был красивый прыжок. Какая-то девушка медленно раздевалась.

— Пошли, — сказал сын моей тётки, — у меня там знакомство есть, пошли искупаемся.

— Эту собаку и её братца мы с Оганом вместе у азербайджанца украли, — сказал я.

— Ну и что, сейчас это собаки Огана. Азербайджанец ушёл, подумал-подумал и вернулся, встал перед Оганом — две овцы, мол, дай. Это за что же мне тебе двух овец отдавать? За щенят. А ещё правильнее будет, если четырёх овец дашь. Четырёх. Я что, бек или хан, откуда же мне тебе четырёх овец дать? Ну, если овец нету, щенят отдай. Во-он они, щенки твои, поди возьми. А как это возьми, здоровенные псы, чуть-чуть беднягу не раздрали. «Щенят моих дай».

— Не знаю, — сказал я. — Оган засунул их под бурку и разговаривал с азербайджанцем, а я их к себе за пазуху и убежал. Холодные носы тыкались мне в живот, щекотно было.

— Да. Дай-ка, думаю, возьму бурку на выгон, и собака следом пойдёт. Приближаюсь — то ли видит, то ли нет. То ли понимает, то ли нет, усталая не знаю как. Издали гул доносятся. Либо речка гудит, думаю, либо в ушах звенит. Нагнулся, чтоб поднять бурку, собака встала и лает. Лая не слышно, где-то в животе только твякнула слабое «ав», а сама молча открыла рот и закрыла, задницу от земли не может оторвать, передние ноги покачиваются, и тихий такой стон. Эй, собака, эй, глупая, эй братец, это же я, не знаешь, что ли, отдай бурку, идём на выгон. Да чёрт с ней, с буркой, ах ты глупая собака, что ж ты её так стережёшь, легла рядом и подышаешь, вставай, погляди кругом, съешь чего-нибудь, так нет же, легла, и на всём свете одна только эта бурка для неё и существует, ни о чём больше знать не хочет.

Девушка кончила раздеваться и стояла на нижней ступеньке, она стояла так, стояла, потом вдруг нагнулась, выпрямилась, тяжело и гибко секунду раскачивалась и вдруг нырнула.

— Купнёмся? — сказал сын моей тётки.

И простодушная, немножечко покровительственная близость рождённой в городе, выросшей в городе, воспитанной в городе девочки, близость, равнявшаяся еле приметной улыбке, была волнующей. И солнечная чистота бассейна была привлекательна. И рассветы под горн анкаванской долины, когда я был вожатым, и знобкие вечера были хороши, и крикливый восторг старших классов, когда сквозь чистое утро они шли в школу и я шёл в институт, и хороши были море и свет, исходящий от пляжа, и были прекрасны могучие муки самолёта, в мягком комфорте освещённого чистого салона они не чувствуются, почти не чувствуются. Мир, вон он какой большой, светлый, красивый... Звонко поёт Эдита Пьеха — какой там ещё Оган, о каких это собаках мы тут толкуем? С моей самолётной высоты Ереван — перекрёсток — Севан — Дилижан — горы — всё это виднелось как на ладони и умеща-

лось, если сверху смотреть, на ладони. А бывший подросток, я то есть, зажав пять рублей в руке, решил во что бы то ни стало убежать из Еревана в Ахнидзор — муравей хочет перешагнуть кучки-горы. «Давай перевезу», — улыбнулся я про себя, прижавшись носом к иллюминатору.

Шиш-тап не разглядеть было, весь горный край казался таким маленьким, что было непонятно, как это он вмещает в себя такое множество громких голосов: Тэван — эй — тьфу ты — где собаки — возле бурки — бурка где — в овраге оставил, промокла вся, оставил сушиться... сушиться оставил... И группа молодых поэтов, девушек и юношей, эта наша группа была в самолёте так раскованно хороша, и наша гостья шведка с золотыми пышными волосами была так хороша, бог отпустил ей всего с лихвой, что стыдно было в их присутствии вспоминать несчастную женитьбу Огана и Софи. С закрытым ртом с шведка жевала жвачку и смотрела из-за тёмных стёкол, смотрела и молча жевала, и глаза её за крупными тонированными стёклами и лёгкая улыбка полных губ говорили, что она знает, что во мне живут некультурные голоса горных выгонов, она смотрела, молча жевала жвачку и улыбалась большим красивым ртом, а я весь съёживался. Я весь съёживался, сжимался, я говорил себе: «Спрячь, скрути, уничтожь. Это село, эти люди, пусть не будет в тебе их, пусть поболит, поболит и умрёт».

Но это была судьба.

С шведкой вместе мы поехали в Гарни, и она округлила губы — «о», поехали в Гегардский монастырь, поехали на Севан, и шведка там выкупалась, поехали на развалины Звартноца. Шведка шла, и мы, обступив её, старались ей угодить, шведка оборачивалась, и наша группа армянских юношей оборачивалась вместе с ней. Я повёл шведку в картинную галерею, повёл в дом-музей Ованеса Туманяна, повёл в книгохранилище древних рукописей Матенадаран, и шведка выплюнула жвачку и сказала, что голодна. Мы поднялись в ресторан на горе, съели шашлык и выпили коньяк. Шведке очень нравилась наша травка рехан, но в ресторане рехана не было, и мы пошли к сыну моей тётки в Норк. Тархун ещё больше понравился шведке, из дома вынесли лаваш и варёные яйца, потом сыр принесли, потом принесли колбасу, потом в саду накрыли стол, под тем самым абрикосовым деревом, которое посадил перед тем, как погибнуть в Берлине, старый хозяин этого сада, и шведка сказала, что армяне — очень гостеприимный народ, и мы себя почувствовали хлебосольными и до того замечательными. Сквозь чистое утро мы со шведкой потом спустились в город, прошли Айгестан, прошли мимо пекарни, где пекут лаваш, пошли по чистой улице Саят-Новы, перешли Гетар, вошли на Алавердяна и свернули на Туманяна, мне надо было привести её в художественный салон, где продаются серебряные пояса, серебряные серьги, серебряные браслеты, серебряные бокалы. На углу Туманяна, притулившись к каменным ступеням больницы, дремала женщина-крестьянка, и я подтолкнул свою шведку к противоположному тротуару. Я держал её под руку и плечом и локтем подтолкнул её к другому тротуару, и она у меня спросила:

— Ты крестьянин?

— Но, — сказал я, — нет.

— Ереванец?

— Да, — сказал я, — ереванец.

У дверей больницы на каменных ступенях, почти на тротуаре дремала женщина-крестьянка, а может, не дремала, сидела оцепенелая. На коленях она держала узел в клетчатой шали. Хоть бы развязала узел, накинула шаль на плечи или бы села на узел, а то что же это — всю ночь на холодных ступенях...

Салон серебряных изделий ещё не открывали.

— Холодно, — сказала шведка, — холодно, спать хочется.

— Потому что коньяк уже погас в тебе.

С моим пиджаком на её плечах мы спустились по улице к площади, возле фонтана она снова поёжилась и сказала, что хочет спать. Возле дверей гостиницы я сказал:

— Гостиница выстроена после войны.

— Да, — удивилась она, не удивляясь, потому что хотела спать и сон сгонять не хотела. — Война была до меня, — зевнула она, — войну я не видела. Ты видел, — без вопроса спросила она.

Я не стал спугивать её сон.

— Не видел, — сказал я.

Я поднялся на Абовяна, свернул на Туманяна, прошёл-перешёл перекрёсток Туманяна и Налбандяна и остановился: сонная эта женщина не видела, можно было не ходить туда. Я сам был сонный, может, я неправильно разглядел, может, никакой женщины там не было. Я решил не идти, но пошёл. На каменных ступенях никого не было. Теперь можно было идти спать и сквозь сон даже почувствовать, что мир щедро, как подарок, красив и создан для тебя, но, завернув за здание, я столкнулся с этой женщиной и каким-то мужчиной. Тяжёлый овечий запах ударил мне в ноздри.

— Софи, Тэван, вы что тут делаете, Ды?

Узнав меня и даже ещё не узнав, они с секунду улыбались, они немножко обрадовались, что у них прибавился ещё один помощник и он поможет им в том деле, которым они были сейчас заняты.

— А где же собаки?

— Собаки... — Они переглянулись, и женщина сникла и повисла на мне взглядом. — Мы Огана сюда привезли. Оган здесь.

— Огана привезли, — повторил Тэван.

— Твоего Огана привезли, — сказала женщина. — Если тебя увидит, очень обрадуется.

— Собаки в горах, — сказал Тэван, — мы Огана в больницу привезли.

— С твоим именем ехали, — сказала женщина.

— Верно говорит, о тебе думали, когда везли, — сказал Тэван.

— В поезде о тебе говорил, говорил, профессор, наверное, друг нашего поэта, не иначе, — сказала женщина.

Они были такие усталые, что не могли даже ложь как правду говорить. Они были крестьяне, они просили и не верили, потому что считали себя недостойными дорогих, редких, чудодейственных лекарств — капнут на ватку, поднесут к твоему рту, и ты воскреснешь, протрёшь глаза и сядешь: «Дайте одеться». Они считали себя недостойными светлых прозрений профессорской мысли, недостойными ласковых улыбок одетых в белое медсестёр. Недостойными себя считали или же думали, что мы их считаем недостойными наших целительных открытий и наши труднодоступные, редкие лекарства прячем для самих себя.

Для них болезнь была чем-то неопределённым, непонятным, им были неведомы мотивы профессорского благорасположения (не знаю, станет возиться или нет), и мера профессорского могущества им тоже была неизвестна, и опять-таки была неведома степень уважения наших городских сердец к ним, к пастухам (мочь-то могут, но сделают ли?). И оставалось только просить. Просить, снова просить, жалостно, жалко просить, без конца просить, чтобы из-под этих латинских слов, из-под этих профессорских очков, из-под этого густого непонимания вытянуть наконец то, что сами они разом поставили бы перед тобою, городским жителем, если бы ты был у них в горах.

— Докторá по-русски говорили, — сказала женщина,

— Между собой по-русски говорили, — сказал Тэван.

— С пятого класса взяли, послали овцу пасти, откуда ж мне по-русски знать, — сказал Тэван.

— Пить захочет — не поймут, — выгнув шею, жалко-жалко заглянула мне в лицо женщина.

— Почти что товарищами были, не помнишь, почти что, да только мой русский наполовине остался.

Они полагали, что за стеной этого другого языка что-то очень важное происходит не так, как должно происходить. Надо было, чтобы кто-то был по ту сторону стены, среди этой латыни, этих очков, этого несочувствия, но этот кто-то обязательно должен быть их, деревенский.

— И сколько надо, сколько дело потребует, — сказал Тэван, — у нас с собой есть, мы привезли.

Так, не называя имени, в старые времена говорили о медведе или же о звере, которого боялись.

— ... — выгнув шею, сказала Софи, и я больше по движению губ её понял, что речь идёт о деньгах.

— Посмотрим, — сказал я, и им показалось, что я уклоняюсь. — Всё необходимое будет сделано, — сказал я, и для них это опять было непонятно. — Ночь небось не спали? — спросил я, и они поняли, что я ихний. — Пошли к нам, чаю попьёте, отдохнёте, что ж так не спавши, — сказал я, и они увидели, что я, как и они, всю ночь не спал, что в городе у них есть дом, что они горожане, и это не то что сидеть у больничных дверей, скривив шею. — Потом придём и... всё будет хорошо, — зевнул я. — Ночь не спал.

— Воды попросит, — не поймут, — прошептала женщина. Не посмела попросить и не посмела возразить, только прошептала.

— По-русски не знает, — сказал Тэван.

— Но они же по-армянски знают, — сказал я, — они же армяне, по-армянски понимают. Пошли, выкупаетесь, чаю попьёте, отдохнёте, — сказал я, — всю ночь не спали. Идёмте, душ примете.

Они сжались в своём овечьем запахе, и в эту минуту мне понравился аромат моего кожаного пиджака. Они, казалось, были согласны прийти, выспаться, забыться, но почему-то они медлили. Они были крестьяне, им казалось — за стеною неизвестности чудище сейчас пожирает человека и никто этому человеку не поможет. Они не знали, как это приятно, что твой пиджак был на чьих-то плечах, и сохранил чужой аромат, и тебя всего обволокло этим ароматом, и тебе невыносим тяжёлый овечий запах.

— Если нужно, — пошевелил сухими губами Тэван, и я понял, что речь опять о деньгах. Они с трудом зарабатывают деньги, и им кажется, деньги — это всё. — Если нужно будет, сколько понадобится, мы привезли, — промычал Тэван. — Лекарство, может, дорогое или из другого места профессора вызвать, не знаю, мало ли на что может понадобиться.

— Душа воды попросит, не скажет, постесняется, — сказала женщина.

— Это Оган-то постесняется? — улыбнулся я.

— Оган уж не тот Оган, — сказал Тэван, — и потом одно дело в горах, другое дело здесь. Истаял, исхудал бедный Оган.

— Душа воды попросит, а он не сможет объяснить, — сказала женщина.

— «Асатур-эй», — вспомнил я. — Ты смеялся тогда — ды-ды-ды.

Он беззвучно шевельнул сухими губами, наклонил голову и переступил с ноги на ногу. Он ничего не сказал. Мы молчали, и ничего не происходило, и в это время загромыхал и перекрыл-прошёл соседний перекрёсток яркий автобус. Автобус прошёл, и тротуар наполнился девушками, и снова было так, как когда-то — я словно убежал в деревню и меня словно снова поймали и снова в глаза мне тыкали, в глаза, в нос, в рот пихали всю прелесть города, и это было приятно и неприятно. Девушки поравнялись с нами, всё более хорошея, они сделались яркими, благоуханными (и мы, крестьяне, сжались в комок, прижались к

больничной стене), сделались студентками института и под руководством своего преподавателя вошли в больницу. Они были так хороши, что нам показалось, будто и мы хороши, мы отделились от стены и перевели дух, и мне показалось, что в этой больнице есть что-то хорошее, что вон спутники в небесах плавают, после великой их мощи все эти болезни такие пустяки.

«Мир, он большой, лучезарный, от солнечных садов Норка и до...» Я вошёл в здание, девушки переодевались. Со шпилькой в зубах одна из них поправляла на затылки тяжёлые, горчичного цвета волосы, и её светлые глаза смотрели на меня. Смотрели, но не видели, она собирали в узел тяжёлые волосы. Белые чистые халаты они застегнули, надели накрахмаленные белые фесочки, выбившуюся прядку заправили за ухо и были готовы подняться со своим преподавателем. Но преподаватель что-то медлил, и они делались всё строже и серьёзнее, но до конца серьёзными стать всё равно не могли, потому что их распирало ликование. Под спокойным неоновым светом поблёскивал мраморный пол, тёмно-зелёные листья очень крепкого фикуса были старательно вымыты и чисто блестели («И всё же блеск этот — мёртвый блеск», — тайком от крестьян, стоявших на улице, и от крестьянина во мне самом подумал я), и среди этого молчания белая стайка студенток делалась всё более серьёзной. Надо было подняться к больным и принести им не только твой восторг по поводу чистого утра, лёгкого аромата шведки и солнечных садов, а твоё негодование здорового, умного, знающего и негрустного человека по поводу этой проклятой напасти.

Преподаватель двинулся, студентки последовали за ним, и я пошёл тоже.

Это была конченная история. Немного хромой, немного рыжий, немного рябой, с бельмом на глазу, Каранц Оган остался в тех далёких временах, а сюда была принесена и помещена на кровати под простынёй охачка тех веществ, из чего был создан прищуривший один глаз Каранц Оган, нет, это был не Каранц Оган, Каранц Оган остался далеко... Это не был вчерашний ночной огонь, это была сегодняшняя горстка пепла от вчерашнего огня.

Поверх этого серого одеяла (я в эту минуту вспомнил лежавшую в траве возле палатки бурку, под которой копошились щенки)... профессор смотрел на меня мимо этого серого одеяла, я смотрел на профессора и ждал, что он сейчас скажет «сделаем всё возможное», он смотрел, и я ждал, что он вот-вот скажет «трудно, но постараемся», но он ничего не говорил, он смотрел мимо этого серого одеяла на меня, я смотрел на него, и он не говорил «хоть бы днём раньше привезли».

Одетые в белое студентки вместе с преподавателем подошли, обступили кровать.

— Смотри, какие девушки к тебе пришли, Оган, — сказал профессор, но так мог сказать и я. — Караян Оган Степанович, — сказал, обращаясь к студенткам, профессор, — пастух, сорок лет, женат, четверо детей, образование — четыре класса, крестьянин села Ахнидзор Туманянского района, — закончил профессор, но столько бы и я мог сказать. Столько и Ды-Тэван мог сказать. Если бы слёзы не душили, и Софи бы столько сказала. Это было из области здравствующих, столько знали все. А то, что Чудище за стеной пожирает человека... Профессор смотрел на преподавателя, тот смотрел на профессора, и они ничего не говорили студенткам и друг другу о том, что творится под серым одеялом. Профессор взял Огана за руку, подержал его руку в своих пальцах, мне показалось, профессор что-то про себя решает, потом он положил эту серую руку на одеяло, но он так ничего и не решил, а только указательным пальцем легонько постучал по этой серой руке и сказал так просто, безо всякого вопроса: — Ну, как ты, Оган.

Запоздало и слабо, почти неслышно дошёл ответ, до того тихий, что мне показалось, это я внутри себя сказал — «хорошо», и потому, что профессор всё ещё держал эту серую руку и кончиком указательного пальца всё ещё стучал по ней, мне показалось, профессор разговаривает с ним на «морзе», Оган находится в тяжёлых углублениях своего серого тела, под этим серым одеялом, и наши голоса не доходят до него, ликование девушек не дохо-

дит до него, и профессор разговаривает с ним на «морзе».

— А помнишь, Оган, помнишь, как я для тебя собак украл, — сказал я.

Его рука в профессорских пальцах, казалось, шевельнулась, потом из-под одеяла донёлся его голос:

— Собаки сейчас воют.

— Смотри, какие девушки к тебе пришли, — сказал я.

Ликование девушек не отзывалось в нём. Сидевшее в нём Чудище поглощало это ликование.

— Собаки воют, — сказал он, и профессор кончиками пальцев постучал по его руке.

— «Оган, отчего это ты такой хороший? Нехороший я», — напомнил я. — А как дед Артём играл на свирели, помнишь... как медали у Асатура блестели... «Майор».

Голоса гор в нём, однако, не звенели. Чудище поглощало эти голоса.

— Ничего, — сказал я, — профессор сейчас тебе сделает хороший укол, сделает, ты встанешь, и мы пойдём в горы. Дай слово, что зарежешь для профессора барашка. «Бек я тебе, что ли, хан».

Профессор посмотрел на меня, и я понял, что Чудище поглотит и этот укол тоже. Потом мне сказали, что его собаки начали выть с той самой минуты. На улице была тишина, в палате было тихо, а внутри него как под водой, и он сквозь своё молчание слышал вой собак. Это была конченная история. Хрупкое соединение азота, железа и извести, называемое «человеческая жизнь», разрушилось, разъеденное, осталась горстка азота, железа и извести, и собаки выли над руинами.

— Удивительно, — сказал я профессору, — Чудище поглощает бедного парня, но ведь, профессор, вместе со смертью парня Чудище тоже кончится, значит, почему же, профессор, Чудище уничтожает самого себя?

Он был рад, что я не называю эту болезнь по имени. Он сам боялся этой болезни.

— Знаете, что за пастух был, что за шутки проделывал, какое у него было доброе сердце, — сказал я, — ликование не умещалось в нём, он раздавал его всему выгону. Если бы капельку этого ликования сейчас...

— Это от тебя реханом пахнет? — сказал профессор,

От моего пиджака пахло реханом, и мы поговорили о солнечных садах, о взморье, о футболе, о спокойном полёте спутников, о группе высоких женщин-баскетболисток, которые прибыли на соревнование и, покачивая сумками, разгуливали по вечернему городу, и о том, как необъяснимо прекрасно, когда едешь под дождём в машине, молча едешь, и «дворники» чистят перед тобой ветровое стекло... и было трудно вспомнить о том, что внизу тебя ждут. И мы снова заговорили о зелёном футбольном поле и о стремительной тактике правого крайнего.

— Возьми их к себе, пусть выспятся, отдохнут, потом скажешь, — сказал профессор. — Сделаем укол, может, дотянет до села.

— Пять часов дороги, профессор, через Севан — Дилижан — Дсех, — сказал я. — Будет Чудище столько времени спать?

Он потёр веки под очками.

— Сиренью тянет, — сказал он, — или это рехан?

Спускаясь по лестнице, я вдруг понял, что, наоборот, надо сказать им сейчас, пока они такие сонные, пока плохо соображают, пока в оцепенении, пока у них инет сил даже принять эту боль в себя.

Софи молча зашевелила губами и упала возле своего узла, словно с вешалки упало пальто. Тэван улыбнулся, да так и остался стоять улыбаясь. Я курил, смотрел на залитые солнцем сады Норка и вспоминал лежавшего возле бурки красного волкодава под палящим солнцем, кругом ни души, как будто я сам это видел.

— Ну ладно, вам быть здоровыми, вставайте, — сказал я.

— Сын-то как, тот, что вечером бежал по росе голышом? — сказал я.

— Люди смотрят, неудобно, вставай, — сказал я.

— Скажи, пусть встанет, Тэван, — сказал я. — Вставай, — сказал я, — тебя жду, всю ночь не спал.

Эти крестьяне умеют подчинить своё горе чужим нуждам. Она стала подниматься, но снова рухнула.

— Он ночь не спал, — сказал Тэван, — вставай.

И она поднялась. В такси в ней что-то набухало-набухало, сейчас её должно было про-рвать, но она проглотила рыдание и, смуглая, худая, морщинистая, стала смотреть в окно. В этом чужом городе, среди чужих людей она не давала себе права омрачить своим горем чужую звонкую радость. Я включил горячую воду и втолкнул её в ванную, она не воспроти-вилась моей воле горожанина. Я подумал, что под шум душа и газовой горелки она может тихо поплакать, но в этой сверкающей белой чужой ванной комнате она не дала себе права завывать как крестьянка, она намылилась, горячий душ был приятен, и, намыливаясь, она увидела, что Оган умирает, но умирает Оган, а это её ноги, её живот, и горячая вода и мыло приятны, её руки, её шея... её дети, и она доярка и должна работать теперь за двоих.

— Как же ты за овцой один ходить будешь? — сказал я Тэвану.

Что он думал внутри себя про своего Огана, ничего про это он мне не сказал.

— Наше дело лёгкое, — он сидел на краешке кресла, неестественно вытянувшись, — ты о себе расскажи.

— Кого в напарники возьмёшь?

— Кого руководство даст.

— Никто не будет, как Оган, — сказал я.

— Ничего, — сказал он, — ничего, экое дело — овца... справимся, расскажи о себе.

Софи выключила душ, но из ванной не выходила. Немного подумав, я понял, что она не даёт себе права вытереть своё тело крестьянки нашим городским полотенцем и стоит так, ждёт, чтобы обсохла. Я постучал в дверь и сказал, что там висят полотенца, и она быстро накинула на себя свою одежду крестьянки, потому что можно было одеться и мокрой, но нельзя было ждать, пока высохнешь, нельзя было, чтобы другие думали, что ты стоишь молча, голая, ждёшь, чтобы обсохла.

Когда я вошёл в комнату, Тэван, неестественно вытянувшись на краешке кресла, дре-мал, спина его то и дело сгибалась, голова клонилась на грудь. Они так и не заснули, сидя на краешке кресла и на краешке тахты, друг против друга, они съели свой сыр, хлеб, варё-ные яйца посыпали своей солью, еле прикасаясь ртом, выпили чай из наших стаканов, по-том Софи вымыла эти стаканы, и как разостлала, так и собрала свою скатерть с нашего стола. Потом поднялись.

— Пошли.

— Поспите, отдохните, потом.

— Нет, только, где остановка автобуса, мы не знаем.

— Тяжёлый день предстоит, отдохнуть нужно, — сказал я.

— Нам некогда, — сказал Тэван, — мы пошли.

Автобус не сразу двинулся, и среди этой жары их совсем сморил сон. Голова Тэвана клонилась на грудь, прямо сидевшая Софи смотрела, не моргая, и ничего не видела. Стоя возле автобуса, я жестами и мимикой дал понять Тэвану, что ему хочется спать. Он понял или не понял, но улыбнулся и кивнул головой. Автобус уехал, я повернулся, чтобы пойти домой и как следует выспаться, и бог знает откуда я вдруг сказал:

Сбежавшие с гор голодные псы

На кровле будут плакать и выть...

И снова:

Сбежавшие с гор голодные псы
На кровле будут плакать и выть...

Когда я проснулся, в ноздрях у меня затрепетал аромат рехана, и в моём теле — с ног до головы — заиграла радость моего здоровья, и чистого белья, и плотно обхватывающей майки, и крепких мышц, и холодной воды... Улыбаясь, я стал бриться перед большим зеркалом и сам себе сказал:

Что привыкшая к горам бабка Саро
Не пойдёт больше в горы, не позовёт Саро.
Что сбежавшие с гор голодные псы
На кровле будут плакать и выть...

Я сел в такси, чтобы поехать в аэропорт, но поехал в больницу. На тротуаре никого не было. В холле тоже никого не было, только фикус с блестящими листьями. Его постель была пуста, на сером одеяле была свежая подушка. Профессора в кабинете не было. Корзина для мусора возле его письменного стола была пуста, и стекло на письменном столе вытерто до блеска. «Домой уехали», — сказала уборщица. Я попросил водителя такси поехать мимо гостиницы, которая была построена после войны, в аэропорт, но, конечно, опоздал, шведка уже была в воздухе, и под нею была горстка Севана, пропадающее из виду и вновь возникающее шоссе и маленькие, как блошки, машины на нём, и перед нею и внизу были открытые наши Ахнидзорские горы, и гул самолёта равномерно сеялся на Севан, на горы и на машины, в одной из которых Софи и Тэван, то он, то она, попеременно говорили Огану:

- Сейчас твои горы покажутся.
- Немного потерпи, твои горы покажутся.
- Как только горы увидишь, боль сразу и пройдёт.
- Вот-вот покажутся.

Поддев руки под его спину, голову и шею, поддев плечи под его руки, подпирая его с двух сторон, они говорили ему:

- Ещё тот холм проедем...
- Вой собак слышу, — сказал он, — собаки воют.
- Будь мужчиной, ну, — сказал Тэван.
- Самолёт летит, его шум, не собаки это, — сказала Софи.
- Горы из самолёта видны, — сказал Тэван, — сейчас и мы их увидим. Собаки, — сказал Тэван, — выгон, — сказал Тэван. — Шиш-тап...
- Вижу, — вытянул шею и застыл Оган, — больше не болит.
- Гарнакар, — сказал Тэван, — помнишь, как я сказал тебе: «Оган, беги, женись хотя...» Вон наш лес в овраге, — сказал Тэван, — там наши с тобой имена в тысяче мест ты написал, в тысяче мест — я, но ты козла лучше моего рисуешь.

О. К. в один солнечный день

Т. Д. 1949

Мать, а мать, а потом что было? Под одеждой словно бы не было человека — Оган складывался, как одежда, спи, спи. Мать, а мать, а Софи? Софи не могла плакать, два раза сознание теряла, еле в чувство привели, привели в чувство и попросили, чтобы плакала, чтобы но слабела так, но не могла плакать бедная Софи, потом с кладбища её привели, волосы причесали, на голову платок повязали, ведро в руки дали, пошла на ферму доить, доярка ведь она, мир, он большой, спи, спи. Мать, а мать, а что же это за голоса там? Собаки это, спи. А отец, а как же отец, а мать? Отец?.. О старшем, погибшем на войне сыне отец за

многие годы сложил песню, теперь отец эту песню пропел над Оганом, печальная, длинная, страшная песня, словно ты маленький, словно темно и ветер в печке поёт, но он старый и зубов уже нет, плохо пел, народ был недоволен, и дети тайком смеялись, мать, а мать, а дед Данеланц Артём не сыграл на свирели, а мать, не сыграл дед Артём? Артём разве играет? А ты помнишь, мать, как он в горах играл? Раньше играл, сейчас не играет — губы стёрлись, лёгкие стерлись, спи, спи, жизнь идёт, старшие уходят, дети приходят, никто не хочет быть пастухом, никто не станет Оганом, спи. А дети Огана, а, мать? Горе не для детей, сын в овраге в футбол с мальчиками гоняет, девочка с девочками в прятки играет, это с годами, с годами входит горе в человека, спи, спи. Мать, а мать, это кто там зовёт?

Она прислушалась, и я прислушался. Это не был человеческий голос — отдалённый плач собак, словно из далёкого средневековья идущий, словно Ленг Тимур, Тамерлан то есть, прошёл и погасил деревню, и собака под луной плачет о потухшей деревне — аву-ууу... авууу... и один из всадников должен повернуть лошадь, вернуться и убить из лука эту единственную собаку в этом разрушенном селе... Авууууууу...

Мать, а мать...

Мать, ты спишь?..

Я оделся, надел ботинки, натянул шапку, но словно это не мои ноги вошли в ботинки. Я вышел на улицу. Я вытащил сигарету и поднёс ко рту, но у меня во рту уже была сигарета. У меня во рту была сигарета, в руках были спички, на мне были мои ботинки — это был я. Это было наше село. Это была луна нашей деревни. Село мирно спало, освещённое луной. Вот прошёл и рассыпал свой гул над селом пассажирский самолёт. Я с лёгкостью различил его красные огоньки среди звёзд. И было удивительно, что вместе, совсем одновременно существовали и этот плач тамерлановских времён, и этот гул. Гул стал слабее, утих, а красные огоньки ещё виднелись, и с красными огоньками вместе вспыхивал плач — авууууу...

Что тебе нужно, собака, Тамерлан прошёл, но когда это было, кибитки кочевников прошли, но когда это было... или ты состарилась, кочевье тебя бросило, и ты плачешь над тем, что тебя бросили, плачешь над своей смертью? Или ты знаешь что-то, что я не знаю, собака, и ты помощи просишь?

Я спустился в овраг возле нашего дома, в овраге вой слышался плохо, словно плакали под землёй. Я пересёк овраг, вышел на холм около кладбища — вой доносился с кладбища. Я стоял так, а кладбище, сады и дома спали среди этого воя — авууууу...

Прошёл самолёт, посеял гул над селом, и, пока его красные огоньки виднелись вверху, я выбрался к кладбищу и нашёл. Они были прямо рядом со мной, не одна, а две, обе распластались на земле, головы в лапы и скулили. Они меня не увидели, они ничего не видели, они были в другом мире. Я взглянул и узнал красного волкодава. Другая собака тоже была красная, но с короткой, как у кошки, шерстью, она распласталась на земле и тоненько скулила.

Чего вы хотите, собаки, Оган умер, но кто же это бессмертный, покажите. Глупые, помните, это я вас украл, была здоровая, холодная весна, вы шли со своей матерью, помните? Ваших овец кто сейчас стеречь будет? Село спит, каждый спит в своей постели, мягко-мягко, а вы...

Они не слышали меня, они вообще не слышали и не видели, ослепшие и оглохшие от горя, они были в другом мире, поди втолкуй им, что под этой луной почти что ничего не изменилось. Авуууууууууууу...

— Эй, парень, эй. Эй, всадник, эй, кто ты? — позвал не знаю кто, не знаю кого. — Слушай, кто ты там, Ды-Тэвану скажи, пусть придёт, заберёт этих собак, скажи, чтоб пришёл забрал собак. Слышишь, Ды-Тэвану скажи, пусть придёт, уведёт собак, слышишь...

— Слышу, слышу, чтоб увёл собак, слышу.

И кто-то сказал: «Всю ночь концерт был». И послышался смех, потом кто-то сказал: «Интересно, куда он их уведёт, старых, подыхать им пора».

Но ещё вчера, ещё только вчера они были мягкими щенками, бежали рядом с матерью, валялись, бежали и валялись, падали на ходу. Пастушьи псы быстро стареют. Спят мало, трудятся много и рано стареют. Под градом и дождём, против вора и волка, а в лапах, а под землёй отдалённый гул ушедших-прошедших нашествий и будущих нашествий... И ещё непонятность луны, и ещё то, что среди ночного покоя они увидели того, кто пришёл, под открытыми звёздами поцеловал открытый лоб спящего Огана. Они это увидели и завывали.

Я шёл убирать сено, на склоне, поросшем кустарниками, скользнул красный волкодав и пошёл к селу. «Боб, — позвал я, — Боб, Боб». Он меня не услышал, он не увидел меня. Во всём мире он только одно сейчас знал — могилу Огана и, плача, плёлся к селу. В горах он не остался, другая собака осталась. Этот нет, перегрыз верёвку и... авуууу... три дня и три ночи. Днём среди школьных звонков и толчеи, среди деревенских голосов, звонких петушиных криков и тракторного гула его плач не был слышен, но по ночам только этот плач и слышался — авуууу...

Ребята попросили ружьё у лесника, но лесник сам пришёл. Кто-то из ребят сказал «жалко», но тут Антонян Завен сказал: «Моих детей ещё жальче». Его дом был возле самого кладбища, и Завен сказал: «Моих детей вам не жалко, а собаку жалко?» Лесник пошёл на кладбище, стал против собаки, снял ружьё с плеча, прицелился собаке между глаз, а собака плакала «авууу»... Собака осталась так лежать — голова на лапах, хотя знала, что такое ружьё.

После войны, когда я был маленький, когда на выгоне в горах я украл для Огана собак, когда волков было много и на всех пастухов был один только старый Чамбар, когда Оган женился, когда вернулся из армии Асатур, когда ещё дед Данеланц Артём играл на свирели, когда кочевье азербайджанца всё шло и шло и не кончалось, в эту весну пастухам роздали ружья, от каждого выстрела собаки разбегались врассыпную — с той самой весны эта собака знала, что такое ружьё, и боялась его, но сейчас она не убежала, осталась здесь, на могиле.

НОРА АДАМЯН

СЕМЬЯ ПРОШЯНОВ

Рассказ

Не говори с тоской — их нет,
но с благодарностию — были...

Мне пришлось в течение нескольких лет моей молодости близко общаться с семьёй Прошянов — детей писателя. Многое мне запомнилось: доброта, благожелательность, отзывчивость этих людей. И мне захотелось о них — ушедших — рассказать ныне живущим.

В этот дом можно было прийти в любое время. Никто не удивлялся, если во втором часу ночи раздавался звонок и появлялись гости. Всех встречали радостным приветствием: «О! Кто к нам пришёл!» Всем было обеспечено внимание, сочувствие, признание. В этом доме были только одарённые, талантливые, а иногда гениальные, благородные люди. Таковыми становились все, когда переступали порог квартиры Прошянов на улице имени 28 Апреля.

Дом был каменный, старой постройки. Сразу от подъезда лестница в один пролёт вела на второй этаж. В передней вечерами сидели незнакомые озабоченные люди. Это были клиенты хозяина квартиры адвоката Папака Перчевича Прошяна. Гости же проходили в большую столовую, где их встречала сестра хозяина Перчануш Перчевна, которая мне в те годы казалась старой. Она поднималась с широкой тахты, на которой отдыхала после работы. Глаза, молодые, как у всех Прошянов, излучали доброжелательность.

— О! Кто к нам пришёл!

В годы юности мне необходимо было самоутверждение и признание моих дарований. За этим я приходила в дом Прошянов, где не было никого подходящего мне по возрасту, но где взрослые люди понимали меня гораздо лучше и ценили гораздо выше, чем мои сверстники.

Тикин Перчануш — так называли её все друзья и знакомые, заменив отчество старинным армянским обращением к почтенной женщине, — преподавала в школе армянский язык и литературу. Она брала на себя ещё много нагрузок: водила своих учеников на заводы, посещала с ними музеи, театры и даже нефтяные промыслы. Я знала, что возвращалась она с работы усталая, знала, что ей негде отдохнуть, кроме этой тахты, но, видя её постоянную искреннюю радость при моём появлении, никогда об этом не задумывалась, и такта у меня хватало только на то, чтобы великодушно разрешить:

— Вы лежите, отдыхайте, я посижу...

Она соглашалась, возвращалась на большие мутaki — круглые, в виде огромных колбас, подушки — и обращала ко мне лицо, обрамлённое пышными полуседыми, почти всегда растрёпанными волосами.

— Я действительно немного устала... Но какие у нас растут дети! Какие одарённые дети! Проводишь урок, как со взрослыми, мыслящими людьми. Сегодня один мальчик спросил: «Если люди произошли от обезьян, то почему это не случается сейчас? Где сейчас такие люди, которые вырабатываются из обезьян?» Его волнует процесс... Это же интеллект! Будущий Павлов! Ты представляешь?

Я представляла. Вчерашняя школьница, я хорошо знала, как поступают с увлекающимися педагогами. Один-два таких вопроса, не относящихся к предмету, — и полетел урок, опрос, выставление отметок, задание на следующий день.

Но я кивала головой и разделяла радость по поводу того, что у нас растут такие одарённые дети. Так же искренне я восторгалась котом Васо, который из всех утренних звонков безошибочно узнавал звонок молочницы. Я, конечно, знала, что в числе анекдотов об этом доме — а их было немало — есть и маленькая шутка о том, как тикин Перчануш, высунувшись из окна стеклянной галереи, сзывает со двора своих кошек:

— Кисо, Писо, Васо, идите кушать мясо...

Потом начинала что-нибудь рассказывать я, а тики Перчануш засыпала. Я замолкала не сразу: она проснулась бы. Я продолжала говорить всё тише, тише, после паузы повторяла какое-нибудь одно слово, а она спала, и лицо её менялось — опускались уголки рта, — и, не освещённое сиянием глаз, оно становилось усталым и скорбным.

В доме шла своя жизнь, в передней слабое топотанье и шорохи, время от времени лёгкий чужой звонок — клиенты.

Но вот распахивалась дверь кабинета и в столовой появлялся Папак, на минуту оторвавшийся от своих неотложных дел. Его сестра тотчас открывала ясные, не замутнённые сном глаза, готовая немедленно включиться в разговор.

— Муся, ты не уходи, — предупреждал меня Папак. — Есть новые стихи...

И негромко читал:

Ты пришла ко мне со смехом
Поздним зимним вечерком,
Вся укутанная мехом,
Меховым воротником...

Ну как? Что скажешь?

И, не слушая, что я скажу, опять скрывался в кабинете.

Тикин Перчануш, покачивая головой, доверительно сообщала мне:

— Ты знаешь, что о нём сказал (тут называлось громкое поэтическое имя начала века), когда познакомился с его стихами?

Я не знала.

— Сокровищница поэзии!

Из глубин квартиры в столовой появился Эачи Прошян, младший брат, художник, вечно сонный, помятый, ласково смотрящий на жизнь с высот своей одарённости. Он пришёл в халате — одежда никогда никого из Прошянов не занимала, — постоял возле стола, улыбаясь отрешённой улыбкой.

— Мусинька пришла... — сказал он, обращаясь, собственно, не ко мне, а просто отмечая факт моего присутствия в доме. — Тогда я повешу свою новую картину.

Не знаю, какую он усмотрел связь между моим приходом и своей новой картиной, но тикин Перчануш расширила свои лучистые глаза и многозначительно подняла палец. Мягко шаркая шлёпанцами, Эачи удалился и тотчас вернулся с большой картиной в узкой рамке.

— Пока не смотрите, — предупредил он, довольно быстро пристроил картину к стене и отошёл к буфету, демонстрируя свою полную незаинтересованность в дальнейшем.

Картина была одноцветная, исполненная не то гуашью, не то углем. Она вся клубилась. Клубились горы, клубились облака над ними, клубился лес на горах, и дороги, и долины. Собственно, и горы, и облака, а тем более дороги и долины предлагалось домыслить фантазии зрителя. Всё было обозначено очень условно, и я, воспринимая взволнованную силу этого клубящегося мира, вскрикнула:

— Что это?!

Тикин Перчануш бросила на меня укоризненный взгляд и тотчас посмотрела на брата, не желая брать на себя ответственность за разъяснения.

— «Сотворение мира», — меланхолически ответил автор, рассматривая своё произведение прищуренными глазами.

— Великолепно! — сказала Перчануш.

— Великолепно! — с полной искренностью подтвердила я.

— А может быть, «Сила земли», а может быть, «Сон», — сказал Эачи. — Не знаю! — и засмеялся негромким и недолгим смехом.

С того дня и до самого последнего моего посещения этого дома — а можно ли сейчас вспомнить последнее посещение? — я помню эту картину на том месте, куда её повесил Эачи. Она не делалась привычной. Каждый раз, в соответствии с моим мироощущением, картина открывалась иной стороной и пробуждала новые настроения. Беспокойство? Возмущенность? Но никогда не мир, не успокоение. В те годы я не искала ни мира, ни покоя.

Другие воспринимали эту картину иначе. Постоянный посетитель дома, высокий пожилой человек, в прошлом известный адвокат, или, как говорили в те времена, «присяжный поверенный», сказал, задумчиво глядя на картину: «Нирвана»... Тикин Перчануш радостно закивала ему в ответ.

У Эачи была мастерская. Художники того времени большей частью работали в растворах городских магазинов. По моим воспоминаниям, в растворе мастерской Эачи было темновато. С потолка в нескольких местах свисали голые лампочки. Вокруг «натуры» — хаоса из старых ящиков, бутылок и рваного куска парусины — сидели худые смуглые юноши — ученики.

Эачи затащил меня в мастерскую, встретив на улице в солнечный осенний день. Я была в новом костюме модного цвета «какао», очень довольная собой. Но мрачные юноши, едва удостоив меня беглым взглядом, снова остервенело забили кистями по холстам.

Художник повёл меня по мастерской, зажигая по мере надобности лампочки.

Так мы прошли его «кубический период» — нагромождение синих безглазых кубов — «Современный город», несколько оранжевых кубов — «Любимая», и опять груда разноцветных кубиков и кубищ — «Человечество». Потом был период «углов», «спиралей», «окружностей». Картины без названий, где среди полной неразберихи красок и линий вдруг прочерчивался женский профиль или мужская фигура. А в самом углу под вспыхнувшей лампочкой я увидела портрет молодой женщины. Портрет точный, воспроизводящий лёгкое дыхание кружевной косынки на шее женщины и аромат тяжёлой малиновой розы у неё в руке.

Эачи усмехнулся, предваряя то, что я собиралась сказать:

— Видишь, вот так я тоже могу. Тебе это больше нравится?

В вопросе был подвох. Конечно, мне это нравилось несравненно больше! Но легко ли показаться отсталой в семнадцать лет?

Впрочем, Эачи не ждал моего ответа — скромностью он не страдал.

— Этот портрет на уровне лучших мастеров девятнадцатого века. Я уничтожил почти все свои работы этого периода. На них трудно увидеть больше того, что написано. Можно, но трудно. Понимаешь?

Он погасил свет и отошёл к своим ученикам, говоря каждому по несколько слов и очерчивая пальцем в воздухе нечто, поясняющее его указания. Мрачные юноши подхватывали слова учителя, жадно расширив глаза, и снова утыкались в свою малохудожественную «натуру», а Эачи царственно медленным шагом вышел из мастерской, увлекая за собой меня.

Я хорошо запомнила весь этот день. Не спрашивая о моих делах и планах, Эачи, взяв

меня за руку, повёл к вокзалу электрички, и мы поехали мимо голых, сожжённых солнцем пригородов нашего Баку по дороге, ведущей к нефтяным промыслам.

Сошли мы тоже внезапно — в посёлке имени Степана Разина — и направились по сухой, утопанной до каменной твёрдости дорожке прямо в степь, минуя посёлок с его открыточно нарядными домиками. Впереди прокатывались друг за другом невысокие бурые холмы, высились редкие масляно-чёрные вышки, под ногами лежала потрескавшаяся земля цвета крепкого чая с каплей молока. В тишине чавкала работающая буровая, и запах свежей нефти стоял в воздухе — плотный, материальный. Мы не встретили никого, кроме маленького ослика с перекинутыми по бокам сумками — хурджинами, и при нём — невысокого старика с тонким лицом пророка.

Мне было интересно, потому что я не знала, куда и зачем мы идём. За хлюпающей — «тартающей» — вышкой кто-то посеял узкую полоску пшеницы. Посеял и не сжал. Колосья стояли белесо-жёлтые, прямые, освобождённые от тяжести осыпавшихся зёрен.

С неожиданной быстротой Эачи потащил меня на холм. Мы лезли и лезли на его вершину и там трижды перебежали с места на место, пока наконец он не остановился и, совершенно успокоенный, застыл, глядя перед собой тем отрешённым взглядом, каким смотрел на свою клубящуюся картину.

Я вертела головой и не видела ничего, кроме буровых, которыми была сыта по горло, кроме жёлтой полоски жалкого поля и синеющих холмов вдали.

— Смотри, — прервал мою суетливость Эачи, — запоминай цвет, запах, тепло. По всему этому ты будешь тосковать потом, через много лет. Эта минута больше не повторится. Создавай себе вехи, по которым ты будешь вспоминать и, главное, ощущать свою жизнь. Смотри... Дыши...

Мы возвратились домой уже под вечер. Вокруг нас захлопотала тикин Перчануш.

— Целый день гуляли? И он тебя не покормил? О, истинный художник! Вы сейчас будете обедать. Нет-нет, не вздумай уходить, я тебя не отпущу. Пообедаешь у нас, только у нас! Шурочка, разогрейте обед...

Шурочка принесла маленькую кастрюльку супа и сказала:

— Обед весь — вот он. А хлеба нет. Эачи Перчевич утром-то за хлебом пошёл...

Позже всех, после спектаклей, в доме Прошянов появлялись актёры. Со следами грима на лице, они приходили, возбуждённые событиями чужой жизни, которую воплощали весь вечер.

Когда шла инсценировка романа Перча Прошяна «Сос и Вардитер» — драматическая история о разлучённых влюблённых, — артисты приносили полученные от зрителей цветы к портрету писателя. И в столовой Прошянов перед портретом отца всегда стояли веточки мимозы или возвышались наши, бакинские, особенно душистые соцветья нарциссов.

Особо помню волнения одной ночи. Специально на спектакль «Отелло» приехали колхозники из Карабаха, ибо Шекспир во все времена — любимый драматург армян. Отелло — свою коронную роль — играл тогда ещё молодой Ваграм Папазян — блистательный мавр, в костюмах, изготовленных для него в Венеции. Дездемоной была Жасмен — артистка яркая и красивая. А Яго — традиционный злодей с кривым, наклепленным из гуммы носом — артист Петрос (фамилии, к сожалению, не помню).

И вот помощник режиссёра, случайно вышедший в зал, чтобы посмотреть «изнутри», как принимают спектакль, вдруг услышал страшное армянское проклятье и увидел руку, поднявшую наган, направленный на бедного Яго, отца трёх детей, секретаря партийной ячейки трупы.

Помощник режиссёра повис на руке пылкого зрителя. Выстрел грохнул в потолок. Действие замерло на несколько минут, но после естественного переполоха всё-таки пошло

дальше.

По окончании спектакля актёры пришли к Просянам. Тикин Перчануш, положив перед собой лист бумаги, требовала, чтобы ей снова и снова рассказывали все подробности этого случая, достойного занесения в историю армянского театра.

— Надо записать со слов всех очевидцев, пока ещё свежи впечатления...

И она записывала, записывала, отрываясь от бумаги, чтобы ещё раз воздать должное артисту, исполнявшему роль Яго.

— Всё-таки как ярко надо было сыграть, чтоб пробудить в человеческой душе такую жажду справедливости и возмездия! Ты талант, Петрос, ты большой артист! Я всегда это знала!

И ревнивые к славе своих товарищей актёры в этот вечер охотно поднимали стаканы с вином, искренно приветствуя своего соратника, едва не погибшего во имя искусства.

Ещё не вполне оправившись от шока, виновник торжества неуверенно скромничал:

— Это Шекспир, товарищи! При чём тут я? Это Шекспир...

— Петрос, ты талант!

— Петрос, ты должен завтра же похлопотать, чтобы этот бедный парень не пострадал... К тебе прислушаются. Он жертва твоего мастерства!

— Сельчане его тут же увезли...

— Всё равно ты должен справиться и вмешаться! — не унималась тикин Перчануш. — И фамилию его надо узнать. Для истории.

— За твой талант, Петрос!

Он кланялся, а мы все смотрели на него влюблёнными глазами. В эту ночь впервые непревзойдённый Папазян был оттеснён рядовым трудягой, актёром Бакинского армянского театра.

Но я знаю, что сейчас где-нибудь в архивах театрального музея, может быть, в Баку, а может, в Ереване, лежат листки бумаги, исписанные рукой Перчануш Просян, запечатлевшие маленький эпизод в многовековой истории армянского театра.

Я любила приходить к Просянам пораньше, до съезда гостей, когда в передней ещё сидят клиенты, Эачи отдыхает «во внутренних покоях» и в столовой горит только настольная лампа.

Но поговорить с тикин Перчануш наедине удавалось нечасто. Почти всегда в эти часы за столом перед стаканом остывшего чая сидел высокий худой старик — тот, который увидел в картине Эачи «Нирвану». Меня удивляла тихая заботливость по отношению к нему со стороны тикин Перчануш. Хотя он на моей памяти ни разу не прикоснулся к своему стакану, она как-то особенно беспокоилась, чтобы чай был крепкий, чтоб на гостя не дуло из балконной двери, чтобы он сидел в кожаном кресле.

Удивляло и почему-то сердило меня отношение к этому человеку Папака. Выйдя из кабинета, он наскоро присаживался к столу и спрашивал:

— Значит, ты мне советуешь добиваться слушания этого дела в Нахичевани?

Или заговаривал ещё о чём-нибудь сугубо юридическом, не подвластном моему пониманию. И выслушивал очень внимательно. Даже почтительно. А гость позволял себе строго отчитывать хозяина за какие-то ошибки.

Мне он не нравился. Он всегда смотрел мимо меня, беседой не устаивал. Но один раз я в его присутствии по какому-то поводу заклеимила «гнилую интеллигенцию» — эпитет, который в те годы был очень в ходу, — и вызвала его сильный гнев.

— Вы понимаете, о чём говорите? — сказал он, выпрямляясь и угрожающе вырастая в своём кресле. — Вы знаете, что такое интеллигенция? От какого понятия это слово происходит?

Я не знала.

— Вы, кажется, студентка университета? — В этом вопросе звучало сплошное презрение. — Запомните: это слово означает «думающий», «мыслящий». Интеллигенция — лучшее, что создаёт народ. Это его цвет и гордость. Только ограниченное невежество может поносить дух народа!

Я была молода, нетерпима и изучала «Манифест».

— Но тем не менее буржуазия превратила интеллигенцию в своих платных наёмников...

Старик встал и, опираясь на палку, пошёл к двери. Перчануш бросилась за ним. Я ощущала своё унижение и активную неприязнь к этому сухому злобному человеку.

Тикин Перчануш вошла, встревоженная и грустная. Это меня не удержало.

— Тоже мне патриарх выискался! — срывающимся голосом начала я.

Но она строго подняла вверх указательный палец.

— Ни слова! — И повторила ещё строже: — Ни слова никогда! Иначе...

Она не докончила. Меня поразило её лицо, её незнакомый голос. Опустившись на тахту, тикин Перчануш стала быстренько завязывать узелки на бахrome своей шёлковой шали.

— Это мой муж, — тихо сказала она.

Я была поражена. Я никогда не задумывалась над её судьбой. Мне казалось вполне естественным, что она живёт у братьев, спит на тахте в столовой, где постоянно толкуются люди. Мне казалось, так было всегда и будет всегда.

Кончил работу Папак. Затащил меня к себе, чтобы «посоветоваться» насчёт своих новых стихов.

В его темноватом кабинете было всё, что положено известному адвокату: резной письменный стол, заваленный бумагами, с тяжёлым чернильным прибором, фигурками чугунного литья, бронзовой женщиной, держащей абажур.

Я сидела в непомерно большом кресле. Папак читал стихи. Перед ним стоял вопрос — рифмовать их или нет?

Срифмовать для него ничего не стоило. Но пока что стихи выглядели так:

Разметав асфальтовые косы,
Спит над морем распостёртый город,
И гуляет свежая моряна
По пустынным коридорам улиц...

Стоило изменить последнюю строчку — «по его пустынным коридорам», — и получилось бы, по моему мнению, гораздо лучше. Но меня удерживало то же, что и в мастерской Эачи: страх оказаться не на уровне современных требований. Кроме того, я неотступно думала о тикин Перчануш. И я молчала.

В столовой собирались гости. Звякали чашки. Даже в кабинет вкрался запах чайной колбасы, которую тогда делали с вкраплением зелёных фисташек. Тикин Перчануш предостерегала кого-то от вторжения в кабинет:

— Там работают поэты...

— Ты мне сегодня не нравишься! — сказал Папак. — Ты не думаешь о том, что я тебе говорю.

— Я думаю о тайнах жизни, — ответила я.

В жизни Перчануш Прошьян не было тайн. Просто прошло уже много лет с тех пор, как она с одним чемоданом ушла из своего благополучного дома, от любимого мужа.

Своего поступка она никому не объяснила. Поселилась с братьями: Папак был ещё сту-

дентом, Эачи — школьником. По-прежнему целые дни работала, ездила по районам, открывала начальные армянские школы, преподавала, обучала грамоте взрослых.

Говорили, что муж просил её вернуться и был согласен на любые условия. Родные уговаривали её взять хоть что-нибудь из бывшего дома. Тикин Перчануш не поддавалась ни на какие уговоры.

Всё объяснилось, когда у женщины, которая вела хозяйство в её бывшем доме, родился ребёнок и бывшая кухарка заняла место жены и хозяйки в квартире одного из лучших адвокатов города.

Я ставила себя на место тикин Перчануш, и мне казалось, что я поступила бы так же независимо и гордо. Мне нравилось, что она ушла из своего полного лжи дома с одним чемоданом. Вместе с нею я задыхалась от обманутого доверия и поруганной любви.

Но дальше она поступала вразрез с мстительной направленностью моих мыслей.

Она приняла прямое участие в воспитании детей своего мужа. И его новая жена послушно и уважительно принимала заботы и наставления своей бывшей хозяйки.

Дети росли, родители старели. А бывший муж каждый вечер на протяжении многих лет приходил в этот дом и часами сидел над стаканом остывшего чая.

Я старалась не попадаться ему на глаза, не оставаться с ним в комнате. И только один раз осторожно спросила:

— А почему он у вас чай не пьёт?

Перчануш добродушно засмеялась:

— Что ты! Ему дома готовят чай — как в Китае на чайной церемонии. Специальная смесь, подогретый чайник, сырая вода, я как-то насчитала десять условий, теперь всё позабыла...

Называла она его «мой родной». А он, приходя и уходя, целовал ей руку.

Кроме своего, университетского, я посещала все литературные кружки города. И самый «передовой» — в политехническом нефтяном институте, и самый разноликий — при редакции газеты «Вышка», и самый престижный — заседания русской группы Азербайджанской ассоциации пролетарских писателей — АЗАППа.

Русской группой руководил поэт Михаил Юрин, приехавший в Баку из Москвы. Его поддерживали два столпа — мрачный прозаик Михаил Камский и добродушный немолодой поэт Тарасов.

Вероятно, эти трое были правлением, официальным руководящим ядром группы. Я не вдавалась в организационные подробности и беззаботно снимала поэтические пенки и с идеологически выдержанных творений пролетарских поэтов, и с сомнительных формалистических изысков лидеров политехнического и университетского кружков.

Русская группа АЗАППа собиралась в выходные дни. И лёгкий на подъём Папак Перчевич отправился со мной на одну из очередных пятниц. Точно не помню: хотелось ли мне прихвастнуть перед руководством поэтом Прошяном или, наоборот, придать себе вес в его глазах знакомством с литературной элитой города, — вероятно, и то и другое. Я была очень довольна, когда привела Папака к прекрасному бакинскому дворцу «Исмаилие», где — уж не помню, на каком этаже, — была отведена комната для литературных заседаний.

Но с первой же минуты у меня не оказалось никакой роли. Мне не пришлось ни знакомить, ни представлять кого-то кому-то. Папак Прошян естественно и просто шагнул к столу, где восседали наши руководители, подтянул к себе стоявший в отдалении стул и назвал себя с небрежной простотой, которая должна была откинуть прочь все сомнения в его праве принадлежать к ареопагу верховных.

И, к моему удивлению, они потеснились и приняли его в свой круг.

Заседание шло обычным порядком. Какие-то малограмотные юноши, которых выиски-

вал ездивший по районам республики Михаил Юрин, робея и запинаясь, читали свои стихи, а наш метр, потрясая своими откинутыми с высокого лба волосами, разбирал каждую их строчку.

— Вот автор пишет: «Мы ходили по полям с гармошкой». Что говорит нам эта строка? Она говорит, что у человека ещё нет поэтических навыков. Иначе он написал бы так... — И запел, протяжно и монотонно, как всегда, читая стихи:

Ходили мы с гармошкой по полям...

Молодой поэт хватался за карандаш, но Юрин останавливал его движением руки:

— Я сейчас говорю не об отдельной строке, а об общем поэтическом восприятии.

Поэт сникал, но, обласканный выраженной тут же надеждой насчёт его одарённости, сопровождаемой советами осваивать классику и учиться у Маяковского, вновь восставал духом и уже с некоторым торжеством слушал разбор творений своего товарища.

Потом читали стихи завсегда и кружка. Суровый юноша потребовал, чтобы обратили внимание на его особые редкие рифмы, из которых я запомнила одну: «трюм — угрюм». Он на неё особенно напирал, прокатывая голосом букву «р», как оперный баритон.

Рифмы Юрин похвалил, но общее настроение стихов вызвало у него чувство неудовлетворённости.

В этот день он, побуждаемый взглядом «извне», старался быть особенно красноречивым и остроумным. Папак, верный себе, отмечал удачные образы, обороты, рифмы благожелательным кивком, коротким восклицанием: «Браво!»

Так им был одобрен поэт с редкими рифмами, который уселся на своё место с отрешённо-невидящим взглядом, «хвалу и клевету» приемля — якобы! — равнодушно.

Обычно под конец читал стихи Михаил Юрин. Критике они не подлежали.

Эрудированные и рафинированные университетские таланты, ученики знаменитого Вячеслава Иванова, который недавно покинул наш университет, относились к творчеству Юрина настороженно, молчаливо. Изредка какой-нибудь не в меру осмелевший юнец поднимался, чтобы выразить недоумение, почему его за подобные же образы и рифмы... и так далее... На что внушительный Камский давал суровый отпор в том смысле, что «Юпитеру позволено».

Но сегодня Юрин предоставил трибуну последнего стихотворения «нашему гостю». Вот где замерло моё тщеславное сердце! Я боялась, что Папак выступит со своей любовной лирикой, в которой он считал себя особенно сильным. Но он прочёл неизвестное мне стихотворение, из которого я запомнила только последнюю строфу:

Кому сейчас отдам свои стихи я,
В раздоры века брошенный поэт?
Мир созидает разума стихия.
Покоя нет. Но счастья тоже нет.

«Всё плохо», — поняла я. Сомнение, упадничество. Самые неподходящие стихи. И почему «счастья нет»? Как это нет, когда именно есть. Недавно в этой же комнате один молодой поэт утверждал, что оно, счастье:

Брызжет из каждой щели,
Радует каждым днём,
С нами шагает к цели
Гордым, большим путём!

И этого поэта объявили талантливым и перспективным именно за вот эти простые и, как сказал Камский, «чеканные строки».

Что же теперь будет? Лица наших руководителей были серьёзны, но никто не брал слова для выступления. Молчание затянулось. Юрин покачал головой и сказал негромко, с лёгкой усмешкой:

— Вторичные стишки-то. Ещё Пушкин сказал, что счастья нет, но есть покой и воля...

Папак ничуть не смутился. С доброжелательней улыбкой он легко ответил:

— Все мы после Пушкина и Блока вторичны. Даже гениальный Есенин повторял своих предшественников. Помните его строчки:

Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт...

А до этого было:

Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам...

— У кого это было? У Блока, что ли? — спросил мрачный Камский.

Папак засмеялся, и это вызвало гневное раздражение Камского.

— У Маяковского надо учиться приравнивать перо к штыку, а не бандитов в стихах прославлять!

— Что же делать, — сказал Папак, — не все могут наступать на горло собственной песне. Для меня, например, это равносильно убийству. И пока человечеству будет светить солнце, пока женщины будут зачинать детей и юность приходить на смену старости, поэты будут писать о природе, о любви, о смерти.

— О социальной борьбе они будут писать! — закричал Камский. — Земля сотрясается от классовых боёв, народы стонут от голода и угнетения в цепях капитала. Пролетариат идёт на решительный штурм. Кому сегодня нужно ваше щебетание?

— Мне! — ответил Папак. — Ей, — он кивнул на меня. — И им, — он обвёл рукой настрожившуюся аудиторию.

— А мы сейчас это выясним, — с угрозой сказал Камский, — мы это сейчас проверим...

— Голосованием? — грустно спросил Папак.

Юрин положил руку на плечо Камского.

— Остынь, Миша, — сказал он весело. — Время покажет, о чём будут писать поэты. Вот соберёмся лет через тридцать...

И без предупреждения, встав у стола, он напел стихи, откидывая над куполом лба лёгкие, прямые, как нитки, волосы:

Но я пока и молод и здоров,
И весь во власти моего призванья.
Есть у меня в запасе много слов,
Чтоб не просить у жизни подаянья...

Он читал, глядя на Папака, проверяя его реакцию и готовый в любой миг принять бой.

Но увидел он искреннее сопереживание и высокое одобрение. Папак одарил его аплодисментами, которые подхватили все присутствующие. Это не было принято на наших собраниях и потому прозвучало особенно празднично.

Дула лёгкая моряна. Вечер не потемнел, и городские фонари блестели, ещё не давая света. Тревожащий меня день кончился вполне благополучно, и чего бы ещё желать? Но Папак замедлил шаги перед деревянными воротами на одной из центральных улиц.

— Думаю, ты достаточно взрослая, чтобы посидеть со мной в этом ресторанчике?

Он толкнул дверцу, и тотчас — будто только нас ждали — ударила заунывная музыка восточного оркестра, обдало роскошным чадом бараньего жира, стекающего на раскалённые угли, ароматом зелени и острым запахом вина.

Ресторан помещался во дворике, по углам которого в больших кадках обильно цвели розовые олеандры. Столики стояли на утопанной земле. У одной стены, на небольшом возвышении, сидели музыканты в бешметах с серебряными поясами.

Это был мой первый вечерний ресторан, первый официант, толстый и полный достоинства, протянувший мне меню, с которым я не знала, что делать.

— Какой сегодня кябаб? — осведомился Папак. И заказал: — Два кябаба, два шашлыка.

— «Шамхор»? — почтительно утвердил официант сорт вина.

Быстро и красиво над нами взлетела чистая скатерть. На ней расположились тарелки с зеленью и розовой редиской, хрустящий чурек, источающий слезу зеленоватый сыр.

А музыканты, закончив свои любовные причитания, которые выпевал горловым голосом юноша, бывший одновременно в бубен, вдруг заиграли на своих древних инструментах залихватские «Кирпичики». И это было так странно, как если бы араб пустыни взялся плясать гопака.

Я всё это принимала с восторгом, но Папак был необычно молчалив и задумчив.

— Так протекают дни, — он бессознательно отбивал новый такт диких «Кирпичиков», — люди всерьёз занимаются поэзией, а я защищаю в суде интересы своих клиентов. А нужно ли мне это? В искусстве то, что не сделано сегодня, не будет сделано уже никогда.

— Бросьте вы своих клиентов! — щедро посоветовала я.

Он усмехнулся.

— Я уже взвалил на плечи ношу, которую мне не скинуть. Дом, ответственность за близких, мастерская Эачи... Он, при своей талантливости, пока ещё не вполне признан...

— Но у него ученики!

— Бог мой! Голодные мальчики. Эачи их всех кормит. Но нельзя зарывать в землю талант. Это не прощается.

«Кирпичики» наконец кончились. Нам принесли шашлык и кябаб. Мне налили тёмное вино. Всё было удивительно вкусно, но, чтобы не показаться неискушённой, я щедро похвалила только редиску, которая действительно имела тот особый вкус, какого почему-то не бывает у редиски дома.

Папак оживился:

— Какое совпадение! Вот и Бэлочка говорит то же самое.

— Ах, Бэлочка? — сказала я, осмелев от выпитого «Шамхора». — Ваша поклонница...

Он улыбался, довольный.

— Та, что «закутанная мехом»? — не унималась я.

Папак погрозил мне пальцем.

— Нет, то другая, — его настроение явно улучшилось, — то совсем другая. Но, понимаешь ли, всё это тоже отнимает у меня время...

— Ну, знаете, — нравоучительно сказала я, утверждаясь в своём праве давать советы, — бросайте вы всю эту бузу с клиентами и поклонницами. Лучше откройте новое направление в поэзии!

Я несколько кривила душой, приписывая Папаку такие возможности, но мне хотелось его подбодрить.

— Поздно, — ответил он, — поэзия дело молодое. Я подошёл к возрастному рубежу не с пустыми руками, но и не осуществив того, что мог. Поэзия должна быть главным делом всей жизни. У меня это не получилось.

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло расцвести и умереть...

Мне было хорошо и чуть-чуть грустно...

И ещё запомнился мне этот вечер взрывной скрежещущей музыкой, в которой временами прорывалась хабанера из оперы «Кармен». Этим незабвенным впечатлением одарили нас на прощанье тар, саз и яростный бубен.

...Эачи Прошьян передвигался шаркающей, развинченной походкой. Я часто встречала его на нашей улице и узнавала издалека. Иногда мы обменивались только кратким приветствием, но в тот день он подошёл ко мне и сказал со своей вялой усмешкой:

— Мусинька, у меня сегодня день рождения, я тебя приглашаю, — и церемонно, склонив набок голову, прошествовал дальше.

В те годы люди не дарили друг другу ценных, дорогих подарков. Приглашая, обычно старались не упоминать о торжественных датах и поводах, чтобы дать возможность гостю воскликнуть:

— Как же так можно! Ничего не сказали! Я же не знал!

Но я была приглашена недвусмысленно. Не очень задумываясь, я истратила трёшку, предназначенную на уплату за телефон, и приобрела небольшую коробочку шоколадных трюфелей, которые тогда были новинкой и, как мы теперь знаем, прочно удержались в нашей действительности.

На празднование дня рождения Эачи я пришла пораньше, движимая благородным стремлением помочь по хозяйству. Я всегда любила предпраздничную суету на кухне, умела красиво оформить блюдо с винегретом и вынуть из селёдки все косточки.

Но, видимо, всё было приготовлено заранее. Перчануш лежала на тахте с газетой. Виновник торжества ходил по столовой небритый, в халате и, получив от меня коробку, с каким-то весёлым любопытством открыл её, поднёс сестре, мне, и мы съели по трюфелю, которые в тот период своего существования были несравненно полновеснее и вкуснее, чем сейчас.

— Восхитительно! — одобрила тикин Перчануш. — Сейчас Папак кончит приём, и будем пить чай.

Эачи удалился к себе, а я не успела выложить и половины своих новостей, как явились первые гости — весёлая художница со своим строгим мужем — администратором театра, известный врач с молодой супругой, артистка Азербайджанского театра драмы Ситара-ханум.

— Простите, дорогая моя, — сказала она с очаровательным мягким акцентом, — муж сегодня играет, он после спектакля придёт.

Я уже говорила, что гости в этом доме бывали каждый вечер и радостное: «О! Кто к нам пришёл!» — встречало каждого переступившего порог. С приходом нового посетителя Папак выскакивал из своего кабинета с раскинутыми точно для объятий руками — радушный и благожелательный.

— Сейчас, сейчас, — обещал он, — я уже заканчиваю!

Тикин Перчануш благодумствовала в обществе педагога — основателя и директора школы глухонемых. Она слушала его рассказ о том, как учатся объясняться его питомцы, восхищалась и требовала восторгов от всех присутствующих.

Гости прибывали. В столовой они уже разделились на группки. Одного центра притяжения стало недостаточно. Вторым сделался Папак Перчевич. Сгруппировав вокруг себя молодых женщин, он негромко рассказывал что-то, предназначенное только их кругу. Его глаза блестели лукавством. Это ему шло.

Я ощущала тревогу. Во-первых, не появлялся сам «новорождённый». Вообще-то он приходил и исчезал из общей комнаты по своему желанию и удостаивал гостей вниманием не всегда. Но сегодня его отсутствие было неприлично. Во-вторых, гости всё прибывали и прибывали, а на столе сиротливо лежала моя коробочка трюфелей и, как я понимала, ни-

чего больше не предвиделось. Тикин Перчануш раза два вспоминала:

— Где же Шурочка? Она нам сейчас даст чаю, — но затем её отвлекла очередной гость, интересный поворот беседы, и она забывала о своих хозяйственных порывах.

Для разведки я выбралась на кухню, где Шурочка, горько рыдая, накачивала примус.

— И где я столько посуды возьму, — причитала она, — и примус гореть не хочет... И всё идут, и всё идут... И чайника такого у нас нет... И сахару на донышке осталось...

Раздался ещё один звонок и ещё одно радостное приветствие. Но появление одной из ведущих артисток русского драматического театра, воспринятое тикин Перчануш как абсолютно естественное, наконец-то смутило её более трезвого брата. Тем более что артистка принесла три розовых бутона на длинных, как пики, стеблях.

Я возвращалась из кухни, когда, сияя улыбкой, — «Секунду! Одну секунду!» — Папак ускользал из столовой, увлекая за собой кого-то из гостей. С той же улыбкой, сумев облечь свой вопрос в наиболее деликатную форму, он спросил:

— Пришли ли вы сегодня к нам только по велению сердца?

— Как всегда, — ответил галантный гость. — Но и по приглашению.

— Я так и думал. — Папак всё ещё улыбался. — Мой брат?

Гость наклонил голову.

— Благодарю вас, — сказал Папак, — всё в порядке.

Он открыл гостю дверь в столовую, а сам торопливо прошёл в комнату брата. Я — за ним. Мне было любопытно, как поведёт себя рассерженный Папак.

Эачи спал на своей широкой тахте. Папак тронул его за плечо.

— Вставай, побрейся, выйди к гостям.

Эачи открыл глаза, но продолжал неподвижно лежать, ещё теснее вдавливая голову в подушку.

— Я поеду в «Гранд-отель» организую ужин. А ты иди занимай приглашённых тобой гостей!

— Пусть Муся уйдёт, — хрипло сказал Эачи, — я буду одеваться.

Он появился в столовой помятый, встрёпанный, улыбающийся своей виноватой улыбкой и был встречен радостными восклицаниями, поздравлениями и приветствиями.

Тикин Перчануш, которая вначале принимала все эти изъявления чувств как должную дань своему талантливому брату, вдруг уяснила себе происходящее и, обведя гостей лучистыми глазами, удивлённо проговорила:

— Эачи, дорогой, но ведь сегодня совсем не твой день рождения!

Он взял со стола стебли роз, увенчанные острыми бутонами, и, держа их вертикально, как жезл, сказал медленно, церемонно поворачивая голову во все стороны:

— Я сегодня утром вышел из дома, увидел солнце и синее море... Дул такой прелестный ветер... Мне захотелось сделать себе что-нибудь приятное... Себе и всем людям тоже... Вот я вас всех позвал на свой день рождения... Было такое прекрасное утро, что мне захотелось родиться в это утро...

Гости решили, что всё это было запланировано.

— Ах, какая прелесть! — сказала актриса русского театра.

Все захлопали в ладоши.

Тем временем в комнате возникли два совершенно незаметных человека в чёрных костюмах. Никому не мешая, ловко передвигаясь между гостями, они неслышно раздвинули массивный стол, накрыли его белой скатертью и с волшебной быстротой расставили приборы, бокалы, бутылки и тарелки с закусками.

Появился Папак, оживлённый, довольный, включился в общее течение вечера, дал пройти времени и воззвал к сестре:

— Перчануш, проси гостей к столу!

— Будем пировать! — радостно предложила тикин Перчануш, нисколько не удивлённая возникшей скатертью-самобранкой. С тем же призывом она обращалась к гостям в иные дни, предлагая порой только сухари да стакан чая.

В этом доме гостей не приходилось особенно уговаривать. Я не знаю почему, но вся еда уничтожалась, словно в каком-то спортивном соревновании. Через десять минут на столе не осталось даже ломтика колбасы. Официанты подали два блюда с цыплятами-табака, которые тут же разлетелись по тарелкам, и тот, кому не хватило, начинал жаловаться, как маленький, пока с ним не делились. И хотя есть было уже нечего, тикин Перчануш приветливо предлагала: «Угощайтесь, угощайтесь!» — и гости пили натуральное кизлярское вино, закусывая вкуснейшим чуреком.

Постоянный тамада доктор Белубеков произнёс тост в честь Эачи, который «являясь образцом красоты человеческого духа, настолько высок, что для нас, простых смертных, как бы витает в облаках...».

На что Папак, наклонившись ко мне, сказал, будто продолжая или даже завершая ранее начатый разговор:

— Вот так, Мусинька, когда один в облаках, другому надо крепко стоять на земле...

Потом выпускница консерватории играла на рояле медленный танец «Назпар» композитора Маиляна, музыка которого обладала свойством обострять и радость, и горе, — её играли и на свадьбах, и на похоронах...

Артист армянского театра исполнил традиционный монолог Пэпо, исступлённо обличая социальную несправедливость старого мира. Артистка русского театра прочла «Песню о Буревестнике», и все они были признаны и оценены.

Я сидела, разрываема желанием заслужить свою долю восторгов и опасениями, что не получу их сполна. Но тикин Перчануш властно сказала:

— А теперь послушаем Мусю.

Папак захлопал в ладоши, призывая к тишине.

Охваченная жаром и счастьем общения с аудиторией, я читала свои лучшие стихи:

Зарыдала зурна недаром
Звоном звуков золотых,
Загрустила чинная чинара,
Тополь трепетный затих...

— Великолепно! — прошептала тикин Перчануш. — Какая музыка!

Но я-то помнила, что, выслушав эти стихи на заседании университетского кружка, наш верховный критик Ака Корнев сделал брезгливую гримасу:

— Ну, знаете... аллитераций вы там напустили — слушать невозможно!

— Талант! — провозгласил Папак Перчевич, заглушая аплодисменты.

— Какая прелесть! — сказала артистка русского театра.

— Иди ко мне, я тебя поцелую, — требовала тикин Перчануш. Она шепнула мне: — Ты наша надежда...

Как приятно быть надеждой! Как это окрыляет! На другое утро, едва проснувшись, я сразу принялась писать стихи.

...У нас в квартире начался ремонт. На белёные обшарпанные стены клеили красивые обои, до половины гладкие, а выше — бордюры из крупных цветов того же оттенка. Циклевали полы. Всё бы это ничего, но когда начали красить двери и окна, то жаркие августовские ночи, пропитанные духом олифы и краски, начисто лишали сна. Ночевать дома было невозможно. Старшие пристроились у дедушки, а меня приютили Прошяны.

И не то чтобы приютили, а просто потребовали:

— Муся ночует у нас, только у нас!

И тикин Перчануш деятельно принялась устраивать меня в маленькой комнатке-чуланчике.

Она отвергла моё предложение принести свою постель.

— Что ты! В каждой армянской семье должны быть тюфяки и одеяла для гостей. Я сейчас выясню, где они.

Теплота и радушие искупали и окаменелую бугристость тюфяка, и плоскую слежавшуюся подушку. Но в те времена я не замечала особого преувеличения в стихах Некрасова:

Дай хоть камень в изголовье,
Ляг он — и заснёт...

К тому же я была окружена нежной заботой. На стул у тахты положили большую гроздь моего любимого розового дербентского винограда с крупными, мясистыми и не очень сладкими ягодами.

Папак несколько раз влетал в каморку, озабоченно справлялся, удобно ли мне будет спать, и наконец принёс мне для чтения на ночь роман Оливии Уэдсли «Пламя».

В первом часу ночи в столовой ещё сидели гости. Тикин Перчануш посередине фразы вдруг замолкала и толчком роняла голову. Наступившая тишина мгновенно будила её, и она как ни в чём не бывало продолжала разговор. Но я не могла погружаться в секундный сон и откровенно зевала, пока Папак не сказал:

— Ты уже хочешь спать, иди к себе.

Тикин Перчануш во избежание кривотолков объяснила:

— Муся у нас ночует, она пройдёт к себе, а мы ещё посидим.

Не свой дом, чужие шорохи, чужие запахи да ещё такой роман! Я заснула не сразу, но крепко — камешком, брошенным в воду.

В глубоком сне я услышала, как меня зовут по имени, но проснуться не могла. Потом меня не то чтобы потрясли, а ткнули в плечо, и я очнулась. Была самая глубокая преддурная ночь.

В тёмной крохотной комнате надо мной возвышалась большая бесформенная фигура.

Я знала, что я не беззащитна. За стеной кабинет Папака, в двух шагах в столовой спит Перчануш. Вероятно, поэтому охвативший меня ужас был сродни тому трепетному восторгу, с каким в детстве слушаешь страшные сказки. Я натянула на себя одеяло, готовая пружинкой соскочить с тахты.

— Мусинька, — негромко позвал Эачи, — ты любишь яичницу с помидорами? Я её приготовил, а есть одному скучно...

ШААН ШАХНУР

ПОРТНОЙ, ДВА ЕГО ГОСТЯ И РАЗНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Рассказ

Дом от чрезмерной старости угрожающе покосился, выставив пузо во двор. И чтобы он не рухнул, подперли его под вывалившееся пузо старенькой метлой, на зеленоватом древке которой продолжал красоваться ярлык Галери Лафайет¹. Кроме метлы, этот ветхий домище подпирали со двора и два громадных бревна: упершись в булыжник, устремились они на второй этаж и там — сообразно обстоятельствам — ютили птичье семейство либо сушили платье почтальона. Тут же, под брёвнами, разместившись в двух комнатах нижнего этажа, жил Тиран. Одна из комнат была чрезвычайно мала. В ней едва умещалась постель, и её Тиран (не шутя) называл спальней: там он спал. Другая, просторная, служила ему одновременно портняжной мастерской и кухней. Здесь вечно пахло горелой шерстью; на полу валялись обрезки тафты; брошенные, где попало, лежали здесь и там свидетельства его холостяцкой жизни. На стене мерно скрипел старый «компьютер» — он кропотливо подсчитывал расход электричества, пока хлёсткий удар не заставлял его вздрагивать. Это портной, возникая перед прибором, бросал по-турецки:

— Хватит, — и, дабы убавить свои расходы, парой точных, выверенных долгими тренировками оплеух пресекал работу счётчика.

Кухня в большой комнате отделялась от мастерской висящим над плитой портретом, изображающим в рост Капа Морлея. За исключением воскресных дней, предназначенных для свиданий, Тиран по заведённой привычке обедал дома, собственноручно готовя себе еду, и если — бывало и так — стряпня оказывалась несъедобной, он зло обрушивался на Капа, ругая его эдак или иными похожими словами:

— Понадейся на такого бездельника! Вот человек!.. Тебе же поручили пригладеть за обедом... Ну артисты, куриного яйца не сварят!

В остальном отношения у них были самые разлюбезные. К тому же еда лишь изредка оказывалась невкусной, да и консержка теперь уже научилась готовить восточные варева. Улыбчивый, щедрый на руку армянин сумел завоевать расположение мадам Пьюк, которая, несмотря на всегдашнюю свою беременность, была женщиной на редкость подвижной и работающей. Вот и сейчас, схватив за оттопыренное ухо тяжёлый саквояж, она собралась сама нести его в комнату портного, моментально сообразив, что за люди приехали, а всё оттого, что приезжие в недоумении стали в дверях, загородив проход своими вещами, которые услужливо притащил им шофёр с пренеприятной физиономией. Мадам Пьюк осеңило:

— Мадемуазель Алис?.. И вы, мсье, её отец?! Мне всё известно, я знаю, вы приехали из Константинополя.

Не мешкая, мадам отобрала у шофёра деньги, возвратила их армянке и, задрав подол, полезла в карман нижней юбки, чтобы самой расплатиться за гостей, — похоже было, будто клочок жёлтой комбинашки сунула она шофёру, добавив:

— Это вам за хлопоты.

Отец с дочерью, возглавляемые консержкой, направились в комнату портного, и там воодушевление мадам Пьюк неизмеримо возросло. Она стала говорить, что мсье Тюран

¹ Галери Лафайет — название универсального магазина в Париже.

скоро будет, что с минуты на минуту он подойдёт, что он с нетерпением ждал приезда гостей и много рассказывал о них... О, он говорил, что приедет замечательный мастер, у которого он учился шить в Константинополе... Но предварительно мадам Пьюк, указав на стул, предложила гостям сесть, скинуть с себя лишнее, умыться... Нет-нет, кран открывается так, можно сварить кофе — это очень просто... Поверьте, вы очень хорошо сделали, что приехали сюда. Очень, очень хорошо. Что вам было делать в этой омерзительной стране? Работы там вообще нет, а для армян тем более. Слава богу, у нас здесь всего навалом, и такой искусный мастер без дела не останется. Вот у мсье Тюрана работы всегда хватает, и без дела он не сидит. Но, насколько мне известно, вас должно было быть четверо? Что же вы приехали вдвоём?..

Вопреки своей болтливости толстая мадам Пьюк была до того симпатична, и говорила она с таким явным дружелюбием, что приезжие армяне внимали ей с любовью, хотя отец девушки совершенно не знал языка, а сама девушка понимала из сказанного очень немного...

— Презираю турок, ненавижу этих варваров. Подумать, сколько людей погубили! Даже детей не жалели! А теперь по этому новому ихнему закону выходит, что вам нельзя вернуться на родину. Издают закон, абсолютно не считаясь с тем, что земля эта испокон веков принадлежала вам. А ведь мы вас раньше ждали...

Прервав свою речь, мадам Пьюк внезапно обратилась к госте:

— Мадемуазель Алис, вы очаровательны и — удивительно! — вы очень похожи на корсиканку.

...Саквояжи были распакованы, вещи как попало разместились по углам, и перестала течь вода из крана. Мадам Пьюк без конца куда-то уходила и возвращалась. Её сын пришёл и стал в дверях, за ним пристроился второй, поменьше ростом, к ним подбирался и третий — этот полз на четвереньках. В открытые двери прошла чёрная кошка. За ней котёнок и ещё котята...

Кофе был разлит по чашкам.

Разумеется, Тиран испытал огромную радость при виде своих гостей, ведь парень впервые по прошествии многих лет видел своих родственников. Не беда, что не очень близких. Тахес-ага, оглядев комнату, повернулся к Тирану: «Эге... скажи-ка, парень, с каких это пор ты стал портным? Та-ак... Ловок же ты, однако». Говоря по справедливости, так всё и было. Тиран всего лишь год продержался у Тахес-аги в подмастерьях и бросил дело, не проявив способностей к ремеслу.

— ...О, это было преинтересно, Алис. В первый же день, провожая меня на работу, мать принесла напёрсток и, прекрасно зная мой характер, стала наперёд наставлять меня работать прилежно, проявить старание, чтобы заслужить одобрение твоего отца. В тот же день, вечером, прибежав домой, я кинулся к матери: «Мастер мною очень доволен, я там мышшь поймал». Ты помнишь, мастер, как я ножницы твои сломал? Но ведь и мышшь прибил. Она величиной — во! — какая была...

Парень погрустнел. В памяти всплыли картины тех давних лет, и в ярких красках пригрезились ему милые, родные лица. Волною накатило тёплое чувство, он вздохнул и грустно произнёс:

— Никчёмный мир, пустой и бестолковый...

К счастью, заговорили о насущных делах, и мастер, отвечая на вопрос, сказал, что сведения он получил обнадеживающие, но не стал рубить сплеча, не решился разом изменить годами налаженный уклад своей жизни, и потому в Париж они приехали одни с дочерью.

— Поживём немного тут, присмотримся, — продолжал мастер, — если здешние условия моим делам пойдут впрок, тогда напишу сестре, пусть соберётся со своим Смбатом,

продаёт всё и приезжает... Словом, время покажет, — заключил он.

Далее случилось несколько обычных происшествий, которые неизбежно преследуют иностранцев в чужом городе. В ближайшей гостинице, где обосновались отец и дочь, оказались клопы. Проведя долгую бессонную ночь — а это, известное дело, возмутило хозяйина, заметившего, как у постояльцев всю ночь горел свет, — наутро они запросили другую комнату. Но и эту — уже следующей ночью — армяне-беженцы забросали проклятиями. В результате Алис схватила ужасный насморк — благо поспела её подруга Астхик, которая забрала её к себе, в Сен Мандэ. Теперь Тахес-ага стал ночевать у Тирана, до возвращения Алис и до тех пор, пока найдётся свободная комната. А так как за все эти дни работа Тирана задержалась, мастер Тахес, засучив рукава, стал помогать бывшему своему ученику, и за работой пошёл разговор о старом и новом, о том о сём: на армянском языке и на языке турецком.

Когда преподобный отец Измирлян во время службы произносил «отвори нам» и деревянным молотом бил в портьеру, мы все в хоре знали, что за портьерой доску «райские врата» держит мой старший брат. Сам Измирлян с ним здоровался. Какие были дни! Что за дни... Прекрасно помню, перед самой пасхой нам сшили новые накидки. Я надел свою, а она точно по мне скроена: ни единой складочки! И под воротником вышито — Т и П. Всё понятно! Тахес Палапанян! Это значит, что одежда принадлежит мне... Каждый в хоре мечтал поддержать доску «райских врат», но Экимян, покойный, говорил: «Не шумите. «Райские врата» будет держать Левон. Всё!» У моего брата Левона был изумительный голос, с ним в хоре никто не мог сравниться. Когда он запевал «Осанну», все жители округа узнавали его. «Левон поёт», — говорили они друг другу. Айюбы, Фатихи — сами, добровольно приходили нас слушать. «Божественный хор», — единодушно признавались они. Какие были дни! Где они?.. Ребята на пасху бегают, хохочут, разыгрывают яйца, а я стою и плачу. Обязательно хочу свою сутану забрать домой. «Моя сутана. Там написано — Тахес Палапанян. Я должен отнести её домой». А какой с меня спрос? Сколько мне лет было-то? Сущее дитя! Ребёнок!.. Прошли годы — я всё ещё не был причётником, — спросил я как-то у Измирляна: «Преподобный, помните, как во время службы я в обморок упал? Я же постился тогда перед причастием». Помнил. Я его спрашиваю — мы в трапезной тогда сидели, — и он отвечает: «Помню». И Левона помнил. «Его голос до сих пор у меня в ушах звучит». — Он так и сказал...

Увлёкшись работой, портные забыли закупить продуктов, и вышло так, что Тиран повёл мастера в ближайшую столовую, где они «отведали тумаков», то бишь поели. Расставшись с сутолокой, шумом, тяжёлым запахом кухни, Тиран с мастером вернулись домой — к шитью и к своей нескончаемой беседе. Тогда же, в беседе, Тиран вспомнил и обратил внимание мастера на очень немаловажную проблему: как должен поступить мастер, если вдруг потеряется в городе? «Зелье от этой напасти мы уже нашли», — продолжал Тиран и написал на клочке бумаги следующее: «Я — Тахес Палапанян, армянин, проживаю на улице Маркада, прошу проводить меня туда». Аккуратно сложив листок, он отдал его мастеру и велел его бережно хранить.

Тиран, таскавший за собой мастера, вконец изнемогшего от долгой ходьбы в поисках жилья, прошёл в узкие двери; уже в помещении, дойдя до конторки, он спросил:

— Простите, девушка, не найдётся ли у вас комнаты?.. Для моего друга и его дочери... На месяц.

— Нет, мсье, к сожалению... Нет. На двоих?.. Впрочем, такая комната имеется, но она сейчас занята. Вы не могли бы зайти через час?.. Вы далеко живёте?..

В ту же минуту шумно распахнулась стеклянная дверь в глубине конторы, и в комнате появилась женщина. Вторжение было осуществлено настолько решительно, что ручка от

двери осталась в руке вошедшей. Крупнокостное дебелое существо, с засученными по локоть рукавами, с красным от кухонного жара лицом шло прямо к конторке, где сидела тоненькая, как программка земляческих вечеров, девушка. Женщина орала:

— Дура! Ненормальная! Ты нарочно это делаешь! Уже третий раз ты этим вздором отводишь моих клиентов. Вчера! Позавчера! До сих пор я прощала, но теперь ты заслужила славную оплеуху. Заслужила, говорю, молчи! Не можете зайти после, где живёте?.. Близко?.. Ваш консьерж живёт в вашем доме?.. Не смей отвечать, ты меня выводишь из себя! Раскрой пошире уши и слушай, как надо говорить с посетителями.

Повернувшись к мастеру, который ни слова не понимал по-французски, хозяйка заведения отбарабанила:

— Да, мсье, у нас имеется двухместный номер. Цена 200 франков. Если желаете, можете немедленно осмотреть.

Тахес-ага, вконец одуревший от усталости, недовольно кривя губы, спросил:

— Тиран, что надобно этой фурии?

— Как же они войдут, там же занято? — со страхом возразила девушка.

Хозяйка разъярилась. Не выдержав напряжения, она метнулась из комнаты, крича, что задержись она минутой больше — и быть беде: она непременно запустила бы дверной ручкой в голову этой дуре. Увлекая за собой армян, она стала взбираться по лестнице, приводя в трепет ступени, расправляя на ходу рукава и водя передником по сальным перилам.

В таком раздражении она дошла до одиннадцатого номера и стукнула в дверь. После третьего мощнейшего удара далёкий голос из-за двери отвечал:

— Но, мадам Жато, я не могу открыть... Я не одна...

— Да-да, конечно... Но послушай, Лулу, ты забываешься. Ты приходишь каждый день, берёшь комнату на час, а запираешься на три... когда всем известно, что в часе семьдесят пять секунд! Я с тобой всегда была честна и ничего не говорила. И если ты умная девочка, ты не станешь сейчас со мною спорить. Иначе, если так будет продолжаться, нам вражды не миновать...

— Но, мадам Жато, — возразил голос, — я всего лишь полчаса назад пришла...

— Полчаса?! Че-етверть! Всё равно ты должна открыть. Мне так надо. У меня настоящие клиенты, и как это было вчера, я не собираюсь по твоей милости их терять. Настоящие клиенты! Иностранцы! Они просят комнату на месяц!..

Воцарилась тишина. Затем переговоры возобновились, а когда кулаки хозяйки забарабанили в дверь со всей силой, Лулу в комнате взмолилась:

— Но, мадам Жато, как же немедленно?..

— Я вам и не предлагаю уходить. Я тебе говорю нормальным языком, укройте одеялом и не двигайтесь, пока мы не уйдём. На секунду окинем взглядом комнату и выйдем. Таким образом, вы моей торговле не помешаете, а я... Можете быть спокойны. Со мной тут два старых господина...

— Но, мадам Жато, поверьте, мы не можем...

— Sapristi¹. Я прекрасно знаю почему. Куда вы дели моё новое одеяло? На полу небось валяется? Под кроватью посмотрите хорошенько!

Переговоры затянулись, дверь рядом приоткрылась, выглянули две женщины с серьёзными лицами, а Тиран сказал на ухо мастеру: «Ты такое «отвори нам» видел когда-нибудь?»

Наконец соглашение состоялось. Щеколда отскочила, одновременно девичий голос скомандовал:

— Пока я не скажу, не входите!

¹ Sapristi — чёрт возьми.

Послышался топот босых ног, кровать дважды кашлянула, полотно зашуршало, натянулось, потом донёсшийся издалека, словно из глубины колодца, голос сказал: «Входите».

Два покойника под саваном. Одеяло было не очень широкое и не очень плотное, и под натянутой тканью чётко обозначились два человеческих тела. «...Верхние две кочки — это головы, далее идут плечи, спина, ноги. Девушка, должно быть, справа...»

— ...Смотрите, большое окно расположено очень удобно, солнце бывает в комнате по утрам. Если отдёрнуть штору — просматривается вся улица. Тут и холодная, и горячая вода. И ещё...

Напрасно пыталась хозяйка в комнате обратить внимание мастера и Тирана на удобства большого окна, горячей и холодной воды, успокоительные шторы, оба посетителя взглянули сначала на кровать, потом на стулья. Один из них был занят под женскую одежду, другой — под мужскую. На столе лежали французские газеты, очки и два головных убора. На мужской шляпе золотыми буквами было написано — «Туфли “Рауль”». Взгляд Тирана, скользнув по комнате, наткнулся на нечто весьма интимное, покоящееся на каминной полке, и обратился к мастеру. А взглянув на мастера, Тиран уже невольно обеими руками хлопнул себя по рту, чтобы сдержать надвигающийся взрыв смеха: лицо у мастера было красное, глаза округлены... Несомненно, он собирался сказать что-то очень важное. Вот мастер протянул руку к кровати, открыл рот... Трр!.. Посетители продолжали смотреть на кровать и... это всего лишь треснул чрезмерно натянутый старый пододеяльник.

«Покойники» в кровати встрепенулись. Лулу вскрикнула, «Рауль» пробормотал «merde»¹. Беднягам показалось, что вместе с пододеяльником лопнуло и одеяло, оголив их.

— Ущерб невелик, — раза три прокричала хозяйка и, моментально вытолкнув обоих армян из комнаты, в коридоре залилась лютым неудержимым хохотом. Тиран, хватаясь за живот, сел прямо на лестничную ступень, согнулся, надрываясь от смеха, затем, поднявшись, как пьяный скатился по лестнице, наткнулся в дверях отеля на мастера и тоненькую девушку и вознамерился обнять их обоих. Слезы, обильно застилавшие глаза, мешали ему видеть суровое лицо Тахеса-аги и довольную улыбку девушки — он лишь пытался обнять их.

Когда проливной дождь иссяк, мастер собрался уйти из приютившего их кафе — он был сердит и не мог высидеть на месте. Но Тиран (он был одет по моде), заботясь о своей одежде и зная, что до метро далековато, пожелал остаться. Они продолжали сидеть за пустыми стаканами из-под кофе с молоком, и Тиран продолжал смеяться. Хотя говорили они о вещах несущественных и, значит, о константинопольских ливнях и граде, Тиран, каждый раз встречаясь со взглядом собеседника, фыркал, тщетно стараясь унять смех. Тахес-ага, пытаясь его урезонить, сказал ему, что тот бесстыдник.

— ...Я же в отцы тебе гожусь, а ты, мало того, что повёл меня в это заведение, сейчас, потеряв меру...

Теперь уже совершенно не пытаюсь себя сдерживать, Тиран смеялся, говоря, что мастеру, должно быть, совестно за их бесцеремонное вторжение, но пусть он не ест себя. Он зря их принял за супругов.

— Чтоб они ещё были супруги?! Да как ты смеешь?.. О-о!! — Такого мастер в мыслях допустить не мог. В раздражении, чтобы не ответить обидным словом, готовым сорваться с уст, Тахес-ага стал пробираться к выходу.

В метро внимание Тахеса-аги привлёк чёрный пакет — такой он видел и у Тирана дома. Тиран, возбуждённо пихая его локтем, объяснил ему, что это мастеровой несёт сдавать работу: «...Здесь многие берут заказы на дом, но работы на всех хватает. Так что надейся!»

¹ Merde — дерьмо.

Переведя взгляд с пакета на спину хозяина, Тиран радостно вскрикнул: он узнал Паруйра... Оживлённо болтая, друзья подошли к мастеру, и Паруйр представился. И тогда же было принято важное решение, а именно: Паруйр, отвечая на деловую просьбу друга, предложил немедленно, сейчас же, идти с ним на Белле Жардиньер. Там он их представит знакомому закройщику, и они получают заказ... Да-да, он знает там венгра-закройщика, тот очень благоволит к нему, и если ему сказать, что мастер — хороший работник, то он обязательно даст работу...

— Работы много!

Тахес-ага, ссылаясь на усталость, попытался отложить это посещение, но Паруйр, достав из-за уха замусоленный окурок и швырнув его наземь, сердито возразил, что в Париже всё делается сразу — здесь железо куют, пока оно горячо. «Впрочем... дело ваше, но учтите, сегодня суббота, в следующий раз я смогу с вами пойти только в пятницу, и теперь скажите мне, а я послушаю, что вы будете делать всю неделю? И добавлю — это ваше право. Хотите, сидите без работы...»

Запахавшись, втроём они добрались до Белле Жардиньер. Войдя в это царство благоустроенности, особенно после омерзительных трактиров, Тахес-ага испытал одновременно удивление и восхищение. Бесконечные лестницы, лабиринты коридоров, тупики, горы пакетов, лифты, чинность и поток вежливости. Пока они ждали своей очереди, Тиран рассказал приятелю о происшествии, приключившемся с ними полтора часа назад. Парни много смеялись, подталкивая друг друга и повторяя: «Возможно ли это?» и «Повезло вам, мастер!» В конце концов приятель Тирана решил, что случай этот достоин описания, и решил записать его для «Гавроша». Правда, они с редактором разругались, но уже помирились, он уже сделал для них материал: «...Пойдёт в субботу, обязательно купите номер и прочтите». Тиран же опять сказал, что мастер принял любовников за супругов, и тогда мастер окончательно рассвирепел: он ничего такого не думал...

— Брось, мастер, брось, — сказал Паруйр, — не важно, что ты подумал. Главное, в рассказе это будет очень уместно. Я так и напишу...

Естественно, что Тахес-ага был более снисходителен к Тирану, чем к малознакомому этому парню, который говорил с ним безо всякого почтения. Мастер побледнел, раскрыл было рот, несомненно назревала ссора, но разговор пришлось прервать. Надо было спешить. Их ждал венгр.

Когда дела все утряслись и получилось всё так, как и было ими задумано, и они втроём вышли на улицу, оказалось, что Тахес-ага не может надеть шляпу на голову. Повертев её в руках, он решил, что взял по ошибке чужую шляпу. Если бы так! А тут — это была всё та же его жалкая шляпа, только в помещении, должно быть, он оставил её рядом с обогревателем, и мокрая шляпа усохла и сжалась. Тахес-ага был растерян. Сконфуженный, он стоял посреди улицы, и шляпа так смешно торчала на его макушке, что парни, не сдержавшись, прыснули. Паруйр, с трудом сдерживая смех, взялся за поля шляпы и стал с силой натягивать её на голову мастера, говоря ему, что в Париже не то ещё его ждёт, такое ли ещё падёт здесь ему на голову! А что? Он ведь и не полагал, что в мае месяце здесь будут топить в зданиях, что батареи могут быть тёплыми?! Да-а, это не та страна! Невзначай так подшутить над человеком! Чем больше парни смеялись, тем сильнее сердился Тахес-ага, пытаясь их урезонить. Но, увидев, что они не скоро перестанут, оставил их и зашагал прочь.

В метро оба держались на расстоянии. Тиран стал спиной, чтобы не видеть потешную шляпу, и сжал себе горло, чтобы унять смех. Но и это не помогло — ибо смех разыгрался вовсю. Пассажиры в вагоне, особенно смешливый солдат, догадались о причине его смеха и посматривали то на шляпу Тахеса-аги, то на Тирана. Уже выходя из метро, на лестнице, Тахес-ага швырнул шляпу наземь. Но Тиран тут же подобрал её, зная, что она у мастера единственная.

Дома их давно ждали Алис и её подруга. Девушки обрадовались их приходу, но очень скоро заволновались, увидев, как отец, говоря что-то об отъезде, решительно направился к саквоягам. Попробовали выяснить, что произошло:

— Господи, да скажите хоть слово, — взмолились, они, но, видя, что от отца им ничего не добиться, бросились к Тирану: — Что случилось? В чём дело? Говори, не смущайся...

Тиран осёкся на полуслове. Ничего обидного не было в том, что он сказал, и слова его относились всего лишь к случаю со шляпой, но мастер не мог уже сдержаться — он потерял самообладание. Он стал орать, что другой на месте Тирана девушек бы постеснялся. Если он перестал почитать святыи вещи, не способен более уважать людей, которые по возрасту ему в отцы годятся, то хотя бы присутствие девушек должно было его обуздать. Алис же он сказал, чтобы та не стояла «соляным столбом», а помогла бы собрать вещи, они уезжают. Да, немедленно уезжают. Завтра, пусть хоть ночью, но они должны быть в турецком посольстве. Пусть скажет, где у турка посольство.

— Погоди, погоди, — начал Тиран, — в уме ли ты, мастер? Пстой, скажи, что случилось?

Но так как парень продолжал при этом улыбаться, мастер от злости заскрежетал зубами. Он-то в уме, сказал Тирану мастер, а вот таких умников, как Тиран, он у себя в нагрудном кармане пиджака табором может уместить. Сказал, что должен уехать из этой страны — и уедет! За столько лет никто никогда не посмел отнестись к нему так непочтительно, так осмеять его. Он уважал людей и сам был уважаем всеми: и молочником, и пашой, и хлебопёком, и чиновником...

— А ты куражишься надо мной потому, что я не прежний Тахес-эфенди¹ и жду теперь помощи и стучусь в твою дверь...

Тиран возмутился. Портные заговорили на высоких нотах. Мастер настаивал на своей правоте и добавил, что Тиран из желания посмеяться над ним проводил его в это заведение с сомнительной репутацией.

— Признавайся, ты знаешь французский язык и понял, кто был в комнате. Мог пойти дальше? Мог сказать: ма-астер, э-та ком-на-та не для те-бя. Наконец, почему ты об этом случае рассказал этой ослиной голове, которого считаешь своим другом? И он сейчас собирается писать обо мне в статье. Написать такое о Тахесе! О Тахесе, которого всю жизнь уважали все от мала до велика, все священники, сам патриарх!..

Мастер дрожал. Вмешательство девушек и особенно упорство Тирана сердили его ещё больше, и он с обидой говорил, что шляпа — это достоинство человека. Случилось такое, и ладно, но так надругаться над достоинством человека? Как он смел говорить «отвори нам» перед дверью проститутки?..

Саквояжи были уложены, но Тиран не отпускал их, теперь он и сам рассердился и находил всё это очень несправедливым. Он во всеуслышание заявил, что старался, делал для них всё (ну, всё, что было в его силах) и никак не ожидал такого вознаграждения. Да, получилось всё досадно, но он же не виноват в этом. Да, он смеялся, но и только, да и то против воли. Что ж тут такого?

— У вас голова преет от этих догматических вещей, и это не умно, — заключил он.

Тахес-ага, который, тщетно стараясь унять дрожь в руках, пытался зажечь сигарету, этих слов уже не мог снести. Верно, они с Тираном разные люди, они очень даже разнятся, сказал он, но не умом, а миром, которым мазаны. Да-да, он говорит о такте, о стыдливости душевной, о чувстве вины, о чувстве меры. Любой, доживший до седых волос, всю жизнь следовавший букве и духу праведной морали и в таких правилах воспитавший своих детей, не может жить здесь, в Париже.

¹ Эфенди — уважительное обращение к мужчине на Востоке.

— Французы — они и есть французы. Достаточно сказать — француз, и всё понятно, с лихвой. Это я-то их не знаю? — продолжал он. — Легкомыслие, лицемерие и, главное, развращённость! Такими их весь мир знает, и ты, живя с ними здесь, сам стал таким же...

Он, Тахес-ага, это понял в первый же день пребывания в Париже. Не успев ступить ногой на эту землю, встретил он здесь совершеннейшего олуха, армянина, занимавшегося оформлением документов, который, абсолютно не считаясь с тем, что перед ним, рядом с отцом, стоит молодая девушка, напевал вслух гнуснейшую песню. В отеле хозяин на них орал по поводу света, когда они вынуждены были не спать из-за клопов. Официанты в столовой бросают пищу, словно собаке. Кто хочет, пусть терпит, но не он, не Тахес-ага. Тем более что из-за незнания языка он вынужден молчать и покоряться. Он, Тахес-ага, — человек, и поэтому предпочитает жить в Полисе. Пусть он там голодает, но отречься от себя не собирается. «Я — человек», — повторял он неустанно, потом, вспомнив о записке, достал её из бумажника и стал со злорадством декламировать: «Я — Тахес Палапанян, мсье, прошу вас, проводите меня домой...»

Пока мастер разрывал бумажку на мельчайшие кусочки, Тиран, вздев руки, говорил, что бессилён понять этого человека.

— Да! Да! И ты человек, и я человек, но мы армяне, ар-мя-не!

Поскольку все попытки утихомирить их были напрасны, Алис заплакала. Понимая, как сильно рассержен отец, она стала умолять Тирана не перечить ему, но Тиран не мог совладать с собой. Он свирепо шагал по комнате и, заметив ненароком счётчик, с силой громыхнул кулаком по прибору, заставив его тикать...

Теперь и Астхик тоненьким голосом твердила мастеру, что надо бы успокоиться. Всё, что говорит мастер, справедливо и очень умно, но надо помириться...

— Нет, не умно, — заорал Тахес-ага, — несправедливо! Нет и нет! И сказано едем — значит, едем!

Астхик, увлечшись спором, продолжала настаивать, что всё это логично, но, может, стоит и окружающих пожалеть. Слыхано ли, поднять такую бучу из-за промокшей шляпы и оставить всё, когда, наделав долгов, они с таким трудом добрались до Парижа. Слово «долг» Тахес-ага воспринял как оплеуху. Он кинулся к дочери. Но его поднятый кулак лишь рассёк воздух — между ними оказался Тиран. Задыхаясь и брызгая слюной, мастер кричал Алис, что уж этого он никак не простит ей. Никогда! Он в жизни ни разу не жаловался на людей, незачем всем знать всю их подноготную. Он и её воспитал жить с достоинством. Как же она посмела рассказать чужим, что они, задолжав, приехали сюда, что они лишь под залог достали денег?.. Речь его смешалась, он начал путаться и терять сознание.

Мастера уложили на кровать. Тиран сначала поил его водой, потом, найдя немного водки, влил её мастеру в рот. Девушки расстегнули ему рукава, но он противился, требуя, чтобы все убрались и оставили его одного.

...Углы в мастерской безропотно покорились темноте, не переставая капала вода из крана, временами сбиваясь с налаженного ритма. Тиран уже перетащил саквояжи в отель, где водились клопы, и теперь готовился проводить туда своих земляков.

Алис шла, взяв мастера под руку справа, в тёмном подъезде Тиран попытался взять его за локоть с левой стороны, но Тахес-ага, не ответив на этот порыв, отдёргнул локоть.

— Благодарствую... Мы тебя достаточно побеспокоили. Даст бог, в долгу не останемся.

Мадам Пьюк чутьём связала мрачность портного с неожиданным отъездом его земляков. Она деловито принялась выяснять подробности у Тирана, но без толку, и, потеряв надежду вызнать причину ссоры, заговорила о своих родах — сказала, что на днях должна рожать, что ещё больше пополнила и что имя ребёнка давно известно. Будет мальчик, назовут Камил, а девочка — Камилла.

Тиран был сильно удручён, вспоминая недавние происшествия, он очень переживал и испытывал глубокое смущение; вставал, оставляя шитьё и подолгу кружил по комнате. «Как плохо всё вышло», — думал он, но и повторял себе, что любой на его месте смеялся бы и что смех этот не должен был задевать мастера. Всеми виною, думал он, были эти происшествия, может, и печальные, но и, бесспорно, смешные. И все они так неотвратимо последовали одно за другим, не давая возможности ни опомниться, ни осознать происходящее.

Пребывая в такой неопределённости, портной ждал весточки. А её всё не было. Его особенно мучил вопрос: действительно ли отец и дочь собираются уехать из Парижа или теперь, когда прошло уже два дня, они успокоились? Он очень надеялся, что Алис получит разрешение от отца, а если нет, то тайком придёт повидать его, но девушка не приходила. И Тиран ночью пошёл в отель и там узнал у хозяина, что постояльцы продолжают жить в номере и что об отъезде разговора пока не было.

В последующие дни он уже не мог работать — мысли о происшедшем донимали его. Бурное их объяснение тогда неожиданно прервалось, разговор остался незавершённым, и многое между ними осталось недоговорённым. К тому ж в пылу ссоры они (каждый отстаивая свою правоту) наговорили друг другу и много вздорного. Тиран никак не мог выпутаться из одолевавших его сомнений. Происходящее не только обижало его, но и рождало в нём непривычные чувства. Несколько раз он пережил минуты бурного гнева. Всё в нём тогда восставало против неблагодарного поведения мастера, и он начинал проклинать и пресловутое миро, и законы, и привычные устои Востока. Успокаиваясь же, он всякий раз приходил к выводу, что характер человека — вот где причина всего, и что мастер по своей вине мучается сейчас. Теперь он либо должен уехать, что само по себе уже очень плохо, либо, оставшись и лишившись его поддержки, обречёт себя и дочь на бессмысленные мытарства.

Утром, на третий день после ссоры, Тиран в небывалом волнении поднимался по лестницам отеля. У номера, где жили его земляки, он торопливо поправил галстук, пытаясь унять биение сердца, и постучал в дверь. Отвечая на вопрос Алис, сказал, что это он, Тиран. В комнате зашумели, приглашение входить запаздывало. Потом Алис же изменившимся голосом сказала:

— Сейчас, я переодеваюсь...

Вот ведь как. Тиран пришёл извиниться, готов был, если надо, целовать руку мастеру, а его не пускают. Он подождал в коридоре, потом постоял над лестницей. Оглянувшись на дверь — номерок на ключе продолжал покачиваться, — он нерешительно пошёл к запертой двери и спросил: «Может, мне позже прийти?» Подумал, что опять начнут шептаться, и не очень надеялся на положительный ответ. Алис же сказала:

— Мы придём к тебе.

Прошёл день — они не приходили. Не пришли и на второй день, но Тиран уже не удивился. Он понял невысказанный смысл ответа Алис. И всё же он продолжал ждать со стеснением в груди, чувствуя, как беспокойство его перерастает в ноющую боль, как постепенно он начинает любить и ненавидеть этих людей.

Сумерки, сгущаясь, сероватыми тенями обложили мастерскую. Сидя на стуле, Тиран упорно разглядывал свои руки, которые в недоумении держали бутылку водки. «Зачем я её купил? — говорил он себе и тут же добавлял: — Знал же ещё в пути, что не застану их дома. Догадывался и всё же купил...» Вскоре оцепенение сменилось растерянностью, он вновь ощутил в груди ноющую боль и решил ретироваться. Сел и написал записку своей знакомой, приглашая её завтра к себе домой. Писал он письмо своей подруге, а перед мысленным его взором вставал образ Алис. На следующий день он зря прождал с назначенного времени лишний час — подруга не явилась — и, раздражённый долгим ожида-

нием, ушёл гулять.

В толпе гуляющих на бульваре Клиши он случайно заметил своих земляков. Видел он их впервые после той памятной ссоры и, естественно, не знал, как ему быть. Успел, однако же, отметить про себя, что взбудоражен так, будто увидел любимую девушку. Алис в своём кофейного цвета платье, взяв отца под руку, медленно шла в вечерней толпе. Всё та же жалкая шляпа покрывала голову мастера. Тиран шёл за ними и, глядя на их спины, каблуки туфель, с удивлением констатировал, что впервые подмечает такие подробности в их облике. Их фигуры показались ему одинокими и тоскливыми: мастера к тому же — озлобленной, а девушки — участливой и доброй. Он долго шёл за ними, но, несмотря на большое своё желание, не посмел подойти к ним и пойти рядом. От страха быть замеченным Тиран даже вздрогнул, когда отец и дочь неожиданно свернули и он оказался в опасной близости от них. Желая скрыться, он резко повернулся и грубо столкнулся с двумя прохожими. Эти двое — оба с толстыми усами — были похожи друг на друга как близнецы, и у обоих на шляпах золотыми буквами было написано: «Туфли “Рауль”».

Не боясь теперь встретить своих земляков в отеле, Тиран смело направился в «клоповое заведение», и новость, которую он там узнал, на сей раз его обрадовала. Они спрашивали большую комнату. Они собирались работать.

Знакомая Тирана пришла весьма неожиданно и забросала его шумными приветствиями. «Малыш, — сказала она, — я сразу догадалась, что тебе плохо. Как вы, мужчины, меняетесь, когда на вас наваливается тоска».

Тиран лежал в узкой, как шкаф, спальне, и его очень стесняло присутствие француженки, которую звали Жоржетта и у которой, казалось, нет губ. Её теплота согревала, но Тирану требовалось иное. Чтобы как-то занять её, он начал пересказывать ей содержание знаменитой и глупой картины с участием Греты Гарбо. Он продолжал рассказывать, одеваясь, и уже был одет (она уже спала), когда в дверь постучали. Это был мастер.

Сначала Тиран ничего не понял из огласивших комнату криков мастера, только воинственное его вторжение подсказывало, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Вопросы Тирана Тахес-ага гневно отметал:

— Не прикидывайся... У меня это не пройдёт!.. Нет!

Выяснилось наконец, что мастер ищет свою дочь и уверен, что её скрывает Тиран. Само собой разумеется, Тиран сказал, что он и знать ничего не знает, что Алис он со дня их ухода в глаза не видел. Но отец девушки и слышать его не хотел, он стал поносить его, угрожать, говоря, что дочь его исчезла ещё со вчерашнего дня и все его поиски (в доме у Астхик) были безрезультатны, и, следовательно, он уверен — она прячется у Тирана. Куда же она пойдёт? К кому? Уйдя от отца, она, ясное дело, должна пойти к Тирану, и тот найдёт, где её прятать. Мастер заглянул в спальню, но и присутствие француженки его не убедило. Напротив. Схватив Тирана за ворот, он начал требовать, чтобы тот не молчал, признался, назвал место пребывания Алис, и, не получив ожидаемого ответа, ужасно разозлился, стал выкрикивать ругательства по адресу Тирана, понося его честь, достоинство и идеалы.

Жоржетта и подросшая мадам Пьюк не в состоянии были ни унять их, ни понять, что происходит. Мастер орал, что он знает, как, несмотря на его категорический запрет, Алис приходила сюда каждый день, согласовала всё с Тираном и сбежала. Мастер трясся, крича:

— Я вас прикончу... тебя и Алис, змею...

Тиран насилу вытолкнул его из комнаты.

Тиран работал перед открытым окном, склонив голову и раскрыв рот. Он дышал ртом, потому что ноздри его были заложены ватой, чтобы остановить внезапно начавшееся кровотечение. Причину своего болезненного состояния портной видел в пережитом и в мыс-

лях, которые ни на минуту не покидали его. Болезнетворные, заплесневевшие стены старого двора, нависая с двух сторон, суживались над ним, напоминая воронку, откуда по утрам пробивалось солнце, косыми лучами предваряя своё появление. В узкий этот просвет взметнулись и брёвна, подпиравшие падающую стену.

Тяжело ступая, Тахес-ага под взглядом Тирана пересёк двор и, толкнув дверь, прошёл в комнату. Тиран не поднял головы и не поздоровался, он продолжал шить. Не проронил ни слова и мастер. Пройдя к стулу, он молча переложил с него пакет земляных груш на пол и сел. Вчера вечером комнату распирало от их криков, а сейчас в комнате был слышен доносящийся сверху скребущий шорох кошки и скрип нитки, прошивающей тафту.

Молчание длилось долго. Всё это время мастер продолжал курить — сероватый дым, попетляв по комнате, нашёл наконец путь к окну. Тахес-ага, силясь сделать это как можно дружелюбнее, спросил:

— Хоть сейчас скажешь? Видишь, я не кричу... Я нормально спрашиваю. Где девушка?

Тиран вздрогнул. Вскинув голову и изо всех сил ударив шитьём об стол, он бросился к мастеру. Стал перед ним, широко раскрыв глаза и протянув руки с растопыренными пальцами. Потом медленно сник, постоял ещё и, глубоко вздохнув, вернулся назад к окну.

Спустя некоторое время, когда мастер, не проронивший больше ни слова, собрался уходить, Тиран сухо заметил:

— Положи груши на место, убирать тут за тобой не нанимались.

Мастер не обернулся, но и вышел не сразу — замешкался, как давеча сигаретный дым.

Тахес-ага пришёл и на следующее утро. И снова сел на тот же стул с краешка. На этот раз поздоровался. Был он небрит, неряшлив. Тиран не раз бросал пытливые взгляды в его сторону и, выждав время, спросил:

— Шить будешь?

Мастер хотел работать, но не мог — сваливал всё на неподатливость тафты и на гнилые нитки. В продолжение всего этого времени он не сказал ни слова, только изредка смотрел в глаза Тирану и продолжал молчать. В полдень он не смог пообедать — не показал виду, но еда застревала у него в горле.

— Мастер! — взмолился Тиран. — Могу поклясться чем угодно... Поверь, я не знаю, где Алис. Она у меня не была.

Ответа не последовало так долго, что Тирану пришлось повторить сказанное. И опять мастер продолжал молчать. Потом вдруг заговорил:

— Попросили у хозяина большую комнату. Решили начать работать... Почему же она ушла? Понимаю, был строг... вас обидел, так и вы меня обидели... и всё на этом! Хватит!.. Пусть возвращается. Хватит!

Тиран ответил не сразу. После длительного молчания он неторопливо, как бы рассуждая вслух, сказал:

— Ты всегда был крут со своими и привык, чтобы они подчинялись тебе... Теперь же всё изменилось, года у всех стали не те, а ты этого не хочешь замечать. Кто знает, как ты её обидел? Глупо-то глупо, конечно! Но получается, что она ушла.

Склонившись над шитьём, Тиран грустно думал о том, как неуклюже складываются у него отношения с людьми, которых он почитал за самых близких. Среди множества знакомых, подумалось ему, он никогда не сможет найти ни одного, с которым будет связывать его безоговорочная дружба, полнейшее взаимопонимание и согласие. Не найдёт ни единой души, любовь которой к нему будет полной, а дружба неизменной. И оттого выходит это несовершенство, что люди никогда не бывают схожи до конца. Он с грустью вспомнил, какую радость ощутил, когда, войдя в свою комнату, застал там родичей. Вспомнил родных, покинутый край, родительский дом, забытые голоса... И тогда он особенно остро почувствовал, что для него всё прошлое ныне заключено в мастере. И Алис стала ему роднее. К

ней, как к девушке, он, естественно, испытывал бóльшую любовь. Но чувство неудовлетворённости не покидало его, и причину этого он видел в неуклюжести и непонятливости, которую проявляли его земляки в своём поведении. Однако теперь Тиран ненавидел не эту их непонятливость, а то «правильное», которое проявлялось в нём самом. Ибо теперь он понимал, что если не это «неподатливое» в человеке, то можно легко забыть ближних, любимых, отступить и отречься от них. «Теперь я не обижусь, — говорил он мысленно сам себе, — если мастер несправедливо начнёт ругать меня. Может, это и слабость, но в этом его сила, и я не должен на него за это обижаться».

Утром (а потом ещё раз вечером) Тахес-ага приходит к Тирану. Смотрит он теперь беззлбно. Он ждёт. Садится всегда на один и тот же стул и ждёт. Тиран предложил ему оставить отель, как раньше, и перебраться к нему, чтобы не тратиться попусту, но мастер отказался. Взглянет Тиран незаметно на мастера, и тревожно становится на душе у него — не ждал он такой перемены в нём. Встанет, по делу или так пройдёт мимо сидящего мастера, обернётся и в который раз посмотрит на его поникшую фигуру. Хотел было напомнить ему, что надо бы побриться и сменить почерневший галстук или, по крайней мере, завязать его толком. Попытался сам это сделать, но мастер не стерпел — встал и, не говоря ни слова, пошёл к двери.

— Ладно, будь по-твоему, — сказал Тиран, — я ведь не обижаюсь. Ты только с дочерью будь добрее... время не то...

Тахес-ага сказал, что такой у него характер. Что уж такой он есть и что они, молодые, должны были попытаться это понять...

— Я бы так не сердился, — добавил он, — но вот ты, кто ты такой? Давно ли был ты мальчишкой? Молокосос!

Сын мадам Пьюк, который опять полез на бревно, со скуки заглянул в окно мастерской, намереваясь скорчить рожу, но не решился на это, почувствовав ненадёжность обстановки. Очень уж долго сидели портные понурые, не двигались и ни разу не взглянули в его сторону. Тахес-ага, упорно разглядывавший свои старые туфли, сказал:

— Я попросил хозяина отеля, Тиран, написать мне на бумаге имя моё и адрес. Улицы уже знаю, но стал рассеян... Не потеряться бы...

Он сильно осунулся, питаясь в столовой. Тиран очень уговаривал его оставаться обедать с ним, но мастер наотрез отказался. Зато теперь он приходил регулярно и постепенно втягивался в работу. К нему даже вернулась обычная словоохотливость. Восстанавливалось былое согласие.

Вот и всё. Тревога улеглась. Длилась она девять дней со дня исчезновения Алис. Когда Тиран — на этот самый девятый день — прервав свой рассказ о заводе Рено, начал сурово критиковать поведение Алис, и это потому, что теперь и сам он с трудом переносил её отсутствие, мастер вдруг сказал:

— Получил письмо, — и не смог продолжать дальше, жалея о том, что проговорился. Он продолжал молчать, несмотря на изумление Тирана и посыпавшиеся вопросы, но не выдержал и договорил: — Она сразу же после отъезда послала его, чтобы я не беспокоился... Если на некоторое время расстанемся, всё станет на своё место, написала она. Теперь пишет, что возвращается... Ты пойдёшь к Тирану, пишет, и помирись с ним. И тогда всё начнём сизнова... Послушай меня, постарайся сделать то, что я прошу, пишет она...

Мастер был смущён. Говорил не спеша. Было видно, как осторожно он подбирает слова, тщательно избегая тех мест в письме, которые он не в силах был здесь повторить. Тиран ужасно конфузился. Он даже потянулся к мастеру, пристально глядя на его беззвучно шевелившиеся губы, пытаясь понять то, чего мастер не договаривал. Но, застыдившись, спохватился и откинулся назад. Выложив содержание письма, мастер перевёл дух:

— Эй, парень, а ведь у нас тут, оказывается, есть отличная церковь. Алис была там и очень хвалит... Это не церковь, а свадебная коробка сахара, пишет она. Вот поют только не так хорошо, как у нас в Константинополе. Алис пишет, что с нашим хором здешний не сравнится...

И бывший певчий, не обращая внимания на поддакивания Тирана и, само собой, чтобы доказать превосходство старого константинопольского хора, начал тихо петь. Вибрирующим голосом, на восточный манер покачивая головой, он пел «Господи, помилуй». Голос его постепенно окреп, и он пел, нарушая царящие в мастерской тишину и покой. Не долю свою оплакивал он — это «Господи, помилуй» была слёзная. И ничего не просил он у жизни — это «Господи, помилуй» звучала мольбой. Крупные слёзы стояли в глазах мастера, но это состарившееся горло давало себя знать. Тиран стал подпевать мастеру, но взглянуть на него не решился. Потому что и у Тирана горло пошаливало в этот день.

Сын хозяйки, продолжавший сидеть на бревне, поначалу сдерживался, но когда грянуло: «...Народу армянскому дай спасение», истошно заревел. Сердце ребёнка разрывалось от страха.

АГАСИ АЙВАЗЯН

ТИФЛИС

Жил такой генерал Барсегов. Это был уже готовый генерал. Никто не представлял генерала Барсегова без эполет, без его сдобренного грузинским русским языком. Его прошлое никого не интересовало. И только сам генерал Барсегов по какому-то странному побуждению вздумал искать свои истоки... Конечно, не этим объяснялось всё возрастающее количество портретов Вардана Мамиконяна в комнате генерала. Он и не думал причислять себя к потомкам древнего полководца — слишком много веков их разделяло. Где-то Барсегов предполагал, что он отпрыск того последнего, оставшегося в живых солдата, который бежал с полей сражений Армении, добрался до Тифлиса и основал здесь свой род. Генерал знал, кто остаётся живым в бою. Он ясно представлял своего сбежавшего предка и гордился тем, что среди потомков даже самого последнего труса, последнего уцелевшего солдата сегодня есть и генерал. И со странным упорством генерал пытался проследить путь, пройденный его родом.

Отец Барсегова тоже был офицером, дед — поручиком русской армии в наполеоновскую войну, а прадед — уже просто торговцем... Вот только это и знал генерал и пытался проникнуть глубже... А портреты Вардана Мамиконяна рисовал он по той простой причине, что в нём проснулся художник, по мнению генерала, ещё одна черта, унаследованная им от того, последнего уцелевшего солдата...

Родственники поговаривали, что генерал свихнулся. Он был болезненно озабочен будущим своего рода. «Если опять родится девочка, покончу с собой», — заявил он с блаженной улыбкой, когда жена его забеременела в четвёртый раз. И когда родилась девочка, генерал ступил в кладовую, как вступают в битву, и выйти оттуда побеждённым не захотел. Желал ли он смерти на самом деле или слово генерала представляло для него ценность большую, чем жизнь, трудно определить: фраза была произнесена, и генерала вынесли из кладовой умирающим. Генерал улыбался виноватой, победной и растерянной улыбкой одновременно. На лбу темнела кровавая ссадина, а на медном котле сохся с кровью клочок его волос.

Из кладовой генерал вышел победителем, но умирать не хотел. Наивно улыбался, и все вдруг заметили, что он уже не генерал, а наивный, улыбающийся человек... Так, с улыбкой на лице, умер последний отпрыск трусливого солдата — храбрый генерал Барсегов.

С востока всё шли беженцы, на станции Навтлуги негде было повернуться, тифлисские улицы и площади затопили люди с испуганными, просящими глазами. Их брезгливо сторонились мокалаки¹, их песни были чуждыми, побеждёнными, наречие — грубым, как мешковина.

Манташев открыл бесплатную столовую; гуляки-карачохели и полуголодные представители тифлисской богемы собирали пожертвования; у фабрик Адельханова днём и ночью стояла толпа: работали за миску похлёбки, потом укладывались спать поближе к воротам...

Жена генерала Барсегова умирала: надела свои чихтикопи² и улеглась в постель. Знала, что умирает, и боялась, что не так наденут на неё чихтикопи. Тут же, вдоль стены большой комнаты, стояли дочери — Сиран, Варвара, Като и Машо.

В мае 1918 года сосватали Сиран, старшую дочь генерала Барсегова. Милиционер Во-

¹ Мокалак — горожанин (груз.).

² Чихтикопи — национальный головной убор.

лодя Джабуа уже приметил нужное для себя в едва оправившейся от тифа, остриженной наголо Сиран. Даже на отказ не было сил у Сиран: она раз покачала головой, второй раз покачала, ещё раз покачала и согласилась. С того и изменилась её судьба. Качни она головой ещё раз, может, иначе сложилась бы её жизнь. И привез её милиционер Володя Джабуа на пыльный вокзал Зестафони. А через несколько недель Сиран и представить не могла своего существования без Володи Джабуа, без его рыжеватой большой головы, без его волосатых длинных рук...

В первую же ночь испугался Джабуа силы испытанного наслаждения: казалось, что обнимала не только Сиран, а толпы всех этих оборванных беженцев с влажными глазами, заполнивших улицы Тифлиса. В ту ночь он познал всю историю рода Сиран: слёзы, стоны, рыдания, протест... И Джабуа, испуганный, выскочил из постели: «Мне столько любви не надо!.. На что мне столько!..»

Джабуа умер через несколько месяцев на Батумской дороге. Сиран отправилась туда, выкопала гроб, поцеловала мёртвые руки мужа, его лицо, потом перевезла в Зестафони и снова похоронила.

И стала жить Сиран одна в своём доме на высоких сваях, окружённом полями кукурузы. Но без любви не могла долго прожить Сиран.

У Луки Хахуа были улыбочивые водянистые глаза, и они избегали чужого взгляда. Лука Хахуа ходил на цыпочках, и его боялись люди. Лука Хахуа бежал из меньшевистской армии, потом бежал от большевиков... И те, и другие стреляли друг в друга, Лука ушёл в леса, стрелял и в тех, и в других.

Однажды Сиран вышла за кукурузой и возле своего дома увидела Луку Хахуа. Как побитый пёс, бежал Лука от стрелявших в него людей и теперь, присев на корточки под стеной дома, улыбался Сиран.

Когда Сиран вытирала кровь с его лица, Лука поцеловал её руку. Он был ещё слаб, жалким взглядом следил за движениями Сиран. Спустя несколько дней немного окреп, ходил по комнате, покачивал широкими плечами над тонкой талией, мурлыкал песню. А ещё через несколько дней хозяином в доме стал Лука.

Потом пришли какие-то люди — друзья Луки, два дня пили, пели и увели в лес Луку вместе с Сиран.

Лука посылал Сиран вперёд, и четверо мужчин шли следом за ней. Когда в лесу было тихо и безопасно, Лука иной раз обнимал Сиран, клал руку ей на бедро. А позади поблёскивали глазами Бочо, Муртаз, Бондо.

Они проходили по лесам, по чёртовым канатным мостикам, и мягкая поступь вора и разбойника Луки нагоняла страх на людей.

Четверо мужчин знали, что Сиран достанется первая пуля. Сиран была счастлива, что эти четверо, обвитые патронташами, с их осторожной походкой, следуют за ней и что она предупредит их об опасности. Эта опасность была счастьем для Сиран, распиской в её любви. Порой, оживляясь, она с девичьей лёгкостью убегала вперёд, и неловко бежали следом смешные разбойники Лука, Муртаз, Бондо. Как-то пошутила — замерла на месте, приложила палец к губам: «Тсс-с», — и все четверо словно окаменели. Сиран расхохоталась. Лука вспыхнул и ударил Сиран. А Бочо отошёл, присел за камнем. Обиделась Сиран, рассердилась, потом подумала, и смешным ей показался их страх. Лука подошёл — улыбка в усах, — поцеловал Сиран, и из Сиран хлынуло прощение.

Несколько активистов из соседних сёл, несколько атеистов, несколько ликбезовцев во главе с начальником ЧК Уакинте Габли вскоре поймали смешных бродяг Луку, Бочо, Муртаза, Бондо и вместе с ними Сиран. И стали их водить по всем деревням, показывать, как дрессированных медведей, чтобы другим неповадно было. Шли они гуськом, босые, смеш-

ные разбойники, и ещё теснее прижимались друг к другу на деревенских площадях.

И ушла Сиран, пропал её след в пыльных папках канцелярий провинциальных тюрем...

В доме генерала Барсегова собрался народ решать судьбу второй его дочери — Варвары. Среди собравшихся не было родственников генерала. А был там русский офицер, который давно оставил армию, пил и играл на гитаре, рыночные мошенники с «дезертирки», привокзальные воры Паша и Чорна да торговец углем Шио из Кумиси...

Варвара сидела на тахте, ждала. На столе были расставлены тарелки с портретом генерала Барсегова, ножи и вилки с гербом генерала Барсегова.

Георгий посмотрел на полную грудь Варвары, на её бёдра, обрисованные длинной юбкой, и во рту у него пересохло. Георгий рассказал о соблазнах Парижа, о судьбе георгиджановских¹ девиц, о венерических болезнях, потом сжал руки и сказал:

— Отправим Варвару к отцу Павле.

Варвару усадили в экипаж, разместились вокруг неё и поехали наверх, к монастырю.

Удержать Варвару в монастыре было нелегко: в деревне стояли военные. До неё доносились голоса, дух солдатской бани, и тело её готово было взорваться. Слышалось ржанье коней, обрывки солдатской ругани... И однажды, обезумев, бесстыдно сбросила она свою власяницу, наперекор всем причастиям, судорожно отдала своё горячее белое тело грубому поручику. С тех пор Варвару не видели.

Третью дочь генерала Барсегова, Като, похитили трое кинто, увезли в фээтоне под звуки шарманки. Похитили или сама убежала, бог знает.

Тифлис умирал: только в подвальных кабачках ещё оставались люди в традиционной тифлисской одежде. Некоторые сохранили только шаровары, другие — тифлисский жаргон, а третьи — только шапки...

Не стало Тифлиса... На площадях произносили речи и даже шарманки настроили на «Марсельезу».

Като привезли в «Белый духан». Като ни до чего дела не было. Кинто Гриша в постели, в горячем бреду рассказывал об исчезающем Тифлисе, об их тифлисском рыцарском роде, а Като целовала его грудь и чувствовала, что всё вечно и что здесь начало всего и всего конец. Гриша плакал, стонал, облил вином всю постель и вернулся в Тифлис, чтобы упокоиться в Ходживанке², рядом со своими дедами...

Като, в горе и отчаянии, нашёл, утешил и, как щенка, подобрал, увёз в Батум шулер-полуфранцуз с юркими глазами.

И пропал зов Като в тревожном гуле английских, турецких, французских рыбацких судов, исчез в мире её голос, который хотел любить и громче всего мог кричать только об этом.

В 1955 году прошёл в Тбилиси сильный дождь. После дождя ещё капала с крыш вода, струилась, отыскивая себе путь, продалбливала отверстия в земле и просачивалась в них. По булыжникам Харпуха, по дворам церквей Сурб Геворга, Сиона, синагоги, по кривым и узким переулкам стекала в Куру вода.

— Барсегова-а! — кричит какой-то косоглазый, небритый человек.

Старая Машо, младшая дочь генерала Барсегова, облокотившись о подоконник, греется на солнце после дождя. На лице её отсвет солнечных бликов. Время от времени Машо пощипывает пучок волос, родинкой темнеющей на щеке.

— Письмо для Машо!..

— Ва-а, смотри-ка, она ещё и письма получает, — шутит Бего.

¹ Публичное заведение в старом Тифлисе.

² Ходживанк — армянское кладбище в Тифлисе

— Да кто же ей, бедняжке, письма слать будет?.. Никогда в жизни не любила... Одна-единёшенька на белом свете... Сёстры её — те и свою, и её долю отлюбили...

Машо и сама удивилась, что выкрикивают её фамилию. Вышла во двор, взяла письмо, повертела в пальцах. Подошли еврей Ефим и две прачки, рассмотрели письмо и принялись читать:

«Прими пламенный привет моего молодого сердца, дорогая и незабываемая бабушка, моя единственная и родная бабушка! Наконец-то отыскал тебя и теперь могу считать, что я тоже человек, никто теперь не скажет, что я без роду, без племени... Я внук дочери генерала Барсегова — Сиран. Моё имя — Гено, фамилия — Чкадуа. Я очень долго искал свою родину. Отец умер давно. Не думайте, что я совсем один. Вся Мингрелия меня знает. Но родственники — дело другое. Я только недавно узнал, что я внук генерала Барсегова. Мы снова соберёмся вместе, весь род генерала Барсегова. Не огорчайся, дорогая бабушка, но судьба не гладила меня по головке. Только не подумай, что я помощи прошу. Я нахожусь в Ортачалинской тюрьме. Месяц назад привезли из Диди Чкони. Четырнадцатого мая будут судить. Если за меня кто поручится, то освободят как несовершеннолетнего. Твой внук — Гено Чкадуа».

Косоглазый доставил это письмо из тюрьмы. После каждой строчки он кивал головой. Машо повела его в дом, налила рюмку водки, достала немного засоленного зелёного перца и тарелку наперченной фасоли.

Машо подумала: «Кто такой, почему Чкадуа, почему в тюрьме?.. — потом подумала: — Мир велик, кто знает?.. Сколько отцов сменилось. Если у милиционера Володи была дочь, а та вышла замуж за кого-то... Что тут удивительного?..»

И Машо захлопотала. Внук Сиран, её кровь. У неё самой ничего не было — ни любви, ни детей, сычовка, да и только...

Четырнадцатого мая Машо вместе с Ефимом и Бего отправились в суд. Только они открыли дверь в зал, услышали смех. В зале было весело. Выступал защитник.

Длинный рыжеватый парень, сидевший впереди, повернул голову, безошибочно признал Машо, подмигнул и улыбнулся. «Этот», — подумала Машо. Парень широким жестом пригласил сесть рядом с собой.

«Ничего, я у ж тут как-нибудь...» — замахала рукой Машо.

«Здесь лучше», — жестами, мимикой настаивал парень.

Машо снова успокоила его, мол, ничего, она тут, позади устроится. На сей раз Гено Чкадуа — он был просто удивительно вежлив! — умоляюще сложил руки, вновь и вновь приглашая сесть рядом с собой. Машо уступила, вместе с Бего и Ефимом подошла и увидела, что учтивый внук Машо сидит на скамье подсудимых.

Весёлый это был суд. Выступал судья. Он говорил очень весело, ярко и остроумно. В пылу воодушевления не заметил, как стал подходить всё ближе и наконец уселся на скамью подсудимых. Потом дали слово обвиняемому, какому-то взяточнику. Этот тоже не уступал судье — и стали они разговаривать друг с другом: спрашивали, отвечали, спрашивали, отвечали.

Когда все очень устали, и всё кончилось, и были очень довольны и судья, и подсудимый, настала очередь Гено Чкадуа. Дело было простое: кража мелкая, сам он несовершеннолетний, поручителей трое: Ефим, Бего и Машо, — и отдали Гено под опеку Машо.

Через несколько месяцев явился на свет божий ещё один внук генерала Барсегова. Соседка Машо, знахарка Ева, всё думала-гадала да и отыскала в одной из больниц Армении внука генерала Барсегова — Аветика. Аветик узрел Христа, и его поместили в больницу. Аветик был хорошим мальчиком, пионером, а потом комсомольцем и даже членом колхозной футбольной команды. Но однажды ночью отворилась дверь, и в комнату вошёл Христос, и с того дня плохи стали Аветиковы дела. Больничный врач, и сам человек не про-

стой, рассердился. «Как выглядел Христос, расскажи!» — потребовал он. Аветик описал знакомого Христа, того, что изображён на многочисленных картинах.

Районный врач вконец разозлился, потом улыбнулся: «Вот если бы ты увидел другого Христа, такого, чтобы ты один его знал, я бы тебе поверил».

Машо отправилась за Аветиком.

В безлюдном конце тифлисского вокзала Гено Чкадуа поджидал второго внука генерала Барсегова. Разглядывая женские коленки и зады, и не очень-то раздумывал о том, как этот чокнутый умудрился увидеть Христа.

С востока подошёл к перрону старый дребезжащий состав. Остановился, застонал, заскрежетал. Гено побежал вдоль состава и вдруг в дверях одного из последних вагонов увидел сгорбленную Машо. Гено двинулся к ней и застыл с растерянной улыбкой. Следом за Машо выходил какой-то бородатый мужчина с удивлёнными глазами. Машо оглянулась на него и стала с трудом спускаться по вагонной лесенке. Стара уже была, подкашивались ноги. Кондуктор поддержал её за руку. Машо коснулась ногами земли, подол юбки зацепился за ступеньку, стали видны её увядшие, старческие бёдра. Не успела спуститься, торопливо повернулась к бородатому и протянула руки, словно принимая в объятия малого ребёнка.

Гено Чкадуа подошёл, улыбнулся Аветику.

И двинулись по перрону Машо и два внука генерала Барсегова.

Чтобы покрыть увеличившиеся расходы, Машо посоветовали торговать семечками и научили, как это делать. Машо ходила на рынок — «дезертирку», покупала у крестьян семена подсолнуха, приносила домой, прокаливала их, потом выставяла в небольшом мешочке у ворот и продавала по стаканчику.

В Чугурети улочки кривые и такие извилистые, запутанные, что даже солнце плутает там долго-долго. Чтобы выбраться на большую улицу, люди карабкались наверх, потом спускались и всё мимо тифлиских дворов. Тифлисский двор не строили, тифлисский двор выдумали фокусники, потом щедрые карачохели обмазали его чихиртмой и бугламой¹, полили вином и обмели пучком душистой травы — тархуна... Тифлисский двор, как старая мысль, тих и спокоен: на балконах — ковры, посреди двора — водопроводный кран... Дворы будто народились один от другого: большие и маленькие — все одного племени, все на один образец... Ещё живут в их старинных комнатах разговоры, которым по сто лет, слова о верности и чести, сказанные тысячу лет назад, стоны, грёзы и предсмертный вздох, шелест поцелуев... беседы с богом, святые и грешные желания, тихий, сдавленный плач... По вечерам выходят эти звуки, кружат по двору, умываются водой из крана, и во дворе раздаются шёпоты и шорохи, и двор оживает снова...

Перед тифлиским двором усаживается Машо в чёрном платье, на лице поросшая волосками тёмная родинка, и торгует калёными семечками...

Он вошёл неожиданно — дверь была приоткрыта.

— Здравствуйте, — сказал он и улыбнулся.

Ему было лет сорок пять, волосы начёсаны на лоб, а из коротких рукавов рубашки свисали худые белые руки.

— Здравствуйте, — повторил он. — Ко мне никто не приходит. К другим приходят друзья, девушки... А ко мне никто не приходят. Не знаю почему. Наверное, некрасивый я...

При последних словах Гено фыркнул. Смешно прозвучало это «наверное». Некрасивость его была очевидной и к тому же не совсем обычной — она вызывала смех. Бывают люди уродливые, но сильные, они могут не нравиться, но внушают почтение, а то и страх...

¹ Чихиртма, буглама — распространённые армянские блюда.

Этот же, напротив, был смешон.

— Прими-ка гостя, сынок... — сказала Машо. — Садитесь.

Аветик уступил свой стул. Человек сел, не зная, куда девать свои длинные тонкие руки: то засовывал их в карманы, то клал на стол, потом, лишний раз убедившись в их худобе, складывал на коленях — казалось, будто он запутался в собственных руках.

— Вы доводите... генералу Барсегову... — наконец обратился он к Машо и умолк. Смотрел на сгорбленную Машо, на её седые волосы и не решался назвать её дочерью.

— Дочерью, — подсказала Машо.

Человек улыбнулся, покраснел, обрадовался, потом уронил на стол голову, сплёл над ней корзинкой тонкие руки, и вскоре послышались всхлипывания. Они помолчали, подождали, но рыдания не прекращались. Гено попытался его утешить.

— Ко мне никто не приходит... Я всё жду, жду, но никто не приходит... Ко всем приходят, а ко мне нет.

Аветик попробовал расцепить его руки, но не сумел.

— Успокойтесь...

Все растерянно переглядывались.

Человек перестал всхлипать, ещё долго молчал под сплетёнными руками, потом наконец развязал этот узел и посмотрел вокруг припухшими глазами.

— Ко мне никто не приходит... — и хотел снова опустить голову, но Гено поспешно схватил его за руку.

— Я внук генерала Барсегова, — растерянно выговорил человек.

Внуки генерала Барсегова переглянулись.

Машо подошла, долго смотрела на него, потом спросила:

— Чей ты?

— Не знаю.

— Кто ты?

— Кривицкий... Юзеф...

— Варварин... — сказала Машо и обняла тонкорукого внука генерала Барсегова.

В старенький самовар снова налили воды, подбавили угля и уселись слушать историю Юзефа Кривицкого.

Так у Машо собралось восемь человек. Один даже с греческой фамилией — Граматикопуло, — кто он был и откуда, никто не знал. Весёлый был парень, даже слишком весёлый.

Машо была довольна и счастлива. Забот стало больше: ходила на рынок, стирала, сидела со своим мешочком у ворот и думала о внуках генерала.

В Тбилиси есть три вокзала.

И если кто-нибудь увидит на вокзале бездомного человека, тут же посоветует ему пойти к дочери генерала Барсегова.

— Она добрая, — скажет, — приютит тебя... И потом, кто знает, может, ты её внук?..

Затем, посерьёзнев, и сам поверит:

— Нет, ты и в самом деле её внук... По всему видать...

И если у человека глаза несчастные и немного странные, внутренний голос подсказывает: «Внук не внук, но поскольку человек, какая-нибудь связь с генералом да есть... Нет, определённо есть...»

Машо во всех прохожих вглядывается с сомнением. Сколько людей, подобно её внукам, затерялись, пропали вдали... И родным становится для Машо каждый человек.

Если кто-нибудь подойдёт и шутки ради скажет: «Я внук генерала Барсегова», — Машо поверит, поверит не потому, что не поймёт насмешки, а потому, что человек этот и сам не знает, что он внук генерала... Или имеет к нему какое-то отношение... А в этом Машо глубоко убеждена.

ЦЕНА ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Аветис Япунджян был сыном Киркора Япунджяна, грузчика константинопольского порта, сына грузчика Япунджи.

Трагические события 1915 года начались именно с грузчиков константинопольского порта, ставших словно тем волоском, на котором опытный брадобрей испытывает остроту только отточенного лезвия. И, надо сказать, лезвие полоснуло умело — долго ещё море выбрасывало на берег растерзанные в клочья паланы¹ грузчиков, и трудно было определить, который из них принадлежит отцу, Япунджи, который сыну, Киркору.

Аветису удалось укрыть свою сестрёнку в камерке старого лаза, и теперь на жалкие свои сбережения он содержал и нищенствующего лаза, и больную, парализованную на обе ноги сестру.

Переждав некоторое время, Аветис взвалил на плечи сестру и, подталкивая вперёд лаза, прикрываясь им как щитом, тёмной безлунной ночью покинул город.

Шли они берегом Чёрного моря, на восток. Лаз остался в Ерегли, а брат и сестра Япунджяны побрели дальше, по направлению к Кавказу — медленно, таясь от людей, с трудом добывая хлеб.

Спина Аветиса покрылась ранами, болел позвоночник, и боль непрестанно напоминала о том, как дорога ему ноша, как любит он свою сестрёнку Гаран, самую незащищённую из всех Япунджи. Боль словно была пророческой, предвидящей дальние дали, противостоящей им. Боль давала силы и волю, рождала упорство, напрягала мышцы, заставляя делать шаг за шагом.

Аветис не представлял, как сложится дальше их судьба, что ждёт их, но не заглядывал в будущее, упорно и целеустремлённо шёл вперёд. Это лишь оставалось Аветису, это было его величайшей целью.

Трудно приходилось и Гаран — ныли парализованные ноги, грудь, живот, тяготило и смущало то, что она стала тяжкой ношей для брата. Только песнями могла облегчить его участь — ласковыми, безысходными песнями. Склонялась к уху Аветиса и тихо пела ему про море, про горы, про небо... Никто не слышал этих песен, принадлежали они только им — им двоим и всему белому свету. И ещё Гаран нашёптывала: «Братец, милый братец, ты заменил мне и мать, и отца... Добрый Аветис, бедный Аветис, храбрый, несчастный Аветис...»

Шёпот сестры криком отзывался в ушах Аветиса, отчаянным криком, вырывался, взлетал к горам и возвращался назад, метался в поисках брода и, не найдя его, возвращался назад, достигал конца их пути и возвращался назад... И казалось Аветису, что шёпот сестры белым саваном стелется по миру, один конец савана закрывает истерзанные паланы Япунджянов, другой — солнце, заходящее на горизонте...

Люди, встречавшие их в пути, видели не просто путника, несущего на спине больную сестру, а несчастных скитальцев, олицетворяющих собой горькую судьбу человека. И каждый повстречавшийся в пути вбирал в глубину своего сердца, в память свою какую-то частичку их боли, страданий, их беды...

В феврале 1916 года Аветис добрался до Батума. В далёком и долгом пути, в безмолвии гор Аветиса словно сопровождало его второе «я», его подобие — многократно увеличенное бесплотное и незримое, но имеющее сердце и душу. Аветис мог разговаривать с ним, обижаться на него, смотреть на себя его взглядом, жалеть себя его сердцем... Рядом было нечто большое, значительное. И зыбкие сумерки, и мрачные, непроглядные ночи, и рассвет внимали Аветису, разделяли его печаль, сопереживали ему, и он мог доверить им своё

¹ Палан — подушка на спине грузчика, облегчающая перенос груза.

огромное горе, тревогу за Гаран, поведать об отце и дяде, об истерзанных паланах, сиротливо плывущих по волнам Мраморного моря. А здесь, в Батуме, людей было много, и они заполнили всё вокруг, но Аветиса окружало безмолвие. Не знал он их языка, не смотрел им в глаза, не мог ни довериться, ни обмануться, ни даже обидеться на них. Многие, нередко и армяне, бросали вслед ему, как оскорбление, презрительное «гахтакан».

Такой же, как они, гыхтакан, такой же беженец по имени Степан дал им приют под лестницей двухэтажного дома господина Земмеля. Сам Степан жил по соседству, в подвале, а под лестницей хранил свои веники и вёдра. Степан бежал раньше Аветиса, и жизнь его уже несколько наладилась — вместо платы за жильё он подметал по утрам двор господина Земмеля, а днём работал на заводе Манташева.

Аветис тоже нанялся на завод Манташева — грузить бочки. А вечерами, взвалив на плечи Гаран, он бродил по берегу моря, выбирая для прогулок укромные, безлюдные места.

Гаран прибирала в каморке под лестницей, стряпала и ждала Аветиса с работы, ждала, чтобы заглянуть брату в глаза, вытереть пот со лба, полить ему на руки воды...

Каждая добытая копейка казалась Аветису тысячей, ибо приносила ему радость, давала жизнь, дыхание, залечивала раны на спине.

В мае 1916 года рабочие Манташева восстали, вышли на улицы, и город охватили суматоха, паника. Аветис ничего не понимал в происходящем. Пришли солдаты, открыли стрельбу по рабочим. Рабочие стали швырять в них камни, раздалось даже несколько ответных выстрелов. Было убито шесть рабочих и два солдата. Многих рабочих арестовали. Вместе с другим схватили Аветиса и так поспешно затолкали в вагон с зарешёченными окнами, что он даже не успел спросить — «за что?..». Он и в самом деле не знал за собой вины — не бунтовал, не протестовал, был благодарен и Манташеву, и солдатам, и двадцати пяти копейкам, добываемым тяжким трудом... Как-то раз он сказал об этом в вагоне, но никто не понял, не посочувствовал ему, арестанты даже презирали его.

«Не видели они, как плывут по морю клочья паланов», — думал Аветис, и спина его тосковала по тяжести манташевских бочек, по тяжести своей драгоценной ноши — Гаран. Как справится она с этой новой бедой, как прокормит себя?.. Одна-одинёшенька, хрупкая, беспомощная, беззащитная Гаран...

В марте 1917 года Аветис возвратился в Батум. Под лестницей, служившей и крышей и потолком, нашёл свою Гаран. Аветис смотрел на неё и ничего не понимал — увиденное казалось нереальным. Да, это была его сестричка, его Гаран, и в то же время это была иная, чужая Гаран, с младенцем на руках... Аветис уже знал, что жизнь таит в себе много таинств и неожиданностей, является людям в разных обличьях — он понял это в Константинополе, на берегу моря, понял и сразу стал старше своих лет, и Земля тоже дрогнула, постарела на несколько лет... И то, что видел сейчас Аветис, увеличило возраст Земли, и сам он за несколько секунд стал ещё старше...

Сердце его сжала тоска по прежней Гаран, по обаянному отсветом кровавой резни дорогам, которыми шёл он, неся сестру на плечах, слушая песни, нашёптываемые ею. Сердце сжала тоска по отчуждённому дому — неприглядной хибарке в районе Беры. Такую же тоску испытал Аветис, глядя на паланы, плывущие по Мраморному морю в те уже далёкие, трагические дни. И подумалось Аветису, что пройдёт время, и он испытает тоску и по этим вот мгновениям, явившим ему ещё одно таинство, ещё одно обличье жизни — Гаран, кормящую белоснежной грудью младенца.

У Аветиса и в мыслях не мелькало, что сестра может когда-нибудь родить ребёнка.

Гаран благодарно посмотрела на брата:

— Это моя дочка. Моя кровинка...

Она потянулась к Аветису, и ему почудилось, что сестра сейчас встанет на крепкие здо-

ровые ноги, но Гаран подползла к нему, волоча ноги по земляному полу. Нет, ничего не изменилось, и мир не дрогнул, не перевернулся... Слёзы комком встали в горле. Порывисто наклонившись, Аветис обнял сестру.

— Это моя дочь, — повторила Гаран, глядя на Аветиса влажными глазами, — она похожа на нашу маму, на тебя...

И не сказала ни слова о том, как свершилось это чудо.

Припав головой к лестнице, ставшей им кровом, всю ночь нашёптывала она ребёнку песни, и Аветису вновь вспоминалась та долгая дорога... В шёпоте Гаран были скорбь и слёзы, в шёпоте была душеспасительная мольба, но, адресованная вечности, она спотыкалась о ступеньки лестницы и затухала, слившись с отзвуком шагов запоздалого жильца.

Лишь несколько дней спустя узнал Аветис о том, что Степана насмерть придавил пресс на заводе, и некому было помочь Гаран, она добывала себе пропитание тем, что мыла и протирала лестницу до самого верха. А потом её полюбил юный гимназист...

— Он мне ноги целовал, — сказала Гаран, словно оправдываясь.

Аветис немного успокоился, хоть и подумал, что, наверное, очень уж голоден был этот гимназист. И пожалел сестру за её наивность: «Поистине святая у меня сестра! В каморке под лестницей, под грохот чужих шагов произвела на свет ребёнка... Поистине святая! Пройдя через столько дорог и страданий, беспомощная, прикованная к земле, свершила она главное назначение женщины — произвела на свет человека. Дала жизнь ещё одному армянину, ещё одному Япунджи. Сестра моя свершила больше, чем я...»

Аветис работал теперь носильщиком — таскал в батумский порт чемоданы, баулы, тюки. Офицеры и чиновники, дипломаты и купцы, сбежавшиеся в Батум из разных концов страны, спешили на пароходы и тащили с собой картины, статуи, лошадей... Шёл 1920 год. В России началась эмиграция. Аветис без усталости гнул спину, и в ладонь ему совали самые разные деньги — русские «керенки», грузинские «боны», дашнакские «чахараки», случалось, даже турецкие золотые.

— Эй, муша! — кричали Аветису и взваливали груз ему на плечи.

— Эй, гахтакан! — кричали с верхних этажей и стучали каблуком по ступеньке.

В стремительном водовороте событий Аветис, Гаран и маленькая Лусик были не нужными никому жалкими «гахтаканами», не знающими французского, не знающими русского, грузинского, ни даже нормального (то есть тифлисского) армянского языка, были песчинками, которые можно не заметить, растоптать...

В один из дней Аветис, взвалив на плечи Гаран и маленькую Лусик, поднялся по трапу на пароход «Хризантема». Одни говорили, что пароход этот направляется в Румынию, другие — что к Босфорскому заливу, а «Хризантема» бросила якорь в одесском порту.

Одесские дворы очень походили на батумские, и Япунджяны вновь нашли приют под лестницей. Вместо «муши» или «жалкого гахтакана» Аветиса окликали сейчас как собаку — свистом или причмокиванием, и он спешил на оклик, и на спину ему взваливали что попало: как-то раз привелось перенести на пароход даже огромного сенбернара.

Иногда на пристани люди сталкивали друг друга в воду, но с собой брали сиамских котов и обезьяноподобных собак...

Вновь оказались под ногами беженцы — Аветис, Гаран и Лусик. Чистые полы никому не были нужны, и по ночам стреляли в лестницы. Добровольное беженство в России уже началось — оно бушевало, буйствовало. Уже беженец, уже подхваченный вихрем, Аветис вновь попал в общее течение. Он взвалил на спину Гаран и маленькую Лусик и взошёл на пароход «Континенталь».

Палуба была забита людьми. Япунджянам достался самый маленький, самый неудобный уголок, открытый всем ветрам. Аветис заслонял от ветра, прижимал к себе Гаран, сжимавшую в объятьях малышку. Над ними была бесконечность, под ними бурлящая пучина,

вокруг безбрежный синий простор. Ни стен, ни колонн — лишь ребёнок поддерживал небо над головой Гаран и Аветиса.

Корабль входил в Босфор. Первым это почувствовал Аветис — далёкая влажная грусть легонько коснулась его лица. Брат и сестра молчали, глаза их полны были слёз. На какой-то миг малышка оторвалась от груди, посмотрела на мать. Кто знает, что передавалось ей с материнским молоком. Тоска? Протест? Или молчаливая покорность судьбе? И не было уже знакомого берега отчего дома, близких сердцу мест. Глазами гахтаканов, глазами отверженных смотрели они с палубы на этот всеобщий, но для них отторгнутый мир.

Долгие годы Аветис скитался по городам и дорогам Европы, мечтая где-нибудь осесть, избавиться от бродяжнической жизни. Наконец обосновались в Марселе. Гаран — на прибрежном кладбище, он с Лусик в деревянной хижине на окраине города. На лестницу своего дома Аветис ступал осторожно, словно боясь потревожить прошлое, притаившееся под ней. Но разве только под лестницей жило его прошлое? Аветис наконец-то осел, обосновался на одном месте, но внутренне он шёл и шёл дорогой скитальца и в конце этой дороги ждал его бесплотный покой с прозрачными кисейными занавесками, за которыми была нескончаемая чужбина. Прошлое пропитано слезами, потом, смертоносным дыханием резни, будущее виделось бессмысленным одиночеством. И с удивлением осознал вдруг Аветис, что боль и страдания, горькая участь беженца заменили ему счастье, смысл жизни. Так проявилось внимание мира, отношение мира к Аветису, к его судьбе. И понял он, что скоро избавится от страданий, удалится из этой жизни, этого мира...

Аветис так и не обучился французскому. Люси не говорила по-армянски, Аветис — по-французски...

В 1945 году Аветис готовился покинуть этот мир, и ничего у него не было, нечего было взять с собой. Волосы вылезли, остались на дорогах Анатолии, зубы в топке корабля «Франциск Асизский», левое лёгкое высохло на мюнхенском химическом заводе, позвоночник был повреждён на одной из тулонских строек. Износился Аветис, весь до конца. Нечего было ему взять с собой в тот мир, и ничего не оставлял он здесь, кроме дочки Гаран, Люси — миловидной, светлицей, так не похожей на всех остальных Япунджянов.

Где бы ни был Аветис, он всегда спешил домой, к Люси спешил, словно на встречу со всеми Япунджянами. Люси была связующей нитью, она и обрывала эту нить, и начиналась непостижимая уму беспредельность, где не было брода назад, не было памяти поколений. Люси, как стена, поднялась между прошлым и настоящим — по ту сторону оставались все Япунджяны, по эту начиналось новое существование. Так кончаются старые ценности и начинаются новые.

На всё был готов Аветис ради Люси, всем своим существом служил ей. И результатом его самоотречения, его забот, усилий, отчаяния, нежности была эта девушка, уверенно шагающая на стройных, здоровых ногах. Обыкновенная гражданка Франции, обыкновенный человек на земле. Через какие только муки, через какие бури не прошёл Аветис, пожертвовал собой ради того, чтобы жила на свете ещё одна обыкновенная девушка. Да разве только он? А Гаран? А все Япунджяны? И кто знает, как далеко тянутся корни обыкновенного человека?

А Люси была благодарна только Аветису и не заглядывала дальше. Впрочем, это и не было нужно. Ей суждено было пройти свою жизнь, отмеченную своими взлётами и падениями.

В день бракосочетания Люси Аветису стало совсем худо. Земля тянула его к себе, звала к себе бедного грузчика-гахтакана.

Люси и её жених, Люсьен Хризоскано, пришли к Аветису — единственному родственнику Люси. Поцеловали его, получили благословение на жёстком и непонятном армянском языке.

Всё было хорошо, благопристойно, соответствовало обычаям этой страны. Но Аветису казалось, что он предаёт прошлое. Это было бредом, бессмыслицей, и всё-таки грусть щемила ему сердце.

Только одна просьба была у Аветиса Япунджяна к Люси Хризоскано, но и её высказал он робко, застенчиво. Сказал: «Люси-джан, девочка моя родная, об одном только прошу тебя. Родятся у тебя дети, знаю, будут они французами. И дети твоих детей могут быть немцами, болгарами... Не будут они помнить нас, не будут знать наш язык... Я не жалею, таков, видать, закон жизни... Но об одном прошу тебя, объясни им, внуши им, чтобы, если встретят армянина на дорогах жизни, каким бы плохим, каким бы недостойным он ни был (люди ведь разными бывают), пусть будут к нему милостивы, будут к нему добры, помогут всем, что будет в их силах... Считай, что делаешь это для меня... Вот всё, о чём я тебя прошу...»

— Bien¹, — сказала Люси Хризоскано.

И умер Аветис, отдал душу легко и спокойно.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ДОМЕ СТАРОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Поздним вечером на одной из старинных улиц Еревана Гевонд, покачиваясь, говорил своему другу Амо:

— Есть такое слово... Единственное важное... Я его хочу сказать... За свою жизнь я много болтал, но пока ничего путного не сказал... Меня это злит... выходит, зря я прожил столько лет... Всё остальное ложь, и одно только слово — оно всё поставит на свои места, всё сделает понятным.

— Ну, говори, — спокойно сказал Амо.

— Скажу, но мне тебя мало... С тобой я и так много говорил. Ты не поймёшь.

— Гевонд!

Гевонд хотел сказать, почему Амо не поймёт, но прикинул в уме, что объяснять придётся долго, махнул рукой и избрал лёгкий путь — рассердился:

— Не поймёшь, и всё тут!

Он сказал это, доверившись своей любви к Амо. Но это могло ведь стать началом ссоры, если бы Амо не был Амо и не знал Гевонда и вообще эту черту армянского характера, когда величайшее выражение близости — искренность переходит в грубость, и от сильной любви, веры и доверия грубят друг другу эти наши армяне! Он тоже грубит своему самому любимому человеку. Иногда самому любимому существу, богу, даже самому себе.

— Мне кто-нибудь нужен, чтобы слушал, и вино, — требовал Гевонд.

— Откуда в полночь найти для тебя слушателей? Рестораны закрыты, да и мы крепко выпили... Завтра скажешь своё слово...

— Завтра? — испугался Гевонд. — Значит, ты ничего не понял. Я же не просто говорить хочу, я хочу сказать слово... Ведь вся жизнь наша — это одно слово...

— Ладно, успокойся... — сказал Амо и стал думать, где достать вина, но ничего не придумал.

— Ну-ка, стукни меня разок, — выгнув грудь, сказал Гевонд. — Услышишь, какой звук издаст моя сущность.

Вдруг в ушах у Амо раздался звонок разносчика керосина, и он вспомнил:

— Есть у меня старик родственник, интеллигент... Вино у него — настоящее миро, сам

¹ Bien — ладно (фр.).

делает... Если застанем дома, значит, повезло.

— Вино? Чудесно! — произнёс Гевонд. — Да ещё хозяин — старый интеллигент!

Амо забыл, где находится дом, а улица была тёмная, ворота — в полутьме. Он подошёл к двери, поднялся на цыпочки, стараясь прочесть фамилию.

— Вроде эта.

— Что там написано? — спросил Гевонд.

— Букв не разберу, но дощечку вижу. Если есть дощечка, значит, эта самая.

Амо нашёл кнопку звонка, нажал.

Рядом с дверью открылось окошечко и показалась голова старика, потом она быстро исчезла, окно столь же поспешно захлопнулось, открылась дверь, и Амо с Гевондом вошли во двор.

В дверях старик внимательно оглядел их и спросил:

— Кто из вас больной?

Гевонд оглянулся, посмотрел на дверь и на Амо: нет, то действительно был Амо, они вместе вошли сюда, и старик, наверное, был родственником ему, потому что Амо смотрел на него таким взглядом, который говорил, что старик по меньшей мере его приятель.

— Амо, а ты не ошибся? — спросил Гевонд. — Это — твой родственник?

Амо улыбнулся. Почти девяностолетний интеллигент переводил взгляд с Гевонда на Амо.

— Когда вы виделись в последний раз? — спросил Гевонд.

— Шестнадцать лет назад, — ответил Амо, продолжая улыбаться.

Глаза у Амо были полузакрыты, и Гевонд подумал, что для этого побелённого сединами старика вспомнить кого-нибудь через шестнадцать лет и в самом деле нелегко.

— Лицо мне очень подходит, — сказал Гевонд, приблизив нос к носу старика: — Разве непременно нужно быть больным, чтобы прийти к такому чудесному человеку, как ты? — сказал Гевонд и, крепко сжав голову старика, поцеловал в лоб.

— Я пришёл к тебе поговорить, остальное пустяки...

— Мартин Христофорович, — произнёс наконец Амо, — это я, Амо!..

Старик ещё более недоумённо взглянул на них, потом сменил очки:

— Да-да, у тебя были вьющиеся волосы, — произнёс старик, впав в воспоминания, и на его лице заиграла улыбка, но потом он снова ушёл в себя. Старый старомодный интеллигент и не думал всё уточнять: какая разница, к чему? Всё в этой жизни идёт своим чередом...

Старик словно не был живым существом... Может быть, неживой была лишь внешняя оболочка, несколько слоёв, как возрастные слои у деревьев. Но внутри существа было подвижное, живое ядро. И старик казался нереальным, его просто не было, и для него не существовало ни Гевонда, ни Амо. Подвижное, живое ядро было запрятано очень глубоко, далеко от глаз, оно было вне повседневных желаний. Внешняя безжизненность старика и его внутренняя живость нарушали привычные представления. Его сердцевина казалась продолжением очень древней жизни, которая не может никогда прерваться, а жалкое и одряхлевшее тело, со скрипом противоборствуя внутренней жизни, должно исчезнуть, а жизнь останется, будет существовать без тела...

— Да-да, — растерянно произнёс старый интеллигент и посмотрел на Амо. — Что я должен делать?

— Ничего... — сказал Гевонд. — Садись, я посмотрю на твоё почтенное лицо, умный и бледный лоб и скажу тебе одно слово... Сейчас ты для меня всё человечество, ты — Моисей, Адам, Ной... Сейчас скажу тебе одну вещь...

В эту минуту музыкальный звонок на двери заиграл: «Тинь-тинь-дрень...», и слово Гевонда осталось невысказанным. Врач забеспокоился, тревожно осмотрелся по сторонам и деловито проследовал в соседнюю комнату, повторяя: «Одну минуту, одну минуту».

Амо и Гевонд устроились за большим столом, Гевонд во главе стола, Амо — в углу. Гевонд мучился нетерпением, а Амо взглядом искал в шкафу широко известные вина дядюшки.

— Ну, как мой родственник? — спросил Амо.

— Подходяще, — ответил Гевонд.

Наконец вошёл, вытирая руки, хозяин.

— Мартин Христофорович, дядя Мартин, ну-ка вынь из тайника свои бессмертные вина... Я очень хвалил вина твоего приготовления... — сказал Амо.

— Вино?.. Да-да, минутку... сейчас, — произнёс старик и не сдвинулся с места.

Гевонд и Амо переглянулись.

— Вино ерунда... Я его сейчас принесу, — сказал Гевонд. — Главное — выпить за здоровье, тост сказать, понять друг друга.

Гевонд подошёл к старому доктору и, крепко ухватив его за подбородок, стал целовать в бороду. Глаза у Гевонда увлажнились.

— Боже мой, это же просто удивительно — человек! Был когда-то ребёнком, а теперь — смотри, у него белая борода... Она — как знамя мира.

Гевонд снова поцеловал старика в бороду, вытер ладонью глаза и губы и двинулся было к Амо, чтобы и его поцеловать.

— Что за чудо у тебя дядя, Амо-джан, — приговаривал Гевонд, — я непременно скажу своё слово... Потом пусть умру... После этого слова и смерти нет... Ведь смерти вообще нет.

Снова протренькал звонок, и старик указательными пальцами обеих рук высвободил свою бороду из кулака Гевонда и засеменил в прихожую.

— Сейчас приду, сейчас, — бросил он на ходу. — Это больной, клиент...

Снова Амо и Гевонд остались у пустого стола. Амо посмотрел на выстроившиеся в шкафу бутылки.

— Это лекарства, — забормотал Амо, — но есть у него и хорошее вино, — добавил он с надеждой.

С минуту Гевонд молчал, потом не выдержал и крикнул в сторону двери:

— Иди сюда, дорогой, у тебя же лицо святого!

— Погоди, он больного принимает, — сказал Амо, — не бросать же его.

Гевонд нетерпеливо ёрзал, пока доктор снова не вошёл. Подойдя к столу и вспомнив, он пробормотал:

— Да, вино, — и снова исчез в соседней комнате. Вскоре он принёс какой-то странный стеклянный сосуд.

— Это что, вино? — испугался Амо.

— Конечно, вино, — сказал доктор и, вытерев пыль, поставил сосуд на стол. Винный сосуд оказался мензуркой. Цветом вино было тёмное, густое и мутное...

— Ничего, — виновато взглянув на Гевонда, сказал Амо, — посуда пустяки, было бы вино хорошее.

Гевонд с трудом откупорил бумажную пробку, наполнил стаканы и каким-то просветлённым взглядом посмотрел на старика, собираясь заговорить, но тут опять прозвенел музыкальный звонок, и старик поспешно встал.

— Вы пейте, я сейчас приду, — сказал он и закрыл за собой дверь.

Гевонд уже начинал сердиться и часто поворачивался в сторону двери. Старик задерживался.

— Что он лечит, почему к нему ходят по ночам? — устав от ожидания, спросил Гевонд.

— Нет, — поспешно ответил Амо каким-то своим мыслям и покосился на мензурку.

— Стаканы похожи на посуду для анализов... Может, он в них делает анализы?

Амо усмехнулся и подумал, что стаканы не для анализов, а чтобы ставить на спину как

банки.

Опять появился старик и сел рядом с Гевондом. Гевонд улыбнулся, поднял стакан, и в это время «дзинь-треньк-треньк» — снова заиграл звонок.

Старик торопливо поднялся и, извинившись, направился к двери.

Гевонд тяжело опустил стакан на стол:

— Выпей, — сказал Амо в утешение.

— Я слово хочу сказать.

— Что же поделаешь, работа, частная практика, — примирительно сказал Амо.

— Сколько он берёт? — уже достаточно протрезвев, спросил Гевонд.

— Десятку, наверное.

— Разве человеческое слово не стоит десяти рублей? — спросил с горечью Гевонд. — Куда ты меня привёл? Всё можно найти, только ума, весёлого ума не встретишь!

Амо успел взглядом прощупать старые французские обои, столетней давности фотографии, глазами забежал по мебели в стиле рококо и барокко.

Старик всё не появлялся. Это было уже слишком, и Гевонд не вытерпел, сказал в сторону двери:

— Послушай, отец, старший брат, родственник Амо! Я к тебе пришёл... Иди же сюда, садись... Хочу поглядеть на твоё лицо, тост произнести.

— Не услышит, — показав на ухо, сказал Амо.

Гевонд уже встал было с места, когда, вытирая руки, снова вошёл доктор.

— Садись! — приказал Гевонд. — Сядь же напротив меня!

Старик попытался улыбнуться и сел с другого края длинного стола — напротив Гевонда.

А тот добился своего, торжественно встал, поднял над головой стакан и открыл рот... но сейчас же, словно это вылетело из его рта, послышалось: «дзинь... тинг... танг...»

Содрогнувшись, Гевонд подошёл к старику и положил руку на его плечо.

— Нет, ты никуда не пойдёшь... Плюнь на десятку. Знаешь, какие интересные вещи есть на белом свете? — Он не смог вслух уточнить, что именно, только махнул в отчаянии рукой.

Снова звякнул музыкальный звонок. Гевонд крепко удерживал старика за плечо. Старик беспокойно задвигался, пытаясь встать, и почти смог поднять свой зад, несмотря на тяжёлую руку Гевонда. Гевонд, осознав, что создаётся какое-то неопределённое положение — полустоячее, полусидячее, полувнимательное, на третьем треньканье пошёл в приёмную и вскоре вернулся с каким-то удивлённым типом.

— Садись, — сказал Гевонд, и удивлённый человек сел рядом с доктором. Над губами у пациента свисал большой, круглый и красный нос.

— Садись, дорогой, ты болен? Что с тобой — нос беспокоит — такой большой, красный и блестит? Что делается, а? Только важен не нос, а человек...

— Лукинариа кутас, — словно оправдываясь, сказал удивлённый человек по-латыни, показывая на свой нос.

— Я хочу сказать слово... — произнёс Гевонд.

Удивлённый человек посмотрел на доктора, Амо и Гевонда. Гевонд поднял стакан, не зная, какими же словами выразить своё трескучее, как мороз, струящееся, как жара, сжавшееся, как страх, ленивое, как мир, и спешащее, как мир, состояние. В его слове должен быть крик новорождённого, таинство смерти, мудрость сострадания, муки от сознания своих ошибок и тревоги за своё будущее и прошлое.

Слово как будто опустилось на корточки, стало мягким-мягким, и состояние Гевонда не изливалось в словах. Он жестом показал: «Сейчас, сейчас», и вместо взрыва мыслей, которого ждал от себя, снова услышал звонок. Гевонд напрягся и увидел, как старик встаёт с места.

— Снова десятка?

— Это же больной... — сказал старик.

— Зови его сюда, — сказал Гевонд и, пройдя в приёмную, вернулся, таща за руку человека с повязанным ухом. Тот стеснялся, упирался, но Гевонд всё же привёл его, усадил рядом с врачом и красноносым.

Доктор хотел что-то спросить у нового пациента, но Гевонд показал жестом, что хочет говорить, и все замерли, обратились во внимание.

И снова всё повторилось. Едва Гевонд начинал говорить, тренькал звонок в дверь старого интеллигента и появлялся новый больной. А Амо, улыбаясь, считал десятки.

Через час за столом, кроме Амо и доктора, сидело шестеро. У одного, как вы знаете, был красный нос. Большой такой, обыкновенный нос, он стал уже необычным со своим латинским названием. У второго было повязано ухо, у третьего, пожилого меланхолика, тоже был повреждён нос, но он у него был просто повязан, и надо было иметь очень независимый характер, чтобы днём с запятым носом выйти на улицу. У четвёртого был перевязан весь подбородок и рта не было видно. У пятого шея в гипсе, а шестой просто не мог ни на что сесть, он так и остался стоять с рукой на чьём-то плече, как на групповом снимке. И пока семеро молча и очень серьёзно сидели и выжидательно смотрели на Гевонда, он уже вполне протрезвел. От долгого ожидания его вдохновение испарилось и собственный мозг представлялся ему не в виде двух полушарий, а в виде спокойной, гладкой поверхности... Гевонд посмотрел на лица со смешными повязками, на покорные взгляды и не знал, что сказать.

Люди, смотревшие на него, были забавно серьёзными, наивными, они находились в необычной ситуации. Один всё моргал глазом, наверное, из-за боли в ухе, другой с трудом сдерживал желание почесать нос.

Гевонд долго смотрел на них и спросил буднично и мягко:

— Очень болит?

Потом он устало опустил на стул, положил голову на локти и точно сквозь пелену увидел, как движутся люди... Вскоре пелена рассеялась и ему стали видны сосуды, мензурки, круглые стаканы, колба с вином...

Ночь кончалась, унося с собой тёплую, полную загадок страстную атмосферу, в которой раскаляется мозг, пробуждая воображение, волнуя вечные инстинкты... Наступал белый холодный рассвет.

АБИГ АВАКЯН

КОГДА В ЖАРУ СМЕЮТСЯ

Ассирийца Джорджа, владельца маленького ресторана, убили жители Лора. Это случилось летом 1943 года. Я работал тогда в компании по строительству дорог, довольно пёстрой по составу. Здесь, в деревне под названием Танге-Малави, можно было встретить человека какой угодно национальности и веры. В годы войны весь юг Ирана напоминал Аляску 1800-х годов. Компания официально разрешила Джорджу открыть в этой запретной военной зоне частный ресторан. Дневную выручку Джордж уносил и прятал под камень на склоне горы. Бандиты выследили и убили его у тайника. Выстрелов не было. Его прикончили ножом.

Похоронили мы этого человека. Послали телеграмму в Тегеран. Приехали двое — женщина и маленькая девочка, — продали целую гору пустых бутылок, долго спорили о ящиках и бочках. Спор этот оборвался сам по себе: надвигалась полуденная жара.

— Будьте вы прокляты! — погрозила женщина кулаком в нашу сторону. — Это вы угробили моего мужа!

Нам трудно было сказать этой женщине: «Твоего мужа угробили не мы. Зачем он приехал на юг? Зачем прятал деньги под камень, а не посылал домой? Если ты жена, зачем позволила ему приехать? И, наконец, почему ты не идёшь взглянуть на его могилу?» В эту проклятую жару ничего такого не скажешь.

Они уехали, хлопнув на прощание дверцей автомобиля, оставив только застрявший в ушах пронзительный крик: «Это вы угробили моего мужа!..»

Потом всё это кончилось, и спустя несколько дней заявился Барегам Сукиасян из Адана.

Я и мой шеф, голландский инженер Ив Крестенсен, вместе с нашим помощником, турком Камилем, сидели у закрытого ресторана в тени олеандровых кустов.

Барегам появился, неизвестно чему смеясь, осмотрел со всех сторон ресторан покойного Джорджа, потёр руки и пробормотал:

— Ну ладно, я открою...

Он не обращал на нас никакого внимания.

— Так не пойдёт, земляк, — сказал я, — ты сперва подойди, познакомимся. Тебе бы следовало явиться с правом и ещё кое с чем...

— Я и явился кое с чем, — смеясь, сказал Барегам. — Пожалуйста, познакомимся. Имя моё Барегам Сукиасян, а отца моего звали кузнец Мкртич, в Адане я родился, в 1887 году. Открою ресторан, но не стану класть деньги под камень, а буду копить их, потом сожгу и уйду, ясно?

«Видно, чокнутый», — подумал я.

Перевёл Иву, и ему этот человек понравился. Ну да он и сам был чокнутый, странный этот человек, эмигрант, первоклассный инженер и первоклассный пьяница.

— Разрешить ему! — распорядился он. — Не можем же мы, чёрт подери, сидеть в этой преисподней и без конца смотреть на закрытую дверь.

— Всё в порядке, земляк, — сказал я, — приступай к делу.

— Я завтра вернусь, — сказал Барегам, — поеду в Андимешк, заберу своё добро.

На следующий день, только мы кончили работу, он приехал на «студебекере». Запылённый водитель вылез из кабины, кисло поглядел на лорцев, пристроившихся кто где на берегу ручья, и сказал:

— Ну чего вы тут расселись, олухи, берите вещи!

Лорцы стали выгружать добро Барегамы: столы, стулья, большущие, тяжеленные ящи-

ки. Водителя мы угостили тёплой кока-колой, он отхлебнул немного, посмотрел по сторонам и сплюнул.

— Скверно, — сказал он, состроив гримасу. — Как вы здесь живёте, и что этот человек всё смеется?

Барегам и правда часто смеялся к месту и не к месту, беспричинным смехом. Когда он выстроил на полках бутылки и надел неглаженный белый фартук, встал за стойку, посмотрел на нас и, смеясь, спросил:

— Чего желаете?

— Виски, — сказал я и повторил нашу новую шутку: — И ещё кое-чего...

Я люблю своих соотечественников, будь они плохие или хорошие, умные или чокнутые. Я радовался, видя, как хорошо идут у Барегам дела. Водители грузовых машин не могли не заглянуть на часок-другой в этот единственный на весь наш участок дороги ресторан.

Барегам не прятал деньги под камень, он клал их в ящик стойки, и когда я говорил ему, что надо быть осторожнее, что тут страна бандитов, человека зарезать легче, чем курицу, — он вытаскивал из заднего кармана шестизарядный револьвер старого образца с деревянной рукоятью.

Я подарил ему хорошее охотничье ружьё и штук тридцать-сорок патронов, и наша дружба стала ещё крепче. Барегам как смеялся к месту и не к месту, так и к месту и не к месту говорил, что в один прекрасный день сожжёт своё добро. Когда я спросил его, почему он так ненавидит своё добро, он рассказал:

— Я, знаете ли, человек конченный, пропащий, самый что ни на есть конченный и пропащий.

Он говорил медленно, ровным голосом, будто сам с собой. На меня не смотрел, смотрел куда-то в неизвестность, кто знает, может быть, туда, откуда брали начало его воспоминания.

— Единственное, что у меня было, молодой человек, — это моя мать... Дела отца, кузнеца Мкртича, расстроились, и он с горя умер... Да, продал я кузницу, оставил Адан и отправился на поиски работы, и вот как раз в это время на нас набросились эти собаки... И когда я вернулся в Адан, весь наш дом был в огне, — они начали поджог со стога сена, что стоял на крыше, потом пламя перекинулось вниз и уже пожирало наши комнаты... Дом сгорел, и соседи мне сказали: «Сын кузнеца Мкртича, Барегам, мать твоя жива, она убежала, когда пришла беда, иди ищи её, найди...»

Барегам, сын кузнеца Мкртича, вытер лицо краем фартука и продолжал:

— Шесть тысяч лет бродил я по свету — искал мать, потом дороги привели меня в эти места. Здесь я узнал, что мать моя жива и что она в Полисе... Эх, руки мои были коротки — я не мог помочь ей. Я нашёл работу — на пивоваренном заводе с утра до ночи таскал бочки, копил деньги. Всё копил и копил их, пока не пришла весть, что Шармах Сукиасян не стало...

Барегам в сердцах выдвинул ящики, большими своими руками вытащил кучу разноцветных кредиток, смял их, грохнул кулаками по стойке и закричал мне в лицо:

— На чёрта мне они, когда я один на свете, понимаешь, один, как сова!

Он смотрел на меня удивительно злыми глазами, словно не кто иной, как я был причиной его трагедии.

Потом он успокоился, сунул смятые бумажки обратно в ящик, со стуком задвинул его, закурил он, облокотившись о стойку, снова устремил взгляд вдаль — наверно, туда, где брали начало его воспоминания.

— Если бы эти деньги были у меня тогда, я бы поехал, добрался до Полиса, хоть ещё раз в жизни увидел бы мать, даже, возможно, спас бы её.

Он залпом выпил стакан джина, вытер рукавом усы и, засмеявшись, сказал:

— Или сам сложил бы голову.

Истории моего земляка в какой-то мере недоставало логики. На земле все смертны — так уж устроен мир, но зачем должны гибнуть и живые вслед за мёртвыми?

Когда я высказал это Барегаму, он засмеялся и, качая головой, сказал:

— Э, молод ты, ничего не понимаешь...

Я не стал ему возражать, но смех его был для меня загадкой. Человек с такой ужасной судьбой, думал я, если не плачет — пусть не плачет, но смеяться он не имеет права, это неестественно, однако, может, он и впрямь чокнутый?

Барегам был тучным человеком, с большим носом, обвисшими грустными усами; когда он смеялся, его живот под белым неглаженным фартуком трясся.

Я рассказал ему о Серобе из Лима, который неожиданно попал в наши места и вскоре ушёл, чтобы исчезнуть в пустыне. Рассказал о Манукянце Григоре из Вана, что держит сейчас ресторан в Дезфуле, о красноармейце Гургене Ованнисяне, которого суровая рука войны забросила из его родного Лори сюда, в эту глушь, и который потом погиб под Керчью...

Барегам выслушал все эти печальные истории и рассмеялся, и я убедился, что у него и вправду не все дома.

Наш помощник, турок Камиль, тоже был аданец, и судьба привела его сюда, чтобы здесь погубить. Пошёл он взрывать какую-то скалу, а проклятый шнур, что к динамиту подводится, взял да и обманул его, притворился, будто бы погас, и когда бедняга приблизился к скале, динамит взорвался...

— Он твоим земляком был, — сказал я Барегаму, — пусть кое-как, но жил, дети у него в Адане, наверно, и жена есть, но далеко они, приехать не могут...

Барегам махнул рукой и сказал:

— Ну ладно, найдите что от него осталось и похороните, жалко его, за похороны я заплачу.

На этот раз засмеялся я.

— Нет, Барегам, ты уж лучше сожги свои деньги.

И в один прекрасный день он таки сжёг и свои деньги, и свой ресторан.

Сидя в моей комнате, мы беседовали с Ивом Крестенсенем об этом сотворённом богом мире, когда вдруг вбежал наш работник Голам-Реза:

— Ресторан Барегамы горит!..

То, что предстало нашим глазам, было ужасно: всё Барегамово добро горело и рушилось, а сам он сидел поодаль, у стола, в тени олеандровых кустов и как ни в чём не бывало курил: перед ним стояла бутылка джина.

— Что ты наделал, земляк? — закричал я, испытывая и боль и негодование, и потряс его за плечи.

— Ничего, — ответил странный этот человек, — вылил бидон бензина на деньги и на разное там барахло и поджёг.

Он засмеялся, я с удивлением посмотрел ему в лицо; это был уже не смех, а что-то вроде мычания.

Надвигалась полуденная жара. Она надвигалась медленно и неотвратимо. Пришла, стала возле ресторана, посмотрела на оступевших от виски и от неё самой людей и спросила: «Что вы здесь собрались и не идёте в тень?»

— А начали со стога сена, что на крыше был, собаки... — едва пробормотал Барегам, уже оглушённый джином.

Голландский инженер Ив Крестенсен вышел из оцепенения и заорал:

— Я не позволю устраивать здесь пожары, чёрт подери! В конце концов в проклятой этой дыре я хозяин!

Но у Крестенсена такие вспышки гнева обычно гасли быстро.

А я смотрел на дотлевающие угли, и мне хотелось закричать: «Серобы, Григоры, Баре-

гамы, ну что вы делаете, зачем вы всё время кочуете, самые хорошие на свете люди?.. Что случилось — прошло, успокойтесь же наконец, живите там, где живёте, пока не вернёмся в родные наши края...»

Полуденная жара держалась в стороне от угасавших головешек.

Голландец Ив, наш работник Голам-Реза и сбежавшиеся местные жители смотрели, как догорает ресторан и как в этой невероятной жаре Барегам прихлёбывает джин и не то смеётся, не то мычит.

И когда всё кончилось, он поднялся с места, швырнул пустую бутылку в дымящиеся угли, вывернул наизнанку карманы, засмеялся и вышел на дорогу.

Мы не пытались его удержать, никто на свете не мог бы этого сделать, мы стояли и смотрели вслед. Он шёл по горячей от солнца пыльной белой дороге, сильно покачиваясь, с вывернутыми наизнанку карманами, которые издали походили на заячьи уши. Почему-то мне казалось, что, дойдя до поворота дороги, он оглянется. Но он не оглянулся, потому что позади ничего не оставил.

Ив устало опустился на тот стул, на котором совсем недавно сидел Барегам. Он закурил трубку и проворчал:

— Вы, армяне, удивительный народ, чёрт возьми! Чтобы вас понять, нужно, наверное, десять тысяч лет прожить.

И, немного помолчав, тихо как сквозь сон, прибавил:

— Может, за это я вас и люблю...

Возвращаясь к себе, я думал: «Сознательно ли мой земляк не дорожит ничем, даже собственной жизнью, и неостановимо бредёт куда-то по бесконечным дорогам этого огромного мира, или всё это он делает безотчётно — как лунатик?..»

ПОСЛЕДНИЙ

Ушли все, остались я и наш молчаливый слуга Голам-Реза. Я вижу его со спины: скрестив руки на груди, он стоит в углу и не отводит глаз от моей тени, скользящей по стенам этой удивительной комнаты.

Рядом со мной — мужчина в очках, с острым выступающим кадыком. Нужда выгнала его из дому и забросила в эту далёкую южную пустыню.

Я приехал на юг не ради заработка, а он — только ради заработка, и несоответствие это разительное и жестокое, настолько разительное и настолько жестокое, что поневоле проникаешься ненавистью к себе.

Я пробыл здесь три года и несколько месяцев, теперь, когда я сдаю дела этому жалкому, забитому человеку и наконец уеду, меня почему-то одолевает грусть, грусть старого сторожа, глубокой осенью с тоской глядящего на опустевшие скамейки парка...

Ну всё. Мне хочется сдать этому человеку и «особо важные» бумаги, и грусть, одолеваящую меня, сесть в машину и поскорее добраться до Тегерана.

Три года и несколько месяцев читал я эти «секретные» и «особо важные» документы. Сначала я упорно старался вникнуть в их смысл. Вот, например: «Водитель (имя, фамилия) грузовой военной автомашины № 559. Проверить документы, автобиографию, взгляды», или: «№ 682 прикрепить к № 480, крайне необходимо сообщить в штаб», или «Эшелон № 10, направлявшийся на север, подвергся ограблению, № 8822, водитель — негр (имя, фамилия)».

С головой погрузившись в эти секретные цифры, я никак не мог разобраться в них и ждал прихода своего начальника.

И голландец Ив Крестенсен пришёл с флягой виски в руках.

Южное лето только-только начиналось, и, глядя на вянущие листья деревьев, можно было предугадать неминуемое наступление жары.

— Мосье Крестенсен, я никак не могу разобраться в этих бумагах, — обратился я к Иву.
— Не можете ли мне?

— А вы думаете, молодой человек, я могу в них разобраться?

Он отхлёбывал виски прямо из фляги. Я смотрел на него и ждал, что вот сейчас он начнёт проповедовать свою очень мудрую философию.

— На юге никто ничего не понимает, — сказал он, — все живут самообманом...

Потом он вдруг рассердился:

— А этот толстобрюхий американец Снелгров, наш так называемый начальник, врёт, что едет в Тегеран по какому-то «очень важному» делу. Какие ещё там важные дела? Он едет к персиянкам. Ну что тут скажешь... у человека есть родина и в кармане прекрасный девятизарядный пистолет, а я первоклассный инженер и первоклассный пьяница, и ни родины у меня, ни кола, ни двора...

А потом лето распалилось, и мне никак не удавалось выпутаться из этой душной паутины: всякий раз что-нибудь, подобно верблюжьей колючке в пустыне, цеплялось за меня и не отпускало.

Я всё сдал этому жалкому худому человеку. Провожая меня, слуга Голам-Реза плакал.

— Саиб, — говорил он, — увидимся ли ещё когда-нибудь?..

На всём семисотдевяностопятикилометровом пути я думал: «Увидимся ли ещё когда-нибудь, Голам-Реза?»

И вот наконец я дома. И откуда только ребята узнали о моём приезде? Пришли, набились в дом, а мне так хочется остаться с мамой, вобрать в себя всю тоску, всю опустошённость, что поселилась в углах комнат и коридоров и осела даже на ресницы нашего серого кота. Сестра угощает нас кофе и домашним ликёром.

Я спросил:

— Ребята, а Жале вы встречаете, как там она?..

— В нашем доме никто не имеет права произносить имя этой девки. Мы христиане, и каждый должен знать своё место, да... — раздражённо сказала мама.

Среди моих друзей два мусульманина, которые могли бы обидеться, но они понимающе улыбнулись.

— Айкануш-ханум права, — сказал Ушанг, — каждый человек должен знать своё место.

Асраби подошёл ко мне и пробормотал:

— Никому твоя Жале не нужна... Подумаешь, дочь Аджи-аги. Да плевать на его деньги и поместья! Путается твоя Жале на глазах у всех с кем попало.

Мама краешком уха прислушивается к нашему разговору и одобрительно вставляет:

— Да-да, вот именно...

«...Мы встретились в ресторане «Шахредари». Тогда я носил форму военного лётчика. Оркестранты пошли в буфет пить. В зале остались только пианист и саксофонист. Была поздняя осень. Вечерний ветер облепил багровыми листьями стёкла крытой веранды. Потом полил дождь, и листья один за другим отлипали от стёкол. Француз Бодие, отложив саксофон, принялся рассказывать о звёздах, о тропинках и вечерних тенях. Тут как раз ко мне и подошла Жале, подошла и сказала: «Господин офицер, потанцуем?» Я обернулся и был поражён, увидев её глаза — зелёные, бархатные и так правильно посаженные на лице, что даже радужные огни со сцены не могли изменить их цвета. В этот вечер мы долго танцевали. Потом...»

Всё это проносится в моей голове, но я не делюсь воспоминаниями с друзьями.

— А сейчас, — говорит Ушанг, — давайте тихонько улизнём из дому и махнём в «Кафе — Парс», знаешь, какие там девушки: Дейзи — её недавно привезли из Парижа, Сюзан,

Тереза, Люси, суданка Мейрие, её танец живота кого угодно сведёт с ума, а ты прицепился к дочке Аджи-аги, и что ты в ней нашёл, только и знает, что хлещет вино и липнет ко всем, да так, что нет от неё никакого избавления.

На ходу что-то сочинив, мы вышли из дому.

На освещённой яркими переливающимися огнями сцене танцевали и пели — Дейзи, которую недавно привезли из Парижа, Сюзан, Тереза, Люси. Потом появилась суданка Мейрие и исполнила танец живота. Это действительно было потрясающее зрелище. И тут я вспомнил Григора Манукянца, вспомнил, как он безмолвно тосковал по Вану.

— Да, — начал я свой рассказ, — на юге я случайно попал в ресторан своего земляка Григора Манукянца, тихого, неразговорчивого человека. Так вот, он осушал целые кувшины вина и всегда с тоской вспоминал о своей родине, о Ване...

Ребята затеяли спор. Этот полуармянин-полуфранцуз Лоран пытался доказать, что ноги Дейзи, которую недавно привезли из Парижа, непропорциональны туловищу.

А Геворг Тадеосян, которого все называли Джорджем, спорил с ним.

— Лоран, — говорил он, — ты уже на людей да и вообще на весь белый свет смотришь сквозь бутылку, вот тебе и мерещится всякое.

«...Сероб из Лима пришёл, как скользящая тень, как вода, просачивающаяся из только что пробившегося ключа, которому мелкие камешки прокладывают узенькие тропки...»

— Там громоздилась жуткая гора, ребята, — продолжал я, — местные жители прозвали её Куэ мар — Гора змей, а прямо за ней начиналась пустыня, раскалённая, пылающая пустыня, и нигде не было видно оазиса. И Сероб из Лима ушёл в эту пустыню...

— А почему он ушёл в эту пустыню?

Бессмысленнее и глупее вопроса Ушанга не придумаешь. И в это время как раз очень кстати на сцене погас свет.

В углах кафе вспыхнули светильники. Всматриваясь в зал, я постепенно осознавал, где нахожусь: разукрашенные стены ещё могли бы ввести меня в заблуждение, но старый-престарый фикус в проходе, ведущем в буфет, настойчиво напоминал о былом.

Мои сумасбродные друзья, рассеявшиеся вокруг стола, — славные ребята; я очень благодарен им за то, что они существуют, за то, что три года и несколько месяцев я часто вспоминал их, и если сейчас я вдруг скажу, что встречался с ними три тысячи лет назад, они, вероятно, в недоумении переглянутся, покачают головами и решат про себя: «Наш друг, видать, совсем рехнулся, да-а, жаль беднягу...»

Только я собрался рассказать ребятам, почему Сероб из Лима ушёл в пустыню, как сзади меня обхватили две руки.

— А земля-то, оказывается, круглая. — Я почувствовал на затылке тёплое дыхание, — хочешь ты того или нет, а пути человеческие скрещиваются.

Откуда же она узнала о моём приезде, эта худенькая маленькая девочка, с маленькими зелёными глазами, маленькими косичками, маленькой прядью на лбу, маленькими ручками, которые были созданы непонятно для чего, — то ли чтобы прижимать их к груди, то ли чтобы простирать их к переливающимся огням рампы, ко всем пустыням, ко всем водоворотам и бурям мира?

Это была Жале. Ребята сразу помрачнели. Я вспомнил маму: «В нашем доме никто не имеет права произносить имя этой девки».

Ушанг принёс стул, но она отказалась и, сев рядом со мной, ногой отпихнула предложенный стул.

Никогда ещё в жизни она не отпихивала стул ногой, никогда ещё так не накрашивалась. Для неё весь мир был сжат в тугий клубок, который медленно, очень медленно разматывался у какого-нибудь перекрёстка, под какой-нибудь липой на петляющей улице далёкого-далёкого квартала или у извилистого ручейка...

Это было три тысячи лет назад. Она носила школьную форму и удирала с уроков. «Давай убежим куда-нибудь», — без устали повторяя, просила она, прибежав, запыхавшись, на свидание. Я пошёл бы с ней, если бы знал куда, если бы знал, где надо остановиться. Но этого не знала и она. После скованности, которую она ощущала в стенах дома, её уход был бы прыжком, внезапным прыжком, в котором надо было либо погибнуть, либо вернуться усталым и сломленным. Мы не встретились с ней ни на перекрёстке, ни под липами, ни у извилистого ручейка.

Я поехал на юг. Там было жарко, боже мой, как же там было жарко; во время ленча я вдруг вспоминал тень от липы, школьную форму Жале, перекрёстки, которые всегда путал... И вот теперь Жале сидит рядом, размалёванная, под покрашенными тяжёлыми ресницами то и дело вспыхивает до боли знакомый зелёный свет перекрёстков. Прозрачная шаль, прикрывающая голые плечи, — одна только видимость, одна только видимость и тюлевое платье, украшенное сверкающими звёздочками, и серебристые туфельки. Она пытается закинуть ногу на ногу и закурить — не получается.

— Бывший господин офицер, мы договорились о встрече, но вы не пришли на свидание.

Я взглянул на Жале и убедился, что со дня нашего последнего свидания действительно прошло три тысячи лет.

«...Господин офицер... Халили разбился прямо на наших глазах. Ночью, усевшись у мельницы вблизи аэродрома, мы беседовали, говорили о доме, о днях минувших, о том, как пришла мать возлюбленной Халили и как мать Халили, ни разу не выдавшая невестки, сказала: «Мы — люди знатные, а вы простолюдины». Мать Монире заплакала: «Это верно, и тут уж ничего не поделаешь, Баджи-ханум». И едва успели матери договориться, как Халили не смог выйти из «мёртвой петли», самолёт носом врезался в землю, пахнущую весной, бензобак взорвался, и хоронить мы понесли всего несколько горсточек пепла...»

Моё сердце разрывается от тоски.

— Четыре года назад, в чудесное весеннее утро Халили погиб...

Жале перебила меня:

— Я помню. Вы собирались в кофейне «Банифш» и пили, а если кто подходил к вам, то прогоняли. Вы много пили, боже мой, как же вы много пили...

Ушанг вскочил и заорал:

— Хватит, не надо воспоминаний! Эй, Дейзи, спой-ка ту песню, как же она называлась, чёрт побери, «Последний», что ли?

— Ушанг прав, — сказал Лоран Ритурен, — не надо воспоминаний.

И в полумраке, радужно искажённом огнями рампы, Дейзи запела:

Последний человек

в разрушенной деревне

Остался совсем один...

...Война оторвала лорийца Гургена Ованнисяна от родной земли и забросила в Лорестан. Он был комком противоречий, этот черноглазый, энергичный человек. Его смех сотрясал стены нашей комнаты, а его грусть опускалась на нас, как глубокая чёрная ночь, темнее которой нет в мире ничего...

— Был у нас такой разбойник, — начал я, когда Дейзи спела, а Жале плакала, — звали его Сейфи. Он ушёл на ту сторону реки и украл тигрёнка, чтобы продать американцам. Американцы тогда хорошо платили. А мы нашли тигрёнка, и мой соотечественник Гурген Ованнисян вернул детёныша матери.

— Интересно, — сказал Джордж, — наверное, глупее тебя во всём мире никого не сыщешь.

Жале спросила:

— Почему?

— Зачем он ушёл в этот ад? Если только ради любопытства, то недели или месяца ему с лихвой хватило бы, а он ушёл и пропал там целых три года, а на самом деле он просто плюнул на нас, на своих друзей. Да если мы ему так надоели, он мог бы прямо сказать: уберите-ка отсюда.

— Джордж прав, — сказал Лоран, — ты мог бы прямо сказать.

Все рассмеялись, Лоран — простак, для него всегда всё ясно и понятно: и неурядицы жизни, и стихийные бедствия, и не состоявшиеся свидания на перекрёстках.

Дейзи, которую недавно привезли из Парижа, Тереза, Сюзан, переодевшись, подошли к нам, пришла и суданка Мейрие, мы сдвинули столы, но Жале не отходила от меня.

— Мне говорили, что юг паутина, из которой человеку трудно выпутаться, почему, а? — спросила она.

Вопрос, на который невозможно ответить, ну что тут скажешь? Я молчу, смотрю на Ушанга и жду, что вот-вот он что-то выкинет.

И он действительно выкинул.

Подозвал метрдотеля и приказал:

— Освободите зал от посторонних, дайте нам наконец остаться одним. Я плачу за всех. Прежде чем выйти, все обернулись, посмотрели на нас и, недоумённо пожимая плечами, удалились, остался только один человек, последний, он подошёл к нам и сказал:

— Вы меня выгоняете, это ваше дело, но куда мне идти?

— Гоните его в шею! — заорал Ушанг.

Официанты и ещё какие-то люди, подталкивая, вывели его и заперли дверь.

«...Харчевню закрыли, забили досками крест-накрест, это означало: хозяина убили разбойники у подножия горы. Из-за заколоченных дверей, из-за щелей прибитых досок тянуло запустением и смрадом смерти.

Пришёл человек, для которого всё началось и кончилось в Адане. На нас он даже не взглянул, посмотрел на скрещенные доски, сорвал их, отшвырнул в сторону и, смеясь, сказал: «Я открою эту харчевню». — «Зачем? — спросил я его. — И потом, по какому праву, земляк, тут ведь запретная зона? А мы тебя и знать не знаем, предъяви-ка документы». — «Я иду из Адана!» — выкрикнул он в духоту полудня».

Мы, армяне, странные люди, мы можем вдруг встать на рассвете и уйти куда глаза глядят, как ушёл Абовян, а можем и тысячу лет прозябать в одном и том же месте, да...

— Почему мне не позволяют любить тебя? Как странно устроен этот мир!

«На свете много вопросов, Жале, на которые трудно ответить».

— Расскажи, ну расскажи ещё что-нибудь про юг.

— Пожалуйста. Мы начали играть в покер сразу же после работы. Я проиграл — никак не мог сосредоточиться, наступила южная ночь, высоко в небе светила полная луна. Нас разделяли река и гора, за которыми расстилалась пустыня. Один раз, всего один раз пошёл я за своим соотечественником Серобом из Лима, чтобы привести его обратно. Из-за песков вышел белый дервиш и, выставив острый, как стрела, палец, сказал: «Если ты решил пойти по этой пустыне, человек божий, иди, это твоё дело, но прежде прислушайся к голосу песков, потом иди, аферим¹, салам олла»².

— Ах, какая хорошая песня! — Жале съёжилась... — Но почему мне так холодно?

Последний человек

в разрушенной деревне

Остался совсем один...

¹ Аферим — молодец (тур.).

² Салам олла — доброго здоровья (тур.).

— А зачем он сказал: «Прислушайся к голосу песков?» — спрашивает девушка.

— Охотники лгут, никто не знает, где живут львы. Они выходят из камышовых зарослей не по своей глупости, как тигры, а заранее решив, и так ступают лапами по песку, что пустыня дрожит от страха. И вдруг они почему-то оборачиваются. Ты в это время прячешься за песчаными холмами, воздвигнутыми против смерчей. «Мы сыты», — рычит самка, идущая вперёд. И отзвук этого рыка впитывается в песок, прикинь ухом к пескам — непременно услышишь его. Самец всегда идёт следом за ней.

— А почему следом?

— Не знаю, видимо, из вежливости.

— Он прав, — сказал Лоран, — видимо, из вежливости.

— Да, ты рассказывал, что тигры глупы, а почему они глупы?

— Там, на юге, в ясные ночи звёзды опускаются низко-низко. И тигры в камышовых зарослях глупеют: они забывают о своих детёнышах, а самец и самка смотрят друг на друга отчуждённо и даже враждебно. Увидев круглую луну, они выходят из своего логова. Среди них нет мудрого старца, который, став на их пути, сказал бы: «Не идите на луну, вас ждёт смерть».

— А почему смерть?

— Рассорившись, они выходят из логова, и один из них уходит направо, другой — налево; они долго идут, поднимаются на горы, взбираются на вершины, а круглая луна шутит с ними, подмигивает, манит к себе: идите, мол, ко мне. Потом они издают страшный рык и, выпустив когти, в яростном прыжке пытаются достичь луны, схватить её, стянуть вниз... и падают... Какая прекрасная и какая глупая смерть!..

Под испытующими взглядами Жале встала и, прищуриль свои маленькие зелёные глаза, сказала:

— Я пойду.

Всем показалось, что она уходит куда-то недалеко и скоро вернётся, но я всё понял.

— Ты куда?

Она склонилась надо мной:

— Бывший господин офицер, мне холодно здесь, я ухожу на юг.

Потом окинула всех взглядом и сказала:

— Что вы за люди?

И ушла. Я не пытался удержать её, да и никакие земные силы не удержали бы её в этот миг.

Я вглядываюсь в лица окружающих меня людей: какой-то дурман нашёл на всех, предчувствие беды застыло в их глазах.

— Жале права. Что вы за люди?

Это сказал Лоран. Всем стало смешно, только суданка Мейрие не рассмеялась.

— Эта зеленоглазая девушка пошла навстречу своей смерти, — сказала она. — Мы не должны были отпускать её.

Потом сквозь папиросный дым вперила свой взгляд в меня:

— Вы не должны были отпускать её.

— Это было не в наших силах, Мейрие-ханум, — сказал я. — Эта зеленоглазая девушка нашла свою цель и устремилась навстречу ей.

— Да, но она погибнет на юге.

— Как знать? Она была обречена, едва появившись на свет. Её отец, Аджи-ага, пытался приковать дочь к дому золотыми цепями, но она сорвала их, отшвырнула и ушла прочь. На дворе тогда была поздняя осень, на сцене горели разноцветные огни, а я тогда был военным лётчиком, и звон бокалов тогда был веселей. Она сразу же вошла в эту жизнь и так же быстро... Ну ладно...

— Рассказывайте, — упрямо просит Мейрие, — эта зараза, кажется, и ко мне пристала.

— Что мне рассказывать? Она же сказала: «Что вы за люди?» — и ушла.

Все умолкли, стали оглядываться по сторонам, рассматривать свои руки, одежду, пытаясь, видимо, узнать, что же они за люди в конце концов.

Ушанг вывел всех из оцепенения:

— Я же сказал — не надо воспоминаний. Бодие, тащи свой саксофон, Дейзи, спой-ка «Последнего», только до конца.

Бодие заиграл, и Дейзи спела песню до конца:

Последний человек

в разрушенной деревне

Остался совсем один,

никто не стоял на его пути

И никто не спросил его:

куда ты идёшь, человек божий?..

ОН ПРИДЁТ

(Мирная восточная беседа)

Уроженец села Саведж Бартуг, откинувшись на подушки, листал пожелтевшие от времени, изорванные страницы «Истории царевича Зольфедара».

Был конец лета. Послеполуденный зной тяжело осел на густые миндальные сады села Саведж.

Это был тот час дня, когда от жары аромат миндаля словно делается гуще, а южные соловьи впадают в дремоту, забывая о своих трелях.

Бартуг, владелец сада, тоже пребывал в полуденной дрёме, когда вошёл к нему садовник Бадал и сказал:

— Хозяин, кто-то забрался на дерево и ест миндаль.

— Кто? — спросил Бартуг.

— А бог его знает. «Кто тебе разрешил, — спрашиваю, — заходить в чужой сад?» — «Я сам», — говорит.

Что ж, человек ответил правильно, подумал Бартуг. Миндальный сад и дом достались ему в наследство от отца. Немного не от мира сего, Бартуг не был привязан к земле. Мудрое слово, прочитанное в книге, для него было дороже состояния. За это садовник Бадал и кухарка Нанэ, тоже вроде бы доставшиеся ему в наследство и одной ногой стоявшие в могиле, больше жалели, чем уважали своего хозяина.

Бартуг встал, взял прислонённую в углу суковатую палку и спустился в сад.

И правда, на толстой ветке низенького дерева сидел мужчина и ел миндаль.

— Кто ты, о человек? — спросил Бартуг.

— Я смертный, творенье рук господних, — ответил незнакомец, — шёл по улице, и попались мне на глаза твои деревья, я вошёл через калитку в сад, остальное сам видишь...

— Сойди, — уже тоном приказа сказал владелец сада.

Мужчина спрыгнул с дерева и стал прямо перед ним.

У него едва пробивались усы и борода, он был босой, в залатанной рубахе и штанах.

— Ты почему без спроса заходишь в чужой сад, залезаешь на дерево и ешь миндаль? — спросил владелец сада Бартуг.

Человек посмотрел на его суковатую палку, подумал и сказал:

— Я так захотел. А ты почему своей жене платка на голову не покупаешь?

Если бы он ответил разумно, Бартуг не только бы простил его, но тут же велел бы Нанэ

одеть его с ног до головы во всё новое и отпустить с богом. Но уж очень неумную вещь он сказал: «Я так захотел».

Как раз в это время по садовой улице проходил жандарм, рассыльный сельского старосты. Садовник Бадал позвал его в сад. Но то был согбенный и усталый, конченный человек, он поленился вникнуть в их спор и сказал:

— Идёмте-ка к старосте, а я в тёмные дела не вмешиваюсь.

Стоял конец лета. В это время года благоуханием миндаля одурманены даже камни и тени, что тут уж говорить о сельском старосте.

— Эти люди пришли с жалобой, господин, — доложил рассыльный, — будь добр, выслушай их.

И владелец сада Бартуг начал рассказывать:

— Этот человек, о староста, вошёл в мой сад, забрался на дерево и стал есть миндаль. Я его спрашиваю, почему ты не спросяшь вошёл в мой сад? А он мне говорит: «А почему ты не покупаешь жене платка на голову?»

Староста, с трудом ворочая отяжелевшими от жары мозгами, прикинул так и этак и сказал:

— То, что человек, не имея на то права, забрался к тебе в сад за миндалем, конечно, плохо, и за это он понесёт наказание от закона... Но в самом деле, зачем ты не покупаешь своей жене платка?

Бартуг улыбнулся в усы.

— Да продлятся дни твои, о староста, — сказал он, — весь Саведж знает, что я одинокий человек, не было и нет у меня жены.

— А поклянёшься на Коране? — спросил староста.

— Я бы поклялся, — ответил Бартуг, — но ведь я армянин, по вере христианин.

— Спросить бы у него, — вмешался человек с заплатами, — ведь ему уже перевалило за сорок, почему живёт холостяком.

Староста лениво повторил:

— И верно, хозяин сада, почему ты до сих пор не устроил свою жизнь?

Бартуг прикрыл глаза и вспомнил, что в двести тридцатой главе, да, кажется, в двести тридцатой главе «Истории царевича Зольфедара» написано: «...И тогда люди с тёмною душой поставили царевича Зольфедара у края пропасти глубиною в сорок сажений и сказали: «О краснобородый и красноусый! Если ты и в самом деле царевич, то перепрыгни через эту пропасть». И тогда царевич Зольфедар подумал: «Что один, что другой путь — оба ведут к гибели. Перепрыгну — поглотит меня тёмная пасть пропасти, вернусь — растерзают люди с тёмною душой...»

— Вот видишь, староста, — торжествующе воскликнул человек с заплатами, — он не отвечает! А я тебе скажу, отчего он до сих пор не женился!

— Отчего это? — зевая, спросил староста и при этом подумал: «Господи, когда же они кончат и уйдут восвояси и дадут мне выспаться?»

— А зачем ему жениться? — объявил человек. — Зачем надевать ярмо на шею? У нас в Саведже сколько хочешь жён и девушек... Достаточно ему поманить пальцем любую... А вы думаете! Он владелец сада, а не такой бездомный, босой оборванец, как я, на которого ни одна собака не взглянет...

Бартуг, владелец сада, вновь подумал: «Этот человек прав, но слова его относятся не ко мне, а к какому-то другому, который мог быть таким, да, он мог быть таким».

— Да будут трижды благословенны дни твои, староста, — продолжал человек с заплатами, — прошлой осенью в нашем Саведже вдруг пропала пятнадцатилетняя дочка водовоза Джумшуда, словно сквозь землю провалилась, улетучилась! Сорок дней и ночей искали её — не нашли. А давайте-ка пораскинем мозгами и прикинем... И перероем землю в

саду Бартуга.

И дальше прошептал на ухо старосте:

— Голову даю на отсечение, если вы не найдёте дочери водовоза Джумшуда в саду Бартуга.

Староста тут слегка насторожился, нахмурился и посмотрел на заплаты человека. «Гмм... Этот безбородый и безусый, конечно, клеветник и хочет навязать мне новое дело. Ему-то самому терять нечего... Придётся перерыть весь сад, чтобы найти труп, доложить в уездный центр, потом принять, разместить и кормить всех этих собак из суда и полиции... Дочь водовоза Джумшуда пропала осенью прошлого года, а прошлогодние дела уже закрыты. Теперь что же, придётся ворошить прошлогодний архив? Не было печали...»

— Послушай, братец, — обратился он к человеку с заплатами, — забудь об этой истории с дочерью водовоза Джумшуда, это дело закончено. Поговорим лучше о сегодняшнем дне. Твоя жалоба, что и говорить, уместна...

Бартуг спросил:

— То есть как, староста?

— А ты помолчи! — прервал его староста. — А не то покопаемся у тебя в саду...

Бартуг сказал:

— Ладно, молчу, староста.

— Да, так вот, я и говорю, что жалоба твоя уместна, юноша, и владелец сада обязан заплатить тебе штраф. А что и сколько — оставляем на твою совесть.

Человек с заплатами почесал затылок и сказал:

— Пусть он даст мне пять мешков прошлогоднего сухого миндаля, я возьму эти пять мешков и уйду прочь от вас со своей жалобой.

— Ты согласен, обвиняемый хозяин сада? — спросил староста.

Бартуг вспомнил царевича Зольфедара и закрыл глаза, что означало: «Согласен».

После их ухода староста растянулся на тахте. Вот теперь он спокойно поспит до наступления вечерней прохлады и увидит радужные сны. А то — копайся в чьём-то саду...

А жалобщики тем временем молча шли по извилистым улочкам села. Бартуг брёл поникший, задумчивый. Человек с заплатами шёл позади него.

Было то послеполуденное время конца лета, когда созревший миндаль наполняет всё вокруг густым ароматом.

Бартуг велел садовнику Бадалу принести из подвала и дать человеку с заплатами пять мешков сухого миндаля, чтобы тот унёс вместе с мешками и свою жалобу.

Потом он обратился к человеку:

— Послушай, творенье рук господних, я не виню тебя, раз справедливость покинула сей мир.

Человек ткнул пальцем куда-то вдаль, где в синей дымке виднелась полуразрушенная мельница, и сказал:

— Приготовь то, что мне причитается, хозяин, а я схожу за телегой на мельницу.

А потом онемевший от удивления Бартуг стал свидетелем того, как этот бездомный, босой нищий расплакался и его слёзы жемчужинами падали на пыльную дорогу.

Он пошёл по сельской улице. Вскоре перед ним откроется широкое поле и тысяча разных дорог, по которым каждый в этом мире идёт куда ему надо. Бартуг долго смотрел на пыль, что клубилась за человеком, и размышлял о делах этого необъятного и одновременно тесного мира.

Садовник Бадал, взвалив на плечи мешки, притащил и сложил их возле ворот. Бартуг сел на них и стал ждать человека с телегой.

И прождал он день, неделю, месяц и пять тысяч лет...

Умерли, покинули этот мир садовник Бадал и кухарка Нанэ. Оголились и протянули

кверху свои окостеневшие руки миндальные деревья заброшенного сада. В обезлюдивших садах и кривых улочках села Саведж полновластными хозяевами стали шакалы. На синем небосклоне творца переместились звёзды и Млечный Путь. А бывший хозяин сада, саведжец, сидит на пяти мешках миндаля, собранного в конце осени сто тысяч лет назад, и смотрит на просёлочную дорогу, которой нет, на широкое поле, которого нет, на видневшуюся в синей дымке полуразрушенную мельницу, которой тоже нет, и ждёт.

Он знает: ещё десять тысяч лет — и уже ничего не останется.

Он хорошо знает, что тот человек всё равно придёт, сквозь это «ничего». Приедет на телеге с синей мельницы, но колёса у телеги будут золотыми, кони — огненно-красными и крылатыми, а пыльная дорога, некогда усыпанная камнями, будет устлана алмазами, бриллиантами и звёздной пылью.

Этот человек, который когда-то был в заплатах, придёт подобно царевичу Зольфедару. У него будут золотистые бородка и усы и волосы, рассыпанные по плечам, а глаза — как синие горные озёра. И он придёт непременно, он не может не прийти...

АКОП МНДЗУРИ

КОСТАН

— Аму¹, аму!.. Костан-аму!..

— Отец... отец!..

— Костан!.. Костан, ты что, спишь, проснись, эй, проснись!..

Дочка Ханпакенцев, так звали в селе Дшху, невестку Дпренцев, — двое её сыновей, её старшая дочь Бубул и два сына снохи Брабион спустились в сады Краснополя за тутой, гоня перед собой двух ослов. Муж Дшху, Костан, ушёл туда ещё в пятницу. Была их очередь на воду. Костан должен был полить сад и огород, а в свободное время подобрать под деревьями опавшую туту. В воскресенье к нему должна была присоединиться Дшху с детьми, все вместе они должны были отрясти шелковицы, заполнить бурдюки тутой, отвезти всё это в село.

По правде говоря, кому-то так и так надо было оставаться в садах. Садовых участков у них было три, и все в разных местах, кто-то должен был смотреть за ними: поливать, ежедневно собирать опавшую туту, да только кто? Дети ещё малы, им не доверишь, а у взрослых и без того много дел, поважнее туты и сада. Стояла самая горячая пора — сенокос, вспашка, нужно было распахать поля, накосить в горах сена на зиму — кому всё это было делать? Одному, двум, даже трём мужчинам не справиться с такой работой. А надо бы успеть до праздника Вардавар, до середины июля, значит, потому что потом заколосится ячмень, за ним подспеет пшеница, начнётся страда — тогда уж вообще ничем другим нельзя будет заняться. Да в горах к тому времени уж и сена не останется: кашка, мышинный горошек, дикая вика, лисий хвост — всё засохнет, осыплется, если кто другой до этого не скосит. Что тогда припасать, чем скотину кормить четыре зимних месяца? И с пахотой так же. Половина их участков на склонах не распахана. Если не успеют два брата распахать их за эти полторы-две недели, на кого им тогда пенять? Потом уж и плуг не возьмёт эту закаменевшую под солнцем землю. А с такого поля — нераспаханного, от пырея не очищенного, под солнцем не отдохнувшего, — какой урожай? Жили они не одним садом, и работа у них не в одном только саду была. Сено, поля, хлеб были важнее всего.

Дшху с детьми дошла до сада и в изумлении остановилась перед закрытой калиткой, сплетённой из веток пшата. «Матушки...» — протянула она про себя, как всегда делают наши женщины, столкнувшись с чем-то для них необъяснимым.

Сад не был полит. Канавы были совершенно сухи. Сухо было и под деревьями, и под виноградными лозами. Перец, помидоры, лук сгорели на грядках под солнцем, опавшая с шелковиц тута лежала толстым слоем в канавах, на грядках, под оградой, под деревьями по всему саду до прибрежного песка; тута была повсюду — белая, без зёрен, сросшаяся парами, спелая, разбившаяся при падении, истёкшая соком — и ни одной её штучки не было подобрано.

Чем занимался этот человек целых три дня — пятницу, субботу и вот сегодня, в воскресенье? Костан здесь ничего не трогал, так, может, полил два других сада или перебрался на тот берег и сейчас поливает в Масурдзоре люцерну? Она вообще-то знала, что муж тут подбирать не станет — самой с детьми придётся. Знала, что мужчины не любят утруждать себя этим делом, не в пример им, женщинам. Это только женщины готовы не разгибая спины исползать всё пространство под полтора десятком деревьев, подбирая каждую ягоду. Умолять станешь: «Ну что тебе стоит, собирай и ты с нами, часом раньше кончим», нагнётся

¹ Аму — дядя, уважительное обращение к старшим мужчинам.

нехотя, подберёт пару ягод, бросит в рот, и уже надоело: «Эх, туту вашу с вами вместе!..», свернёт сигарку, выругается, отведёт душу, да и пойдёт к приятелям. И сыновья в отцов растут: подберут десяток-другой ягод — скучное занятие, — убегают к реке, купаются, рыбу под камнями ловят — не то что дочки; эти от матерей ни на шаг, ползают рядом с утра до вечера. Зато потом, когда все вместе за стол садятся — мужчины втрое против них съедают. Сейчас туту не хотят собирать, а зимой поставишь на стол полную миску пастилы — густой, сахаристой, разбухшей в воде, — так уже эти наготове: так принимаются таскать, что и не уследишь, пока ты свой один кусок до рта донесёшь, они три съели. Наедаются так, что всё нутро гореть начинает — заедают солёным перцем, луком, запивают рассолом, только чтоб ещё немного съесть. И ведь не одну только пастилу. Сушёной туту с орехами кто больше съедает? Опять же они! А водка? Тутуювую самогонку кто пьёт? Не женщины же — всё они выпивают.

Туту, положим, он не собирал; ну а сад почему не полит, что им теперь, ждать целую неделю, пока снова подойдёт их очередь на воду? Ведь сгорит всё! Если виноград ещё кое-как продержится неделю без воды, кисти почти созрели, то яблони, абрикосовые деревья, персики — что с ними будет, разве выдержат они в такую жару без воды целую неделю? А помидоры, перец, петрушка — ведь высохнет всё, сгорит на корню! Кто им воду не в очередь отведёт, кто своё уступит?

И самого нету. В саду не видно. Сторожка заперта — деревянный засов на двери задвинут в гнездо до конца. Может, спит в сторожке?

Дшху сама не могла позвать мужа. Не подобало ей кричать, тем более звать мужа по имени. Она подозвала самого старшего из ребят, сына снохи, Есаи, его Есо все звали:

— Есо, окликни-ка дядьку, спит он, может?

— Аму, аму!.. Костан-аму!.. — закричал Есо.

Подождали. Никто не ответил.

— Пойдите, дайте я крикну, я громче всех кричать умею, — сказал младший брат Есо, Мовсес, этого Мосо все звали, такой же голубоглазый парнишка в синих, до колен, штанах.

— Аму!.. Аму!.. Костан-аму!..

Мосо закричал так громко, что его услышали не только на Краснополье, но и на полях Масурдзора и Гохундзора на том берегу реки.

Подождали ещё, опять никто не отозвался. Сняли с ослов хурджины, достали пустые бурдюки для туту, пустили ослов пастись.

Сын Дшху, самый младший в доме, самый пронырливый и живой, не дожидаясь взрослых, подбежал к сторожке, приник к замочной скважине и закричал:

— Отец!.. Отец!..

Изнутри ни звука.

Первой услышала их крики и подошла Апуш-арсик. Апуш-арсик была родом из Апушты: Апуштаци-арсик — получалось долго, все в селе звали её Апуш-арсик. Несмотря на имя, умная была женщина, уважаемая¹.

— Что случилось, Дшху, что вы все кричите?

— Племяннику твоему кричим, Апуш-арсик, племянника твоего не дозовёмся, — ответила Дшху. Костан не был племянником Апуш-арсик, но иначе говорить Дшху не подобало. Апуш-арсик была женщиной в летах, называть при ней мужа по имени или даже просто говорить «муж» не приличествовало.

— В сторожке посмотреть надо. Нет его там?

— Сама не знаю, Апуш-арсик, там он или нет, — сказала Дшху. — Поле пахал, три дня назад сюда спустился — сады, огороды полить надо было, туту собрать — и ничего не сде-

¹ Апуш — идиот, идиотка.

лал. Нигде его нету, уж не знаю, что и думать, не случилось ли чего?

— Не думай плохого, Дшху, появится того и гляди — знает, что сегодня воскресенье, и вы придёте, — подбодрила её Апуш-арсик, но сама своим словам не поверила. В самом деле, три дня как здесь, а ничего не сделал, туту не собрал, сада и огорода не полил и сам куда-то исчез... «Не дай бог, уж не помер ли?» — подумала она, но Дшху, конечно, ничего не сказала.

Зато потом, когда друг за другом подошли сначала бабушка Елпак, Айла-арсик, Зимарци-арсик, тётушка Архан, а за ними потянулись мужчины, и сад понемногу стал наполняться народом, и пришедшие напоследок из Харицака Арханенц Амбарцум, а с нижних полей Хануменц Погос спросили: «Куда вы все делись, ахчи, где твой муж?», и сказали собравшимся, что в огороде никого за эти три дня не видели и туту никто не собирал — лежит портится, — все встревожились не на шутку. Явно какая беда с человеком. Начали вспоминать: Галенц Акоп сорвался в ущелье со скалы Бердовита, разбился насмерть. Третья жена дяди Мисака Тандзеци — «я напрямик поднимусь, в обход долго» — ну и поднялась: ухватилась за камешек, тот выпал, и полетела она в пропасть с тем камушком в руке; вот и с Костаном, видно, что-то такое стряслось. Может, искупаться вздумал: в Ханумгеле, или озере Амуркар, или, может, на Фрат¹ ушёл, утонул — чего только на свете не случается; иначе куда он мог деваться — три дня как нету. Все подумали об одном и том же, только ни один не высказал своего подозрения вслух.

— Может, он в Акн ушёл или в Зимару, я говорю, может, в Акн пошёл или в Зимару? — сказал Чортенц Оганес.

— Зачем ему туда идти? — заговорили все с разных сторон. — С чего ему вдруг бросать сады, огород и идти в Акн или в Зимару?

Старики огородники — косой Гайненц Грикор, который одним глазом смотрел на тебя, а вторым на твоего соседа и мешал с табаком сухие осенние листья шелковицы (по его словам, у него болело сердце, и он таким табаком от этой болезни лечился), и Корджаенц Месроп-аму предложили отпереть сторожку, проверить, не в сторожке ли Костан, и уж потом решать, что делать дальше. Оба старика были уверены в том, что Костан лежит мёртвый в сторожке — где ему ещё быть, — но мнения своего вслух не высказали.

Сторожка, однако, была на запоре, ключа ни у кого с собой не было, да чужие ключи к этому замку и не подходили. У всех сельчан ключи как ключи были — с четырьмя, ну с пятью зубцами, но старики Дпренцы — дед Егик и дед Гаспар — конечно же, обязательно должны были чем-то выделиться, всё у них должно было быть не так, как у всех. Из курдских сёл Керчаниса Магтере деды привезли кусок самшита и вырезали из него ключ аж с семью зубцами. Петлю засова сделали толще запястья, саму дверь сбили из молотильных досок, что привезли из Керчаниса Туманлу, твёрдых, в два пальца толщиной — ни один топор не возьмёт.

Вот если бы у кого-нибудь была бы в поле пила, можно было бы попробовать перепилить засов, но пилы ни у кого не было — кто станет таскать с собой в поле пилу? — и единственное, что оставалось, — это залезть в сторожку через маленькое чердачное окошко, не имевшее стёкол. Правда, к окну подняться можно было только по лестнице (деды постарались на совесть — на стене не было ни единой зацепки, ни единого сучка или выбоины), но лестница была только на мельнице Филика в Нижних полях и ещё на мельнице Хачманенца Егиака, а мельницы сейчас были на замке — кто станет летом зерно молотить?

— Пойдите, ребята, давайте сделаем так, — сказал Мануканц Акоп. — Мы с Вааном станем к стене, ты, Давид, парень тощий, лёгкий — поднимись нам на плечи и загляни в окно, вот и узнаем, там он или нет.

¹ Фрат — приток Евфрата.

Так и сделали. Давид подтянулся к окну, заглянул в сторожку. Костан, вытянувшись во весь свой рост, лежал на полу ничком.

— Здесь он, ребята, здесь, лежит ничком! Спит, что ли, лица не видно, не понять! — закричал Давид стоявшим у сторожки и смотревшим на него людям; сто не сто, но, пожалуй, и не меньше человек собралось здесь со всех двенадцати полей, с Каменистых огородов, с Новин, с Солёного ручья, с Горького ручья, с Каменных осыпей, с Масурдзора.

И Давид крикнул в окно — Костану:

— Костан... Костан... ты что, спишь, проснись, эй, проснись!

Костан не пошевелился, не повернулся, не ответил. Лежал вроде как мёртвый.

— Ой, чуяло моё сердце, знала я, что лежишь ты мёртвый, на кого ты меня с детьми оставил!.. — закричала Дшху; стянула с головы платок, прижала его к глазам, закричала, забилась, запричитала по покойнику.

За ней и все женщины стянули с волос платки, запричитали, закачались, заголосили:

— Ох, Костан, Костан, на кого ты детей покинул, чего ж ты ушёл, не спросясь, не попрощавшись?.. Костан... Ох, Костан!..

— Что ты встал, — закричали на Давида мужчины со всех сторон. — Спрыгни внутрь, дверь хоть открой.

Давид протиснулся в окошко, спрыгнул в сторожку, подошёл к Костану и изумился: Костан дышал. Повернул ему голову — Костан открыл глаза, сел:

— Чего тебе, что надо?

Давид подбежал к окну, закричал:

— Жив Костан, жив, сидит тут, сейчас со мной говорил, не ревите!

И, взяв у Костана длинный ключ с семью зубцами на бородке, бросил его в окно.

Толпа в саду заволновалась. Слезы сменились радостью.

Мужчины вывели Костана во двор.

— Слушай, парень, ты же два села народу на ноги поднял... Неужели ничего не слышал, дети кричали, люди шумели, женщины под окном плакали — как же ты не проснулся?..

— Раз вроде что-то слышалось... — ответил Костан.

— Ладно, нас ты не слышал, но — пятница, суббота, воскресенье — ты что, все три дня без просыпу спал, не проголодался, есть-пить не захотел? Слушай, парень, ты что, и по нужде ни разу не выходил? — удивились мужчины.

— Раз проснулся, смотрю — ночь, в пятницу было или в субботу, не знаю, поднялся, слушаю — лягушки в ручье — ква-ква, в поле, в саду ни звука, нашарил кусок хлеба с сыром — съел, в кувшине немного воды было — выпил; не сидеть же ночью, думаю, лёг спать. Ещё раз проснулся, под утро дело было, в субботу или в воскресенье — не знаю, вокруг опять ни звука, ни шороха, только опять лягушки квакают: ква да ква. Утренняя звезда над самой горой стоит — я посмотрел, посмотрел, подумал и опять лёг спать...

— Ну и дядя! Ну и перепугал ты всех! — Люди повернулись к его жене и стали поздравлять её: — Дшху, ахчи Дпренц-арс, слава богу, всё обошлось, всё позади!

После уже, когда все разошлись и в саду остались они одни, Костан повернулся к жене:

— Дшху, голоден я, всё нутро ноет, что там есть у тебя?

Дшху послала Бубул, та принесла корзину с хлебом, сыром, орехами, солёным перцем; Костан сел, принялся за еду; дети — Есо, Мосо, Онно, Хазук и Бубул — пошли с матерью собирать туту.

НАШИ МАТЕРИ

Мы нашим матерям «мама» или «матушка» не говорили. Не приучены были, не знали таких слов. Невестушками звали. Нашими невестушками были они. На нашем местном наречии уменьшительное «арсик» — «невестушка» то есть, вовсе не означало, скажем, что невестка молоденькая обязательно, нет.

Мы говорить учились у наших бабушек. Это они наших матерей невестушками звали и нас к этому же приучали. «Невестушка твоя, говорили они нам, невестушка твоя пришла, невестушка ушла». Мы вырастали, десяти-, двенадцати-, пятнадцатилетними делались и уже смекали, уже знали, что это наши матери, но языки уже привычны были, и мы по-прежнему звали их «невестушками». Мамами никогда не называли. Мамами мы старух бабок своих называли. Если бы мы наших матерей окликнули мамой, все бы покатались со смеху, услышав неслыханное.

Нас наши бабки растили. наших матерей обязанность была — кормить нас грудью, пока от груди не отлучат. Они подходили к нам, ждали, пока мы насосёмся вдоволь, потом вытаскивали грудь у нас изо рта, и нет их. Секунды не оставались рядом, словно не их, чужие словно дети. Когда постепенно мы начинали узнавать их и радостно тянулись к ним, просились на руки, они оставались безучастными. Стеснялись нас любить и ласкать. Дома в присутствии свекрови или кого-нибудь постороннего не брали нас на руки, а сделали бы так, осуждены были бы: «Села с дитём и сидит!» Утром они вставали чуть свет и до позднего вечера на ногах, и если, скажем, все дела по дому сделаны, и вода с родника принесена, и посуда перемыта, и домашние, сжалившись, предлагают: «Присядь, невестушка», она должна непременно отказаться и тем самым приумножить свои достоинства и быть похвалена всеми за скромность, а уж если очень настаивают, чтоб села, — сядет поодаль, опустившись на корточки, словно преступление совершила, виновато потупясь.

Возраст наших матерей не имел никакого значения. Будь им двадцать лет или сорок — они были вечными невестками, пока над головой их стояла свекровь. И только обвенчав нас, взяв в дом невестку, то есть став свекровьями, они наконец переставали зваться невестками.

Для нас всё наши бабушки делали. Когда мы просыпались, они вынимали нас из люльки, пеленали, кормили, если от груди отлучены уже, а если нет, подзывали наших матерей, чтобы те дали нам грудь. Они укладывали нас в люльку на мелкий просеянный песок, подстелив сухую тряпочку. Зимой песок подогревали. Укладывали нас и перевязывали веревочкой, чтобы не вывалились из люльки. Люльку завешивали тряпицей, чтобы свет нас не слепил. Если песок под нами был мокрый, меняли его на сухой, грязные пелёнки отдавали нашим матерям, чтобы те снесли к роднику, постирали там в чане. Наши бабки купали нас, ставили перед собой и кроили штаны, рубаху, жилет, латали нам одежду, если одежда прохудилась или порвалась.

Наши матери всем этим не занимались. У нас, в нашем краю, детей «плик» называли. Чтобы родить «плика», нас то есть, и чтобы по дому разную грубую работу проделывать, они выходили замуж за наших отцов. Но отцы наши счастливыми не были, и уж тем более не были счастливыми наши матери. Через год после женитьбы наши отцы оставляли наших матерей, уходили на чужбину, на заработки. Из нас многие и не родились ещё или двух-трёх месяцев от роду, а отец уже бог весть как далеко. Порой так на чужбине всю жизнь и оставались. Они приходили домой раз в пять лет и снова уходили. С двадцати своих лет до шестидесяти — сорок лет приблизительно — скитальцы, из этих сорока лет они пять или от силы десять лет проводили дома в селе, так что тридцать — тридцать пять, а то и все сорок лет наши матери жили жизнью вдовы.

Почему шли на чужбину? Потому что денег в селе не было. У самых состоятельных были

золотые монеты — жёнам украшения на лоб. Наша провинция, так же, как другие, была в подчинении Евфрата — Кемах, Чмшкацаг, Ак, Арабкир или Тиврик были провинциями, управляемыми мужей на заработки. Наш урожай кто бы купил? Наш дом, например, получал зерна больше, чем нам нужно было. Много орехов у нас всегда было — амбар, полный орехов, сушёная тута, в карасах водка, вино, шестьдесят больших корзин винограда, кому всё это должны были мы продать? В четырёх местах сады у нас были, сторожили сад за два куруша — два куруша и мера муки. Мука у нас была, муку мы давали, а восемь курушей должны были прибыть из Полиса, чтобы мы могли расплатиться.

Все наши песни были о чужбине. Наши колыбельные. Очень немногие из наших колыбельных были настоящими колыбельными. Большинство их были обращены к страннику. Наши матери убаюкивали нас, напевая нам песню о страннике. Мы были для них поводом, чтобы излить тоску и тревогу.

Заснула я, расхорошелась,
По твоей любви истомилась,
Вдали красивая я была,
В этот год подурнела я.

Многие песни по-турецки были, но не думайте, что турки их сочинили, армян творения то были, чувства армянина-крестьянина первозданные, первородные.

Наши матери, с каким внутренним чувством, как увлечённо, с каким лиризмом они пели. Удивительно было то, что и мы, дети, хотели слышать эти песни, заслушивались, а если они прерывали пение, мы закатывались криком, требовали петь дальше.

Вы на свете о таких колыбельных слышали? Вечерняя звезда пряталась за горой Чёрный Камень, и, пока она не взошла, наши матери должны были успеть уложить нас спать, чтобы потом самим собраться сесть за ужин. Из всех домов в это время, с каждой улицы поднималась такая колыбельная. Сёла моей провинции каждый вечер устраивали концерт, мы дети, засыпали под это пение. Слышали вы про птицу Саак, которая раньше, давным-давно, девушкой была — она потеряла своего братца Саака и сделалась птицей и с тех пор каждую ночь летает-кружит над полями, токами, над дымоходами-ердыками, ищет любимого братца. Наши матери тоже каждый вечер свою любовь, своего избранника в песнях призывали.

Когда наступало лето, наши матери брали нас на закорки и несли на красные земли, в сады, привязывали там качели, прилаживали люльку между абрикосовыми или тутовыми деревьями — нас и баюкать уже не надо было, умаявшись за дорогу, мы тут же засыпали. Они радовались, что мы заснули, потому что дел у них было невпроворот. Полить из ручья перец и помидорную рассаду, расстелить сушиться туту и абрикосы за садовой пристройкой, чтобы вечером собрать, унести домой, проверить огуречные грядки и сделать невозможное — собрать всю опавшую туту под деревьями. Тысячами-тысячами рассыпалась тутовая ягода под деревьями, вдоль ручья, между грядками. От одного только взгляда на туту рябило в глазах. И надо было всё это собрать по ягодке, по штучке.

С противоположного берега кто-то кричал, люди, переходившие из сада в сад, громко переговаривались, мелодия пчёл поднималась в воздух от ближайшей пасеки или же слетала-падала ягодка туты на наше лицо — и мы просыпались. Мы ворочали головой, таращились на тутовое дерево, прислушивались к жужжанью пчёл и поднимали ор. Наши матери бежали к нам, подбегали, запыхавшись:

— Что, проснулся, ну что бы ещё немного поспать. Отчего же ты проснулся, а? Пчёлы небось громко гудели или тутинка упала на маленького, ягодка туты, а?..

— Ах, что твоей невестушке сделать для тебя... эти чёрные, как изюминки, глазки твои... эти красненькие, как черешенки, щёчки твои... и зачем только ты проснулся, говорю...

Мы кряхтели, вертели головой, говорить-то ещё не умели...

— Встать хочешь... ну, возьму, возьму тебя на руки... а дальше? Маленький, совсем ты у меня ещё маленький, в праздник воды семь месяцев всего будет... не можешь один, плохо одному, да?.. По рукам, по ногам меня связал... сойду с ума я, ведь туту ещё не собрала твоя невестушка... с пяти деревьев ягоду, когда мне поспеть собрать её всю да на солнышке разостлать... и что бабка твоя скажет, заговорилась, скажет, невестка, заболталась, а дело, скажет, на половине оставила...

Когда луга наливались, они брали нас с собой на покос, туда, где курдское Кахмхи. Деревьев там не было, укладывали нас прямо на землю, убаюкивали и с серпом в руках продвигались вперёд, спускались в кахмхинские овраги, в ущелье, где трава была особенно обильная и сочная.

От раздавшегося вдали лошадиного ржання или же крика птицы в зарослях мы просыпались. Руки связаны, на лице накидка, мы вертим головой столько, что наконец тряпица с лица спадает, и тут мы все как один заходимся в плаче. Мы плакали, а наши матери не шли. Мы плакали, а они всё не шли. Где были они? На наш голос прибежали курдянки, принимались ласкать нас, баюкать. Увидев женщин, не похожих на наших невестушек, мы принимались плакать пуще прежнего. Курдянки куда-то уходили, и мы слышали, как они кличут, зовут наших матерей:

— Женщина, малый плачет, иди, ребёнок твой плачет.

Наши матери бежали к нам сломя голову:

— Чтoб твоей невестушке иссохнуть, плачешь, ушла, подумал, да?.. А я в овраге мяту увидела, да такую хорошую, дай, думаю, нарву... Не плачь больше, не плачь, помереть мне, видишь, пришла я, гляди, ну, гляди же, вот она я...

Ласкали нас:

— Глазки, как тёрен, не плачь же, гляди, я рядышком, не ухожу, сердечко твоё пусть успокоится, никуда больше не пойду... Потом только немножко травы ещё нарежем, на осла навьючим и домой...

А когда поля поспевали, брали нас с собой на жатву. Месяц шла жатва. Мы спали в поле, ночевать домой не шли. Только в субботний вечер возвращались в деревню. А в воскресенье опять шли в поле, прилаживали треножники из жердей, подвешивали наши люльки и перетаскивали нас с места на место с треножником вместе. Обычно во время жатвы три-четыре дома объединялись, по двадцать пять — тридцать человек работали. Наши матери только грудью нас кормили, нами они нисколько не занимались.

Таков рассказ о наших матерях. Что только не вынесли они. Святые и те столько мук не претерпели, святые мученицы Рипсимэ, и Гаянэ не больше мук испытали, чтоб причаститься к лику святых.

ВАГРАМ МАВЯН

ЛОНДОНСКИЙ «АНГЛО АРМИНИЭН КЛАБ»

Я ищу номер 790 на одной из самых длинных улиц Лондона, и потому что начал поиски с обратного конца, с первого номера, должен теперь пройти всю улицу, пока цифры, возрастающая с каждым моим шагом, достигнут желанных 790.

Наконец я у цели. Однако под этим номером — обыкновенный магазин. Где же «Англо Арминиэн клуб», из-за которого я потерял столько времени? Может, номер верный, но я ошибся улицей? Ведь дом, перед которым я сейчас стою в растерянности, всего лишь маленькая, неприглядная сапожная мастерская. На дверном стекле замечаю приклеенный клочок бумаги, чуть больше сложенного вдвое свадебного приглашения, на нём напечатано на английском языке — «Англо Арминиэн клуб».

Теперь я в полном недоумении. Впрочем, думаю, кто бы ни был хозяин мастерской, покажет, где находится клуб, и, отбросив дальнейшие колебания, открываю дверь. Сразу же в нос ударяет затхлый запах старой кожи.

— Я ищу «Англо Арминиэн клуб», — обращаюсь по-английски.

— Вы армянин? — следует вопрос, как только дверь отворилась, и человек среднего роста, лет за пятьдесят, поднявшись на ноги с кучи сваленной обуви, начинает усердно приглашать вовнутрь.

— Входите, пожалуйста, — приветливо говорит он, вытирая руки фартуком, болтающимся на шее.

— Спасибо, спешу, хочу заглянуть на несколько минут в «Клуб».

— Это и есть «Клуб», — несколько задетый, отвечает человек, стараясь придать своим словам убедительность. И настоятельно просит меня сесть. Окинув взглядом комнату, ищу место, куда бы присесть. Он сгребает кучу обуви с одного из ящиков и ногой подталкивает его ко мне. Смотрю кругом: никаких примет, напоминающих знакомую мне обстановку армянских клубов. Единственное украшение на стене — вырванный из какого-то европейского календаря листок с изображением полуголой женщины, прибитый с четырёх концов гвоздями с плоской и круглой шляпкой.

Чтоб скрыть замешательство, пытаюсь что-то расспросить о «Клабе».

В общих чертах полученные сведения выглядят так:

— Я, ваш недостойный слуга, и есть основатель «Клаба». Целью моей было ближе познакомиться людей разных национальностей, в частности англичан, с армянским народом. Постоянных членов, разумеется, нет, но благодаря объявлениям, данным в местных газетах, к нам приходят посетители со всех концов света.

И тут он из-под кипы картона вытаскивает длинную тетрадь, разлинованную в красную полосочку, в какой обычно на Востоке сапожники записывают размеры принятой на заказ обуви, и, развернув её передо мной, просит, чтоб и я написал свои впечатления.

Тетрадь почти вся исписана. Тесно липнут одна к другой записи, сделанные разными почерками: от убористо-разборчивого, в котором угадывается скромный учитель чистописания подготовительных классов армянских школ, до каракулей недоучившихся ремесленников, которые, уверен, прежде чем начать писать, долго вертели в руках карандаш; а вот и запись нашедших себе пристанище в Америке армян-беженцев, чьё армянское образование и грамота закончились в те годы, когда они покинули свои сёла, и сегодня они пишут на родном языке с робостью и неуверенностью десятилетнего школьника.

«Похвальны начинания «Англо Арминиэн клуба» в деле самосохранения нации», — пишет один из попавших на удочку, как и я, посетителей, явно стараясь с честью выйти из

щекотливого положения.

«В «Англо Арминиэн клабе», как в капле воды, отражены судьбы армянского народа. Несмотря на неблагоприятные условия, «Клаб» стремится поддержать дух армянского народа, честь и слава господину Пасману!» — с воодушевлением восклицает другой.

В каждой строчке сквозит еле скрываемая молчаливая улыбка, которая, по-видимому, играет на лицах пишущих, хотя и не отражается в словах. Серьёзный тон большинства записей явно таит в себе оттенок иронии: не так уж наивны авторы строк! Более непосредственным оказался юноша-армянин из Канады. Попав в Лондон всего лишь на один день и прочтя объявление в местной газете, он потратил много времени на поиски «Клаба» и, найдя его, не сумел, как другие, сдержать усмешки; на одной из страниц сверху со всей откровенностью размашисто написал: «Пришёл, увидел, разочаровался!»

Теперь мой черёд. Пытаюсь разобраться в себе. Я тоже разочарован? Нет. Возмущён? Ни в коем случае. В конце концов, почему не оценить старания человека, пусть даже кажущегося смешным и наивным, если движет им любовь к родине?

— В чём же ещё заключается ваша деятельность? — придавая серьёзность вопросу и тем стараясь польстить ему, спрашиваю я.

— В разном, — сурово отрезает он. — Я, например, — чуть погодя продолжает он, — не любитель так называемой классической музыки, но когда приехал в Лондон Арам Хачатурян, пошёл на его концерт, просидел там в зале три часа. Ты бы видел, какой был большой оркестр! Потом я пошёл за кулисы, сфотографировался с ним, и в следующее же воскресенье снимки раздавал после обедни во дворе церкви. Хачатурян, кстати, заинтересовался «Клабом», и я ему дал немало важных сведений о нём.

— Жаль, — говорю не без усмешки, — что слишком велика эта тетрадь для записей, ты бы мог прихватить её с собой на концерт.

— Это так, но, знаешь, я попытался привезти его самого сюда. Не удалось: у этого человека нет свободной минуты! Кроме того, — продолжал он, — приходят письма из разных армянских колоний. Пишут нуждающиеся семьи, отдельные люди, узнавшие о существовании «Клаба», порой даже просят о материальной помощи. Но как я могу им помочь?

И для большей убедительности, с видом человека, сознающего, что носит на своих плечах тяжесть всей нации, извлекает из коробки со старыми конвертами, клочками бумаги, потрёпанными тетрадями письмо и протягивает мне.

Письмо в несколько строк из Греции адресовано управляющему «Клаба». В нём адресат сначала сообщает о том, что слух о патриотической и благотворительной деятельности этой организации дошёл до самых отдалённых стран, потом просит помочь ему материально во имя нации, во имя Христа, потому что трое детей, теперь уже совершеннолетние и при деле, не хотят помогать своим престарелым родителям.

— И что вы отвечаете? — спрашиваю я, возвращая конверт с синей каймой по краям.

— Разумеется, мои возможности не разрешают помочь людям. Но недавно я обратился к нашим крупным организациям с просьбой ежегодно отпускать мне средства для удовлетворения нужд подобного рода. От двух из них пока нет ответа, а третья прислала отказ, объяснив тем, что моя просьба, к сожалению, не учтена в их бюджетных планах.

Всё это распорядитель «Англо Арминиэн клаба» говорит мне на полном серьёзе.

Настал мой черёд сделать запись. Заполняю полстранички и через гору ботинок, ждущих починки, протягиваю тетрадь Пасману.

— Прочти, пожалуйста, что написал, — просит он меня с довольным видом. И я наперёд знаю, какая блаженная улыбка расцветёт на его лице, когда я завершу чтение.

Исполнив свой долг сполна, подымаюсь, чтоб откланяться. Встаёт и он, словно застигнутый врасплох. Из-под низкой табуретки выползает чёрный кот «Клаба», до того оставшийся незамеченным мной.

— Куда же так сразу? Не пущу, в полдень здесь пообедаем вместе, ты сегодня гость «Клаба».

Напрасно прошу, чтобы не создавал себе лишних хлопот, ведь и без того он обременён заботами. Чувствую, однако, что переубедить не смогу. Кладу обратно на стол свой свёрток. Он запирает входную дверь, и мы спускаемся в полуподвал магазина, где отгорожена занавеской маленькая кухня. Под краном — гряда грязных тарелок, ножи, вилки, здесь и там валяются пустые жестяные коробки. На плите сковорода, с уже почерневшим, не раз использованным маслом, в котором, по-видимому, будет готовиться наш обед.

Сбросив с себя бремя официальных обязанностей, распорядитель «Англо Арминиэн клуба» предстаёт передо мной как простой смертный. Засучив рукава, он лезет в короб за яйцами и, разбивая их о край засаленной сковородки, отправляет круглые, как диск луны, желтки в шипящее из последних сил масло. Теперь он на более короткой ноге со мной и между делом рассказывает о своём, как ему кажется, полном авантюрных приключений прошлом.

В памяти его всё ещё свежи воспоминания о событиях тридцатипятилетней давности, о духовной семинарии, о тех годах, когда он собирался посвятить себя церковному служению. Его прежние однокурсники теперь все епископы. «Что поделаешь, значит — не судьба», — заключает он. А потом, после семинарии, — пошла борьба за кусок хлеба, дальше — война, армия, скитания по разным странам и женитьба в Париже на англичанке, после чего последнее, что осталось от предков, — фамилия Пасманян, постепенно под этим туманным небом укорачивается, укорачивается, пока в конце концов превращается в Пасман.

И вот много лет подряд Пасман отдаёт все силы служению своему народу. Двери его «Клаба» всегда радушно открыты перед соотечественниками, особенно перед представителями других наций, приехавшими из разных стран, которые здесь узнают многое об армянах, начинают любить их и уважать. Пасман работает день и ночь, чинит изношенные ботинки англичанам и всё, что зарабатывает, отдаёт на нужды «национальной пропаганды».

Через час я прощался с Пасманом. Заметно было, что он доволен, несмотря на то, что я оторвал его от работы на несколько часов.

Каким материалом для карикатуры мог бы послужить Пасман со своим «Клабом», горой поношенной обуви и увесистой тетрадью для записей посетителей! Честно говоря, я несколько раз еле сдерживал себя, чтоб не улыбнуться. Но теперь, выйдя на улицу, где над всем вокруг навис густой туман, я почувствовал грусть. Несмотря на большое расстояние, решаю идти пешком, словно хочу ещё острее ощутить в себе светлое и тёплое чувство родины в этом огромном девятимиллионном городе.

Подсчитываю в уме, сколько пар обуви надо будет починить этому армянину, чтобы уплатить за одну строку сообщения в английской газете. Вероятно, сегодня ему придётся работать и ночью, чтобы наверстать потраченное со мной время. Мне неловко за себя, не сумевшего великое увидеть в смешном...

Я это чувствую теперь и, шагая, стараюсь утомить себя, словно пытаюсь загладить свою вину.

ЛЕВОН ЗАВЕН СЮРМЕЛЯН

К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

(Отрывок из романа «К вам обращаюсь, дамы и господа!»)

Сегодня, в канун Нового года, я снова пьян. Я сознаю, что позорю общество, членом которого мне выпала честь быть; позорю Америку, гражданином которой мне выпала честь быть. Дамы и господа, я всегда готов воевать за Америку¹ и не раздумывая отдам жизнь за землю Джефферсона и Линкольна.

Но я обращаюсь к вам, дамы и господа, — как мне быть, если мир мне когда-то казался не больше того переулка, где я родился? Где я со своими армиями одерживал неслыханные победы на быстрой деревянной лошадке. Где рослые мужчины в подбитых гвоздями башмаках продавали овощи, взвешивая их на весах с булыжниками вместо гирь, и зычными, энергичными голосами восхваляли на все лады зелёную фасоль и баклажаны, помидоры и артишоки. А прекрасные деревенские женщины, словно сошедшие с византийских фресок, взвалив на спины корзины с глиняными горшками и кувшинами классических форм, приходили в город продавать молоко и мацун и кричали «Xino ghala!» — «Кислое молоко!».

Я обращаюсь к вам, дамы и господа, как истинный гражданин и патриот Америки, — как быть человеку, если давным-давно мир казался ему сказкой в канун Нового года, а жизнь — прекраснее жизни любого смертного? Когда сцены исчезнувшей, но бессмертной жизни возвращаются ко мне в смягчённых и одухотворённых тонах из призрачной дымки бесконечно далёкого прошлого... Мы втыкали в буханку хлеба большую оливковую ветвь, кололи орешки и навешивали их на листья, а к веточкам прикрепляли маленькие свечки, белые, розовые и голубые. Люди дарили друг другу подарки; мальчики из бедных семей ходили с фонариками из дома в дом и пели старинные праздничные псалмы, а у нас в гостиной в это время красовалась оливковая ветвь с орешками и свечками; на столе лежали горой апельсины, сушёные финики, миндаль, грецкие орехи, яблоки, печенье и конфеты, и комната была залита золотистым светом лампы, и от бушующей железной печи исходило тепло.

Как быть человеку в канун Нового года в Америке, если когда-то, давным-давно, был город, построенный на склонах высокого утёса и по теневой стороне которого, словно по белым ступеням, поднимался к трону Господнему византийский монастырь? Верхушка утёса была плоской, как стол, и, словно ковром, покрыта травой. Мы, школьники, играли и кувыркались на ней, опьянённые благоуханием старого упругого торфа и маленьких жёлтых цветочков, называемых нами «Слёзы Девы». Внизу, на расстоянии девяти сот футов, находилась якорная стоянка; по небесно-голубому простору моря неслись, оставляя за собой потоки брызг, быстрые, с треугольными парусами, турецкие каботажные суда, похожие на огромных белокрылых птиц.

Дамы и господа, жить в Америке здорово! И я вам говорил уже, что всегда готов сражаться за эту страну, но как же быть человеку в канун Нового года, когда однажды, давным-давно, был монастырь, а по-нашему Ванк, построенный в честь Спасителя, который не спас свой народ? Монастырь стоял на холме, опоясанный крепостной стеной, и смотрел сверху на лагерь Ксенофонта, где отдыхали караваны двугорбых верблюдов, идущих по золотому пути от Чёрного моря до Тавриза и обратно. Мы отправлялись в Ванк на несколько дней, чтобы отпраздновать Вознесение господа нашего Иисуса Христа. В древнем монастыре тол-

¹ Эти строки написаны автором в годы второй мировой войны.

пились паломники. Под ореховыми и каштановыми деревьями закалывали великолепных баранов с римскими носами и закрученными рогами, варили их в огромных медных котлах и съедали всей общиной за спасение душ наших умерших. Петушинные бои, состязания в ловкости и борьбе нас, мальчишек, держали в состоянии постоянного возбуждения. Паломники-мужчины из деревень были одеты в плотно обтягивающие рубашки, украшенные на груди патронташами, и штаны в обтяжку до колен, голову элегантно повязывали полоской ткани, концы которой свободно свисали на плечи. Их жёны щеголяли в ярких платьях из вишнёвого бархата и зелёного шёлка и маленьких головных повязках, увешанных золотыми монетами. Они танцевали по кругу под музыку барабанов и волюнок; девушки застенчиво демонстрировали свою красоту, а молодые люди ухаживали за ними, выбирая себе будущих жён. Был слепой ашуг с грустной скрипкой, рифмовавший в песнях мудрые армянские изречения и в метафорах восхвалявший любовь.

Я пьян, я позорю это общество, и поверьте, мне стыдно за себя! Но как мне быть в канун Нового года здесь, в Голливуде, в Калифорнии, когда с оттепелью с высокогорных пастбищ Эрзерума в Трапезунд спускались большие стада овец? Они наводняли улицы и поднимали облака пыли, а пастухи гнали их к гавани. Впереди каждого стада овец шагал авангард гордых бородатых баранов, мудро соблюдавших порядок, с колокольчиками низкого тембра на шеях! Пастухи ходили в овечьих папах и держали в руках длинные посохи с крюками. На шею собак, этих больших мохнатых животных с пушистыми хвостами, надевали железные обручи с шипами, которые рвали глотки нападающим на стадо волкам.

Я отдал свой голос за президента Рузвельта и повторяю, что готов всегда сражаться за Америку. Но как мне быть, пусть я в смокинге и у меня есть автомобиль, как мне быть, когда я вспоминаю булочника, который вёл счёт, делая засечки на длинной палке и взимая плату раз в месяц? Когда вспоминаю продавцов прохладительных напитков, спешивших по узким улочкам, словно прибывших из мусульманского рая, чтобы потчевать правоверных освежающим питьём? Они были в белых одеяниях, с белыми шапками, вышитыми замысловатым цветочным орнаментом; а к спинам они привязывали ремнями огромные медные кувшины с длинными изящными горлышками и украшали их маленькими колокольчиками, которые звенели, когда водоносы размеренно-важно расхаживали по улицам и кричали: «Ледяная пахта! Ледяной вишнёвый шербет!»

Когда вспоминаю венки из полевых цветов и листьев волчегодника, которые в первый день мая надевали на херувимчиков с крыльями, висевших на каждой двери той священной улицы, и как мы отправлялись вместе с сотнями других счастливых школьников в горы за фиалками, а затем закладывали их сушиться в книги. Вам приходилось срывать землянику под кустами орешника? Есть ли что-нибудь божественнее аромата земляники? Или в Америке нет земляники? Где мне найти маленькую ягодку земляники, хоть одну ягодку, которая была бы похожа на трапезундскую и пахла бы как она?

Америка — великая страна... Большая привилегия жить в стране, владеющей восьмьюдесятью процентами всех автомобилей в мире, шестьюдесятью процентами всех телефонов, тридцатью процентами железных дорог и производящей восемьдесят процентов всех фильмов! Но сегодня — канун Нового года, и я вспоминаю своего отца, готовящего за прилавком лекарства. Мой отец был лучшим фармацевтом в мире. На том прилавке стояли два стеклянных шара, и были они наполнены загадочной жидкостью: в одном — чудесного красного цвета, а в другом — голубого. Отец так и не сказал мне, что было в них и для чего они находились там. Когда я его спрашивал, он лишь таинственно улыбался. Кто мне скажет, где найти в этой стране такие волшебные шары? Они преследуют меня. Когда отец возвращался вечером домой, он снимал чёрные штиблеты, садился, подвернув ноги, на тахту, пил ракию и заявлял своей семье, что он английский лорд. После обеда он читал печатавшуюся в Константинополе консервативную газету «Бюзантион» с длинной редакци-

онной статьёй на первой странице, истолковывавшей последние ходы в дипломатической игре между Оттоманской Портой и Великими державами. Я слышу его голос, говорящий «Карра-анте!», и вижу, как он тасует карты, играя в баккара с важными гостями в нашем доме. Он орёт во всё горло, когда объявляет ставку, а мы с мамой с трудом удерживаемся от смеха.

Мне невозможно говорить о своей матери. Её образ смутно мелькнул перед моими глазами этой ночью, и я выпил четыре мартини одно за другим...

Я вспоминаю носки, толстые, грубые армейские носки на длинном голом столе. Это новогодний вечер в Ейске, городе с ветряными мельницами на Азовском море. По всему Мариупольскому заливу слышится гул орудий красной артиллерии; Азовское море замёрзло, замёрзла бесконечная русская степь. Здесь армянский священник с острова св. Лазаря в лагуне Венеции, основатель и директор изгнанного из Трапезунда приюта, осевшего в забытом богом городе Ейске. Мы называли его Вардапет, любили и боялись его. Он говорил на двенадцати языках, и большевистские комиссары, несмотря на то, что он носил чёрную сутану, уважали его. У него была повадка кардинала, он был предприимчив, как те старые иезуиты-миссионеры, которым удавалось проникнуть даже во владения могущественных татарских ханов. Перед ним открывались все двери, и ему удавалось кормить, одевать и учить нас, пока мы скитались в разгар гражданской войны по русским степям, из города в город, из деревни в деревню. Но в канун того памятного Нового года в Ейске он подарил каждому из нас пару русских армейских носков. Я обрадовался, получив их, пусть они были слишком велики, но мне было жаль Вардапета, который всё силился улыбаться нам и быть весёлым. В тот печальный новогодний вечер, прижимая к щеке новые носки, мы задавали себе вопрос, наступит ли когда-нибудь день, когда мы вдоволь наедемся фасоли, чечевицы, гороха, капусты, неважно чего, лишь бы сесть за стол и есть, есть, есть... Нам казалось, этот день никогда не наступит. Мы забывали, что значит быть сытыми, каков вкус белого хлеба.

Я обращаюсь к вам: скажите, как мне быть в канун Нового года в Америке, когда твои друзья детства, школьные товарищи, с которыми ты испытал горе и радость, голод и несчастье, с которыми мечтал в юности, умерли, пропали? Когда ты видишь, как горы, вооружённые серебряными щитами и копьями, проводят нескончаемые военные совещания на границе Кавказа, седовласые воины с белыми бородами, охраняющие границу между Европой и Азией? Когда видишь старую бухточку в далёком Понте, зёрнышки спелого граната, пурпурный каскад благородной глицинии на балконах и ступеньках крыльца, жёлтые розы, вьющиеся по садовым стенам, и зимними вечерами слышишь заунывные крики уличных торговцев кукурузой. Когда хорошенькие девочки, которых ты любил в детском саду или в школе, умерли, и их кости лежат незахороненные, или они живут в неволе, забытые своим народом?

Я не люблю пить. Уверяю вас, я не питаю слабости к алкоголю. Но раз в двенадцать месяцев в канун Нового года мне нужно забыть своё прошлое, новогодние дни далёкого прошлого. Я гражданин Америки, искренне предан конституции и всегда готов воевать за Америку; но я вас спрашиваю — как может человек забыть своё детство? В эту ночь в свободной, счастливой Америке есть миллионы подобных мне людей, чьи воспоминания о прошлом не дают им покоя, но всегда, везде они — самые отрадные. Мир полон печали и воспоминаний, историй, которые невозможно передать, мучительных образов, не имеющих своей истории. Простите меня, дамы и господа... Я должен выпить ещё.

АКСЕЛЬ БАКУНЦ

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ «КИОРЕС»

С утра раздающиеся звуки — лай беспокойной собаки, мычание стада, входящего в город, звон караванов, кашель Нерсес-бея, шум отпираемых дверей лавок, наконец, звуки, постепенно усиливающиеся и несущиеся из кузниц и мастерских жестянщиков, — всё это неприятный шум, подобный тому шуму, который производит оркестр перед поднятием занавеса. Но вот дирижёр поднимает палочку, и оркестр гармонично играет сложную симфонию.

Так после одиннадцати часов, когда городской голова подписывал первую бумагу, беспорядочные звуки города, сочетаясь друг с другом, начинали гармонично звучать, образуя сладкозвучную мелодию. Случалось, что какой-нибудь звук выскакивал из этого шума, как фальшивый звук в оркестре. Случалось, что пастух терял свою собаку в потоке спускающихся с гор людей и скота и тут же на улице кликал: «Алабаш, гей, Алабаш...» На этот крик сейчас же выходил на балкон городской голова, чтобы заглушить этот негармоничный голос, и даже сердился, как чуткий дирижёр. Но тот же людской гул, как поток, заглушал этот неуместный и нескладный клик. И если бы совсем поблизости пропел петух, взбешённый жарой, если бы два шалуна гимназиста, проходя мимо парикмахерской цирюльника Бози, закричали бы: «Цирюльник Бози — свиньячья голова», — и сам почтенный парикмахер старого рынка бросился бы за ними и громко говорил: «Ах, чтобы вашему воспитателю пусто было...» — всё равно ничто уже не нарушило бы ритмического шума города.

Он проникал на рынок семью путями, он нёсся из семи рыночных ворот — канцелярии, городского самоуправления, суда, полицейского управления, податного инспектора, государственного казначейства и дома предварительного заключения. Как ручеёк, этот шум нёсся из глубин мануфактурных магазинов, где зычные голоса горцев глохли... И чем выше поднималось солнце, тем сильнее становилось пение, а когда солнце склонялось к западу, когда возвращались в горы крестьяне и кочевники — эта симфония постепенно подходила к своему концу.

В это время наиболее интересными уголками города были не мануфактурные лавки, не государственные учреждения и даже не Пассаж. В суде судьбы удалялись на совещание, и целый час они не могли найти в кодексе законов ту статью, по которой можно наказать преступника, отрубившего шашкой хвост соседского буйвола, и тогда присяжный поверенный Феоктист Иванович предлагал направить дело на следствие, потому что были крайне неясны обстоятельства преступления... В уездном самоуправлении был тот час, когда Гамза-бей Махмудбеков басом рассказывал неприличный анекдот, а Назар-бей хихикал. Такой час был в городском самоуправлении и в армянской епархиальной консистории, потому что Тер-зи-базум давно уже наложил печать на два свидетельства о рождении.

Даже улицы были спокойны. В тени дерева можно было встретить нескольких крестьян, которые либо ели дыню, либо, разложив купленные товары, вновь считали, беспрестанно повторяя: «Не обманул ли нас тот сукин сын?..» Но неинтересны крестьяне, которые едят дыню, или те, которые, глядя друг на друга, не могут сосчитать, во что обошлась им посконина по двадцать семь копеек за гяз, если они купили пять с четвертью гязов.

В городе в это время самое интересное зрелище было на кухнях, а не в комнатах, где даже Герселья — Ангел со сломанным крылом — кружилась в домашнем платье и не имела того обаяния, которое было, когда надевала шуршащее платье и держала голубого цвета шёлковый зонтик.

Самое интересное было на кухне...

Войдём в ворота дома толстого Нерсеса. Уже у входа чувствуется тот аромат, по которому безошибочно можно судить о том, в каком положении находится долма. В том ли, когда, подобно нераспустившемуся бутону, едва виднеются кусочки розового мяса, когда, постепенно набухая, долма вбирает в себя пар и сок сушёных фруктов и промеж виноградных листьев играют зёрна риса?.. Котёл кипит, пар иногда поднимает крышку, издавая звук «пуф», и крышка, звякая, садится. Это дыхание котла напоминает послеобеденный сон Нерсес-бея, когда он, надувая толстые губы, во сне издаёт звук «пуф».

Возле большого котла расставлены в ряд многочисленные миски, бадьи, сковородки с ручками, медные тарелки, приготовленные для долмы. В одной посудине греется сок айвы и граната, который должен вскипеть только один раз, затем этот сок в цветистой посудине служанка должна отнести в погреб для охлаждения. Он должен быть подан в ту минуту, когда из кухни на большом блюде вынесут долму, и Нерсес-бей зальёт её пар холодным соком граната и айвы. Рядом с ним греется раствор кардамона и корицы, чуть подальше сушится красный хлеб, который Нерсес-бей своими пальцами должен накрошить в жидкий сок долмы. На кухне на других тарелках разложена зелень — сладкий лук, кишнец, кресс, отдельно положены куски белой редьки — не той редьки, которая созревает в один месяц, а той, которая за год едва созревает, но три года сохраняет вкус.

На кухне жена Нерсес-бея ручной мельницей мелет кофе и жалуется, что в магазине французских товаров больше не следует покупать кофе, а следует покупать у Ефрата Ерема, кофе которого очень понравился Людмиле Львовне. Она жалуется, но ухом прислушивается к котлу, каждый хлопок, каждое звяканье крышки которого для неё являются знаками оформления долмы. Хозяйка небольшой черпалкой в руке даёт такт этому сложному движению. Как судоводитель, она ведёт обеденное судно до последней гавани, до...

Но такова была судьба весьма нравственных и знатных дам Гориса, так им было суждено, чтобы пуховые подушки были взбиты, постель была мягкая, обед безукоризненный и обильный, надо было уметь варить кофе и занять гостей до кофе и потом играть в лото или в карты. Это было их уделом, и многие из них не знали даже должности своего мужа, а только знали, что он из крупных работников канцелярии и что выше только два бея — такой-то и такой-то, а остальные все беи — ещё ниже, их жёны — ниже её, а их дети — это уже такое, что им не играть с её детьми. Те могут иметь вишнёвое варенье, а она — айвовое, у них серебряный сервиз, а у неё серебряный позолоченный, — словом, они должны были стоять ступенью выше тех беев, ступенью выше которых был хозяин дома.

Таковы были эти женщины — матери многочисленных детей, распорядительницы кухни, гостеприимные хозяйки. И ещё сколько обязанностей было у них!.. Вот из двух окон, расположенных друг против друга, переговариваются две такие хозяйки:

— Варсеник, почему это у вас всю ночь свет горел? Поздно ушли твои гости, что ли?

— Какое поздно, без четверти двенадцать ушли, милая. Жарко было, жарко... Чуть сердце не лопнуло.

— Э, говоришь, жарко... Тебе хорошо. Хочу поехать в Шушу, говорят, приехал профессор Богатуров... По женским болезням он хорош...

— Счастливая ты... Я бы тоже поехала, если б не ребёнок...

Закрывают окна, и обе милые соседки шепчут по адресу друг друга:

— Чтоб тебе пусто было! Как же, пошлёт тебя муж в Шушу... Ребёнок только предлог для тебя.

— Твоему пожелтевшему лицу Богатурова не доставало...

И только можно удивляться, как умны были эти женщины и как энергичны, что после стольких хлопот они ещё находили время перейти на улицу, чтобы попробовать варенье у соседки, того варенья, способ варки которого из города привезла Варвара Минаевна, госпожа Варенька, Вари-баджи, как её называла прачка Мина. Они находили время перенять

фасон пелерины последней моды, даже заходили к дамскому портному Мацаку якобы случайно, но с целью увидеть ту кофту, которую заказала госпожа Оленька и о которой так много говорили в доме Лалазаранц. И о чём они не высказывали свои мнения, и каких только мнений они не высказывали!..

— Студент Рубен очень ошибётся, если женится на Герселии. Нутро у неё нездоровое...

— Сын Амбурова не ладит с мачехой. Говорят, священник Завен пошёл мирить их...

— Старшая дочь Саака Сергеевича распущенна. Вчера вечером её видели на бульваре с русским офицером...

— Э, времена изменились, развились они, просветились... дети-то наши, и не нравимся мы им...

— Поделом жене Саака Сергеевича, поделом... Говорила я, не посылайте дочь далеко, испортится, а она: мол, пусть кончит учение, врачом будет. Ну, теперь пусть станет врачом... Станет, как же!..

Такие мнения высказывала также госпожа Варсеник, не только из окна беседуя с соседкой или с этой целью идя в гости в какой-нибудь дом, где друг с другом обменивались слухами, брали займы сплетню, как брали керосин, потому что днём забыли купить, на время брали сплетню, как не раз брали у соседа медное сито для процеживания плова. Госпожа Варсеник этим делом занималась даже на кухне, в самую ответственную минуту приготовления долмы, когда сильный огонь или лишний раз взятая проба могли испортить всё...

Но дарование госпожи Варсеник в том и заключалось, что она могла хаять кофе из магазина французских товаров и одновременно вынуть из огня головешку, от жара которой сок граната и айвы мог бы почернеть. Госпожа Варсеник рассказывала своей служанке:

— Говорят, третьего дня женщина одна пошла за банджаром¹, дошла до ущелья Матура... Да, чтобы не забыть, поставь кувшин с вином в ручеёк да нарви несколько дамбулов² с того крайнего дерева, — а сама в это время поднимает крышку котла и по пару, запаху, вернее — по кипящей жидкости узнаёт, что творится в глубине котла.

— Идёт, папа идёт, и с ним человек один, — крича, вбегает маленькая дочь госпожи Варсеник, которую мать поставила сторожить на углу улицы.

— Идут! — кричат дети, как если б матросы крикнули: «Земля видна, земля!..»

Тут талант госпожи Варсеник поднимается до высот совершенства, до высот настоящего искусства домашней хозяйки.

— Отставь котёл в сторону.

И для гостя она ставит такую же чашку, какую поставила для мужа.

— Достань редьку из воды.

При этом она спешит в пять минут переменить платье, привести себя в порядок, поправить пояс у младшего сына, напомнить дочери, что нужно поздороваться с дядей Назаром, но в этой суматохе забывает сажу на большом пальце, которую заметит вечером, когда будет продолжать рассказ о женщине, которая третьего дня пошла в ущелье Матура...

По приходе Нерсес-бея и его гостя — Назар-бея — обед не начинался сейчас же, хотя Нерсес-бей, ещё когда писал рапорт, почувствовал голод, вернее — ему ударил в нос запах долмы, подобно тому, как пушинка из подушек госпожи Оленьки долетела до суда и села на бровь бедного письмоводителя.

Однако были неминуемы церемонии, как редька была обязательна для долмы. Из этих церемоний самая величественная совершалась в саду, когда Нерсес-бей своими собственными руками искал в огуречных кустах два-три маленьких огурца с ещё не отпавшими цветками, с мелкими ворсинками, как детский пушок, тот нежный огурец, который тает во рту,

¹ Банджар — крапива.

² Дамбул — слива.

чтоб похвалить который, Нерсес-бей не скупился на нежности: пикулия, кулилия, пицимици Багдасар, Клапидон Иванович и подобные ласковые слова, из которых некоторые в нужный момент направлялись в адрес госпожи Варсеник. Но вот он нашёл те огурцы, которые, как говорил Нерсес-бей, бог послал на землю одновременно с караунджской водкой, чтобы не скучала человеческая душа...

И обед начался...

Начинался тот обед, после которого служанка госпожи Варсеник звала прачку Мину, и они вдвоём вместе мыли в ручейке золой блюдца, кастрюли, большие и малые тарелки... И до захода солнца они мыли. А в доме, в прохладной комнате, разлёгшись на диванах, спали Нерсес-бей и Назар-бей, госпожа Варсеник шла узнать, не подгорела ли гата госпожи Вареньки, старший сын тайком от папы курил под ореховым деревом, младший рвал крылья бабочки, старшая дочь, кто знает почему, глядела в окно на улицу, а младшая грозилась сказать папе, что Жоржик курил, и маме сказать, что старшая сестра опять не отходила от окна.

На дворе было тихо. Слышались только звяканье посуды и монотонные «пуфы» Нерсес-бея, как будто ещё кипела долма в котле.

МУШЕГ ГАЛШОЯН

ЭТИ СТАРЫЕ И НОВЫЕ ДНИ

— С Новым годом, дед!

— Дед...

Мои племянники — мальчики, девочки, постарше и совсем малыши — все причёсанные и умытые, с мокрыми волосами, врываются в комнату к моему отцу и окружают его.

Отец сидит у печки, сложив руки на коленях, и из далёка своих девяноста лет смотрит в окно затуманенным взором. Окна выходят на юг — это отец знает наверняка, то есть знал когда-то. Сейчас, в эту минуту, я не уверен, что он помнит, где он находится, куда смотрит и кто трогает его правую руку, покоящуюся на колене.

Дети по очереди подходят и пожимают ему руку.

— С Новым годом! — кричит Арташ.

— Это ты, Ашот? — откликается мой отец.

— Да, дедушка, — Ашот выходит вперёд, — поздравляем с праздником.

— Ты что здесь делаешь, Ашот? А кто же ягнят погнал в горы?

Очень давно, когда мы строили этот наш дом, отец настоял, чтобы все окна выходили на юг, тогда он ещё рассказывал интересные истории про свой Эргир¹, всё честь честью, и часто вспоминал пастушонка Ашота, ловкого малого, который утром в праздник Вардавара² поднялся с ягнятами на Чёрную гору, да так и не вернулся с ними назад...

— Кто погнал ягнят? — снова спросил отец.

— Какие ягнята, дед? Нет у нас никаких ягнят. Сейчас зима, Новый год! — крикнул Ашот деду прямо в ухо.

— Новый год?

— Да, дед.

— Айлээ, — покачал головой отец и попытался сесть поудобнее. — В эти новые и старые дни, в эти замшелые дни живите без войн и напастей, — сказал дед певуче, словно благословляя нас, и Ашот сунул ему в руку стакан водки. — Какой нынче год?

— Семьдесят четвёртый.

— Семьдесят четвёртый?.. Мушег здесь? Мушег, в стране спокойно?

— Спокойно, — отвечаю я, и дети моих сестёр подтверждают мои слова.

— Да, дедушка, всё спокойно.

— Спокойно? А нигде не стреляют в нашем Эргире? — Отец взял прислонённую к стулу палку, попытался встать, но почувствовал — что-то ему мешает. — Что это? — Он взглянул на свою руку, крепко сжимавшую стакан.

— Стакан с водкой. Выпей, дедушка, это водка.

— Водка? — Отец сделал глоток, потом снова опустил руки на колени и устремил взгляд в окно.

Немного погодя он спросил:

— Мушег, много в этом году водки у Тонэ?

Когда-то, много лет назад, отец рассказывал длинные истории о своём Эргире, вспоминал, как его младший брат Мушег, бывало, отбирал несколько овец, гнал их вниз, в Мушскую долину, к дому Тонэ, и через пару дней возвращался с бурдюком водки на плече.

¹ Эргир — искаженное армянское «еркир» — страна. Так называют герои книги свой родной край — Сасун в Западной Армении.

² Вардавар — праздник Преображения.

— Мушег, — снова спросил отец, — чем бы нам засеять в нынешний год поля Цовасара? Ячменем или просом?

— Э-э, Овэ, да не разрушит бог твой дом, — о чём это ты говоришь? — сказал Григор, земляк отца, и покачал головой. Потом вдруг запел страстно: — «Над Сасуном вился дымок, ой, Нубар...» Пляшите, дети, — в ритме песни воскликнул дядя Григор. — «Сасунские горы, кремнистые горы, ой, Нубар». А ну, веселей, малявочки мои пригожие, — подбодрил дядя Григор. — «Девушки в пёстрых передниках, ой, Нубар, пастушки с зелёными хворостинами, ой, Нубар, подымутся весной на гору Цовасар, ой, Нубар, ой, Нубар, Нубар, Нубар...» Овэ! — крикнул земляк отца, — сколько тут у тебя внуков?.. Пляшите, милшечки, голубенькие пташечки. «Через поле текут две речки, ой, Нубар, одна — Мурад, другая — Меграгет, ой, Нубар, Нубар, Нубар...»

— Мушег? — сухо произнёс отец. — Поёшь, да? Танцуешь? — сварливо добавил он. — Сегодня, когда решается вопрос жизни и смерти, ты поёшь и пляшешь?

— Что такое, Овэ? — заорал земляк отца. — Чего тебе надо?

— Ну разве это можно сказать? — ответил мой отец ворчливо, с упрёком в голосе. — Не вчера ли сломался наш лемех? Где это видано, чтобы у детей Галшоенц Манука плуг стоял без дела? Что ты ответишь отцу, когда он ночью спустится с горы, а, Мушег? — сердито спросил отец. — Быстро встань! Какой ответ будешь держать перед Исро, когда он спустится с горы?

— Дедушка! — закричал в ухо отцу Абраам. — Какой плуг, какой лемех? Новый год сейчас. Новый год!..

— Новый год?

— Да, дедушка, Новый год!

— Айлээ! — из своей дали, с подножия горы Цовасар вернулся отец к нам. — Эти новые и старые дни... Эти замшелые дни. Мушег здесь?

— Да, дедушка, здесь он.

— Мушег, на свете всё мирно?

— Мирно, отец.

— Вот и хорошо, бог в помощь, детки. Значит, мирно, да? Слава Всевышнему.

ВАНО СИРАДЕГЯН

СЧАСТЬЕ ТЕРЕЗ

Терез пишет сестре подробные письма. В каждом письме какая-нибудь интересная новость из городской жизни. Да взять хотя бы дом, в котором они сейчас живут, один только этот дом, который может вместить целое село, живёт бурной, полной событий жизнью. Терез, во всяком случае, так кажется; полтора года уже она живёт в городе, и всегда есть о чём писать. Город большой, народу в нём тьма, жизнь бьёт ключом. И хотя Терез по нескольку дней не выходит из дому, а если выйдет, то в магазин только, но глаза же у неё есть и она видит, что во дворе и на улице делается... Вот об этом-то и пишет Терез в письмах. Пишет на всех четырёх страничках двойного листа, выдранного из ученической тетради. Если несколько строк на последней странице нечем бывает заполнить, Терез письмо не запечатывает и, покусывая кончик ручки, высматривает из окна, нет ли там чего, заслуживающего внимания... И добавляет: «Ну как вы там, сестрёнка, мы живём очень хорошо, чего и вам желаем».

Дописав письмо до последней строчки, Терез с удовольствием облизывает края конверта, запечатывает его, придавливая кулаком и, если конверт не «авиа», приклеивает ещё одну марку и на видном месте пишет жирными буквами «авиа», хотя почту в их село никогда не доставляют самолётом. У Терез под рукой бывают и авиаконверты, но надписать собственной рукой «авиа» — особое удовольствие. Другое дело, что Терез по-русски ни бум-бум и вместо «авиа» пишет «авия», и неважно, что письмо так и так идёт неделю. И не для того, чтобы выиграть время, приклеивает она вторую марку — для пущей важности. Чтоб шикарнее было. Счастье Терез должно чувствоваться уже по одному конверту.

Полному счастью её мешает только одно — то, что у них с Сааком нет своего угла. Во всём остальном «мы настоящие горожане, сестрёнка», пишет Терез в письмах. И то сказать, одеты, обуты, и еда вполне, в кино, в театр ходят, на концертах и в цирке бывают, чем они хуже других? Правда, когда городской транспорт перешёл на талонную систему, дневная выручка Саака сильно поубавилась, но зато повысилась зарплата, и, если бы не шесть красных червонцев, которые каждый месяц идут за квартиру, жили бы они припеваючи, ничем, ну ничем не хуже других.

Один раз в неделю Терез пишет письмо, остальные шесть дней ждёт ответа. И вообще Терез с утра до вечера, день-деньской тем только и занята, что ждёт. Ждёт, когда Саак вернётся домой с работы, ждёт, когда ему дадут новый автобус, ждёт, когда они получают квартиру, что может протянуться бог знает ещё сколько, ждёт, когда повысят мужу зарплату, что тоже может протянуться не знаешь сколько, ждёт, когда придёт ответ на её письмо, ждёт дня, когда надо писать письмо, ждёт Нового года и весны, лета и осени, ждёт, когда у них родится ребёнок и когда они купят холодильник... Ждёт спокойно, безмятежно ждёт. Вот так, сложив руки на своём трёхмесячном животе, приставив стул к окну, устремив мечтательный взгляд на улицу, прислушиваясь к дверному звонку, к струйке воды, охлаждающей пиво, к тому, кто живёт у неё внутри, к голосу счастья в ней — сонному, мерно дышащему.

Что шепчет этот голос Терез? Что придут и пройдут денёчки, что пройдут годы и у них будут два мальчика и две девочки, что Саак станет водителем такси, будет ходить на работу в галстук, они получают квартиру и будут откладывать в месяц по шестьдесят рублей, станут владельцами «Жигулей», дом станет у них что надо, и дети её сестры, дети сестры и брата Саака, если приедут в город учиться, будут приходить к ним, к своим родичам, за теплом и лаской, поесть и согреться, и, может статься, молодые семьи, такие, как они сейчас, прибегут занять денег у Терез, того-сего попросят, и Терез никому ни в чём не откажет... у них

всегда будет множество гостей, они чаще будут принимать гостей, чем сами ходить в гости, потому что у них в доме будет достаток и они не ударят лицом в грязь... И что придёт время, теперешний халатик будет тесен Терез, её пухлой фигуре хозяйшки, матери четырёх детей больше пойдёт цветастый шёлковый халат. И в этом шёлковом халате Терез будет крутиться, хлопотать возле стола, за которым будут сидеть соседи и родственники, Терез будет крутиться возле стола, уставленного всякой едой и выпивкой, и с улыбкой на лице, вся сияя, скажет: «Извините, что ничего особенного нету, отведайте чем богаты, извините, если что не так, угощайтесь...»

Терез была на седьмом небе от счастья, когда шли приготовления к хашу. Об этом хаше она мечтала с первого дня переезда в город. И, когда пять месяцев назад они перебрались из полуподвала на дальней окраине в эту квартиру, когда Терез увидела большую застеклённую дверь во всю прихожую, когда увидела газовую плиту с природным газом и молочно-белое бедро умывальника, когда она увидела всё это, первой мыслью её было, что теперь-то уж ничто не помешает ей приготовить хаш. Оставалось, чтобы Саак обзавёлся друзьями, и, конечно, с соседями надо было наладить отношения... То есть надо было, чтобы к ним отнеслись, как к приличной семье, а не временным бездомным кочевникам. И когда Саака самого стали приглашать на шашлык и хаш, письма Терез стали ещё живее. Правда, каждый раз Саак несёт с собой выпивку, необходимо и потратиться, если хочешь обзавестись своим кругом. У Саака и отец, и дед были такими людьми, имели своё окружение.

Был самый плохой месяц — февраль, когда ничего нет. Терез отправила Саака на рынок за лавашем и редисом, у соседей взяла недостающую посуду и в субботу вечером поставила на плиту хаш, ножки то есть телячьи, которые целых три дня чистила. И всю эту субботнюю ночь супруги не спали. После медового месяца это была самая длинная их ночь. Терез в ночной рубашке вылезала из постели, шла на кухню и, вернувшись, шептала мужу про хаш, про любовь, про завтрашний праздничный день.

Хаш удался на славу. Разные мелкие неприятности случились всё же — солонки на месте не оказалось, чесночная подливка жидкая вышла, тарелок не хватило, стакана... Но эти мелочи нисколько не огорчили Терез, Терез от своего угощения была в восторге. Единственное, что ненадолго отрезвило Терез, — оплеуха Саака, доставшаяся ей на кухне. Так себе оплеуха, между прочим, просто — когда муж хорошо поел-попил, жене непременно достанется разок после ухода гостей на кухне за все недоделки, за излишний восторг, за ненужные улыбки... И Терез так всё и поняла. Отнесла пощёчину эту к мелким подробностям праздничного дня и улыбнулась. Какой-то другой улыбкой, предназначенной для него, немного бесстыжей улыбкой. За эту улыбку Саак отвесил ей ещё одну оплеуху. Терез защитилась, припав к мужу, обняв его, и отложила мытьё посуды на другое, более подходящее время.

А когда они пришли в себя, когда отошла сонливость, когда они поднялись с постели, был десятый час вечера. Терез была в таком расслабленном состоянии, что только на письмо её и хватило. В другой раз перед тем, как сесть писать, она бы из конца в конец прочла последнее письмо сестры, чтобы ответить на все вопросы. Но события прошедшей недели были так значительны и так их было много, что Терез должна уже написать не ответ, а вполне самостоятельное, независимое письмо. И Терез написала такое письмо. И это было не письмо, а взволнованный, бессвязный, заикающийся лепет только что заговорившего ребёнка, что-то совсем восторженное, смысл коего заключался в том, что Терез... что Саак, что они... да что голову тебе морочить, сестрёнка Терезина, они счастливы, чего и вам желают!

Утром Терез проснулась от стука в дверь. Воскресная радость продолжалась во сне, и

этот ранний стук показался ещё сонной, не до конца проснувшейся Терез предзнаменованием чего-то хорошего, по всей вероятности, связанного со вчерашним угощением, с довольными и такими симпатичными лицами соседей.

Застёгивая на ходу халат, радостно улыбаясь, Терез несла на губах «доброе утро, заходите, пожалуйста» и не думала о том, почему это в дверь стучат, а не звонят. И Терез никак в толк не возьмёт, почему у матери с дочерью, живущих этажом ниже, лица искажены злобой, почему мать и дочь тащат Терез вниз, заводят к себе и подталкивают к стене, к стене, к стене...

Терез протирает глаза, с удивлением просыпающегося ребёнка смотрит на их мебель, на их незаправленные постели и невольно ищет следы мужчин, тех самых мужчин, которые, как тени, незаметно входят-выходят через эти двери. И, пока Терез мучает вопрос — в этом дурацком положении она только об одном думает, кто из этих мужчин к которой приходит, — в это самое время мать и дочь вплотную подводят Терез к стене. Почему? Почему они кричат? Почему их стены мокрые, их ковёр отяжелел и хочет сорваться с петель? Какое отношение имеет ко всему этому Терез? И какая связь между этим и вчерашним праздничным днём, вчерашними искрящимися взглядами, которые за хашем бросали на хозяйку мужчины: мол, спасибо, хозяйшка, за хаш, за то, что он такой густой, а лаваш такой тонкий, да и вообще Терез не виновата, что у этих в доме нет мужчины, которого можно было бы пригласить на хаш. Терез разве не хотела бы ещё одного хорошего соседа-друга?.. И, пока мать и дочь кричат Терез в лицо, что, видно, она в хлеву жила, что там ей, дикарке, и место, и всякие другие оскорбления, и пока они толкуют о каких-то деньгах, пока говорят, перебивая друг друга, в сознании Терез вспыхивает печальная догадка, что всё это связано со вчерашним хашем... И вдруг Терез с криком выскакивает от соседей, взбегает по лестнице, влетает в кухню и видит залитый водою пол и мойку, заваленную грязной посудой...

В этот чёрный понедельник, не смея взглянуть мужу в глаза, то и дело сморкаясь в платок, Терез отсчитала пятьсот рублей — все их сбережения за год — и с болью в сердце отдала потерпевшим. Мало, сказали мать и дочь. Но ведь и они армяне-христиане, в конце концов. И эта малость, которую унесли армяне-христиане, эта малость, которая, как мечтала Терез, должна была потихоньку увеличиваться и стать кругленькой суммой, ускорить их очередь на квартиру, ровно на год отодвинула её мечту. И, значит, вся радость предыдущей недели вышла им боком.

Вот уже больше месяца Терез не пишет писем. Вот уже несколько недель Саак ищет комнату в новых квартирах. Своего отчаяния он жене не показывает, стыдно, жена вон как держится. И Саак хозяевам уже не говорит, что их двое, муж и жена. Эта полуправда им дорого стоила. Уже три раза хозяева, увидев живот Терез, их имущество погружали обратно на машину. В первый раз это случилось в том же самом квартале, где Терез уже создала, почти создала великолепное окружение. От этого окружения Терез оторвалась с таким огорчением. Но пришлось, потому что мать и дочь, не довольствуясь полученным, наговорили хозяевам Терез (они в другом месте жили), пригрозили им, что отберут у них квартиру, поскольку, выясняется, она им не нужна, а они, мать и дочь, десять лет ждали своей квартиры и теперь не позволят каким-то жившим в хлевах лить им на голову воду, а завтра ещё неведомо что...

Потеряв эту симпатичную однокомнатную квартирку с балконом, выходящим на Арагац, с окнами, глядящими на Арарат, они нашли в том же районе комнату на девятом этаже, самую маленькую комнату в трёхкомнатной квартире, и Терез подумала, что проживут они тут, наверное, недолго. Но получилось слишком даже недолго. На второй день рано утром хозяйка с двумя детьми, уцепившимися за её подол, явилась прямо в ночной рубашке. «Познакомимся, — сказала, искоса посмотрела на живот Терез, ещё раз посмотрела и, удостоверившись, оторвала детей от подола и отдельно сказала: — С детьми не пущу, мне и

своих достаточно».

Три раза повторилось такое. И Саак теперь хозяевам говорит, что их трое. И все двери захлопываются перед носом Саака. Глядя на живот Терез, растущий день ото дня, Саак вконец отчаивается, но своего отчаяния жене не показывает, потому что как же, его жена держится. А у Терез терпение — истинно терпение насадки. Терез ждёт. Ждёт квартиры с центральным отоплением, с уютной кухней, с ванной, с водой, горячей и холодной. Терез не для того переехала в город, чтобы жить на какой-то там окраине и пользоваться печкой. И месить грязь по дороге к уборной... Терез хочет городскую квартиру, городских соседей хочет, одним словом, хочет жить, как городской житель. Чего только не хочет Терез. И обо всём этом она хочет написать письмо сестре.

Но сейчас Терез писать не о чем. Даже адреса у неё нет своего. Терез живёт в семье дяди, временно, конечно, живёт, и потому адрес дяди — не её адрес, дядюшкины соседи — не её соседи, обед, дымящийся перед мужем, — не её обед. И даже муж, который сидит, весь напрягшись, и, стесняясь, ест обед, не её муж, потому что у Терез нет дома. И в этом чужом доме у неё не хватает смелости остудить пиво для мужа, зайти к соседям. Ни в гости пойти, ни гостей позвать — ничего не может Терез.

Так о чём же ей тогда писать?

И, значит, пусть простит сестра, что Терез на её письма отвечает мысленно. Каждый день она начинает в уме новое письмо и откладывает его на завтра. День становится неделей, неделя месяцем, но Терез не пишет, потому что письма её сейчас грустными получаются. Какими-то слишком грустными.

И пусть сестра наберётся терпения, пусть не спрашивает каждого приезжающего из города, что это с Терез случилось, молчит почему. Ничего не случилось, Терезина сестрёнка, ничего плохого не случилось. Они с мужем живы-здоровы. Дела немножечко не так пошли, с кем не бывает, но писать об этом не стоит. Дай бог, и Терез с мужем когда-нибудь заживут своим домом...

ДВЕРЬ

Маис был махоньким мужчинкой с махоньким юморком, и была у него мечта, вполне соответствующая его габаритам, — он жаждал заиметь «Запорожец» и ездить на нём на работу, ну и, разумеется, с работы домой, а в свободные часы мыть и обихаживать автомобиль, в свободные же дни, то бишь в воскресенье, выезжать с семьёй за город, а там, глядишь, и на море махнули, кто знает, на Чёрное, может, даже море. Почему бы и нет, думалось ему, машина как машина, маленькая, правда, с жука, и двигатель не спереди, чтоб приглядывать, по дороге деталь, скажем, может потеряться, а ты и не заметишь, и всё же — машина, не велосипед, машина — четыре колеса. Четыре колеса плюс уверенность Маиса в том, что с таким, как он, человеком, зарабатывающим на хлеб честным трудом, — с таким по дороге ничего не может случиться, бог убержёт.

Автомобиль был нестареющей мечтой Маиса. Каждый раз осуществлению этой ничтожной мечты что-нибудь да мешало, и Маис жил, наступая на пятки собственной мечте, держа её, впрочем, за хвост, крепко держа... Пятнадцать лет назад он получил любительские права и хранил водительский билет вместе со всякими документами, со счетами и квитками за электричество, газ и прочие коммунальные услуги в шкатулке швейной машины, и каждые пять лет шёл и наново сдавал экзамен. Тем временем он (совсем как его отец) породил множество детей, и откладывать деньги стало почти невозможно. Вклады его на книжку делались всё реже и случайнее, они ложились на старый счёт нехотя, словно листья позднего осеннего листопада. Автомобиль же с каждым днём делался всё совер-

шеннее и, соответственно, дорожал. Но Маис не сдавался. Каждый раз, когда подходила его очередь на машину, он уступал её другим. Влезать в долги не желал. Хотелось купить машину на свои кровные, чтобы радость обладателя машины не была омрачена тоской должника.

С этой немеркнувшей надеждой в груди двадцать лет из сорока лет своей жизни он работал рядовым наборщиком в типографии, где печатались многотиражки, разные конторские бланки и прочая белиберда, а иногда, так сказать, негласно, внутренним порядком — свадебные пригласительные билеты или же визитные карточки для тех, кто причислял себя к касте выдающихся личностей — чтобы выдавить имя такового золотыми буквами, в типографских сусеках наскребалась горстка бронзовой краски. Понятно, что Маис с подобного рода заказами не имел ничего общего. И вообще никакой левой работы он не брал, впрочем, никто ему такие дела и не поручал, единственным исключением был, пожалуй, футбольный бюллетень, четыре странички которого он, сверстав, старательно набирал целых два дня и накануне игры, вытащив из станка несколько экземпляров, приносил домой, раздавал соседям — и те днём раньше узнавали боевой состав завтрашней игры. И Маис в глазах соседей обретал вес, как если бы он, скажем, был тренером команды.

В дни футбольной лихорадки Маис слегка выходил из берегов. Во всё остальное время он двигался и работал неторопливо, в одном ритме, и только по дороге на стадион, куда шёл с десятикопеечным билетом в кармане, полученным за печатание бюллетеня, — такие билеты раздаются ученикам спортшкол — с чувством превосходства человека, более или менее причастного к закулисным делам (отсюда и чувство превосходства над прочими болельщиками) — тогда только, шагая с толпой в ногу, он позволял себе иной раз убыстрять шаг.

Так было всегда. Во всяком случае, до того дня, когда с Маисом приключился тот случай. То есть нет нужды так уж всерьёз считать, будто с Маисом могло случиться что-то из ряда вон выходящее. С такими, как Маис, людьми разве что-нибудь случается? Либо случается, либо нет. Под словом «случай» мы должны понимать нечто неожиданное, неожиданно хорошее или же, наоборот, неожиданно плохое. Но чтобы подвергнуться тому или другому, надо совершить поступок и ждать, как ответа, расплаты. А Маис никаких таких поступков-проступков себе не позволял. Что жизнь пошлёт, тем и владел, сам себя под удары не подставлял и милостыню не просил — пошли, мол, бог случай, — нет. Ну а такой человек, если он застрахован от одного, соответственно лишён и другого, хотя, если подумать, что значит позволить или не позволить, что значит быть застрахованным от чего-то — ровным счётом ничего всё это не значит.

И посему с Маисом это самое случилось.

Приветливый и скромный, с комплекцией несовершеннолетнего юнца, — про Маиса никто бы не сказал, что это отец взрослых детей, а между тем в четверг, придя домой с работы, он взял в руки повестку, пришедшую на имя призывника-сына. Что тут, скажите, неожиданного? Восемнадцать лет исполнилось парню, так и так не сегодня завтра должны были призвать, и Маис в последнее время говорил сыну: «Не захотел учиться, пойдёшь в армию, узнаешь, почём фунт лиха», — он говорил то, что сам когда-то слышал от своего отца, что говорят все отцы своим призванного возраста сыновьям-шалопаям, этим разбойникам, сорвиголова-сыновьям, не пожелавшим ломать голову над наукой. Говорить-то Маис всё это говорил, но уже и подумывал о прощальном застолье, о проводах. И думал, что зайдёт на днях в сберкассу и из имеющихся на счёте двух тысяч снимет шестьсот или семьсот рублей, чтобы накрыть приличный стол и парню в дорогу сколько-нибудь с собой дать. И всё же эта повестка потрясла его. Не сразу. А значительно позже, потому что повестка — это ещё не сам случай, а нечто само собой разумеющееся, которое и новостью-то даже не должно было явиться, поскольку знали и ждали. И, собственно, молодой отец дол-

жен был гордиться, глядя на подросткового первенца. Маис на самом деле был горд. Перед тем, как сесть за ужин, послал младшего в магазин за водкой. Потом сел со старшим за стол пить эту водку, упрекнул того, что чадо водку водой запивает, «не по-мужски это, — сказал, — поганишь только водку», а уж после этого впервые сел играть с сыном в нарды и проиграл ему, удивился, ещё проиграл, и снова удивился, и в третий раз проиграл и обиделся на зары и на судьбу, но всё же лёг спать в хорошем расположении духа. И со сдержанным умилением, достойным молодого отца призывника, он стал вспоминать всё, что было с сыном, начиная с самого детства. И тут Маис взроптал. Потому что откладывать на машину он начал с той самой десятки, которую своею рукой торжественно бросил в гипсовую копилку в тот самый день, когда сын сделал свой первый шаг. Маис помнил, как протолкнул в гипсовую статуэтку, в щёлку на затылке фигурки, сложенную вчетверо и ещё раз десятку. Вот с этого-то воспоминания и нарушился покой Маиса. «Не человек ты», — сам себе сказал Маис. Но этого ему показалось мало. «Не мужчина ты», — сказал он, но и этого было явно недостаточно, и он сказал шёпотом, словно бы самому себе на ухо, неуверенно, неубеждённо сказал, потом повторил вполголоса: «Плохой ты отец, никудышный...» — и в собственном голосе услышал жалость и презрение к тому существу, которое звали Маис. И пошло-поехало. Он лежал в постели без сна, с возрастающим к себе гневом, и горько размышлял: «Вот мужчина, — думал он, — у которого взрослый сын-призывник, и он ничего не сделал для этого сына, ровным счётом ничего. Не смог сдержать слова, данного себе и своей семье. И обещано-то было не невесть что — металлический лом на четырёх вертящихся и катящихся колёсах, который давно уже, будь он мужчиной, надо было бы выбросить вон и заменить другим приличным автомобилем. Но и этого у него, и этого-то первоначально задуманного дерьма не было. И виновата не судьба была и не шестеро детей, а его лень и полная безответственность перед семьёй. Виной всему была его проклятая страсть к выпивке...» Найдя корень зла, Маис выругал себя как следует, матюгнувшись и проклял погибельную привычку каждый день после работы выпивать вместе с товарищем, тоже наборщиком, по две бутылки пива в магазине «Воды», что было его единственной слабостью, единственным развлечением и времяпрепровождением в безрадостные нефутбольные дни, единственной формой его самостоятельного существования в этой жизни, целиком и полностью посвящённой семье и работе. И поскольку существование это было жалким и поскольку убогость не имеет оправдания, он убого же отворотил лицо к стене, задыхаясь от ярости и бессилия.

Тупым и мрачным было воодушевление Маиса — он пошёл дальше и произвёл в уме расчёты, помножил дни на копейки, копейки на дни, месяцы обратились рублями, годы — сотнями рублей, и вышло, что он за этот промежуток времени незаметно выпил пива на три тысячи рублей, и что на эту сумму, страшно подумать, в своё время целых две машины можно было купить, не то что одну. А если бы ещё и не курил, если бы ездил на автобусе, а не в маршрутном такси, если бы временами не садился, обнаглев, на такси, если бы во время дружеских попок в ресторане не было бы пагубной слабости первым доставать деньги из кармана и спешить расплатиться, если бы, наконец, он... не жил, ну да, не жил бы вовсе на свете, а что...

Маис угодил в больницу неожиданно, как скошенная трава, сын не успел даже первого письма из армии прислать. Три недели прошло со дня проводов. Эти три недели были самыми мучительными в жизни Маиса, самыми несносными для него и остальных домочадцев. Домашние растерялись — весёлый, приветливый — за словом в карман не полезет — краснобай превратился вдруг в раздражительного угрюмого субъекта, сущее наказание для семьи. Первую неделю, когда он стал работать внеурочно, домой возвращался затемно, садился, насупившись, за стол, за обедом пива не пил, курил дешёвые, со скверным

запахом вонючие папиросы, усевшихся на колени детей гладил машинально, без ласки и тепла, на вопросы не отвечал или же отвечал гримасничая и в доме передвигался так, словно находился у одра умирающего. За внеурочными последовали ночные дежурства в бойлерной, и домочадцы почти перестали его видеть.

Это был скрытый период болезни. Удар не заставил себя ждать. В холодный декабрьский день разбойничающий вместо снега ветер отыскал его на пороге бойлерной в одной рубашке, невыспавшегося, подавленного, вышибленного из колеи, и поскольку в душе у него не оставалось никаких сил для сопротивления, чтобы беда, ударившись об него, обошла-отскочила, — ветер пронизал шампуром его грудь, прошёл сквозь лёгкие и, сделав дело, умчался дальше в дебри зимы.

Но Маис выжил. Пережил трудное возвращение к жизни.

В нескончаемые белые больничные дни у него оказалось достаточно времени, чтобы поразмыслить о жизни, и вот до чего он додумался. Жизнь не должна была дать ему больше того, чем было ему отпущено. И надо было, наверное, дойти до порога, до края, чтобы понять эту простую истину. Вообще надо, наверное, чтобы каждый хоть раз в жизни, прежде чем покончить счёты с жизнью, заключил себе приговор. Чтоб, сидя на краю собственной могильной ямы, глянул в бездонную пропасть, в эту тьму, оглянулся на прожитую жизнь и довольствовался своими буднями, тем, что было, и тем, что будет ещё, — пусть проберёт его и пусть он захочет жить так, как жил до сих пор, это всё равно как если бы ты вновь захотел пережить своё горькое трудное и прекрасное детство.

Для того, чтобы понять раз и навсегда эту истину, надо было очутиться вдали от привычной повседневности и посмотреть на свой дом и близких со стороны. Ничего в мире не изменилось и, казалось, не собиралось меняться. Те же были утра, рассветающие под шаги спешащих на работу в утренней тишине мужчин. Те же дни, сонливые и молчаливые в кропотливом труде, те же вечера — с аппетитным щёлканьем вытаскиваемых во двор по весне нард и с перебранкой игроков, усевшихся играть в эти самые нарды, с выкриками свесившихся с балконов женщин, призывающих своих чад домой, и с детворой, снующей по двору и безучастной к этим призывам...

А он должен был умереть, и с его смертью ничего на свете не изменилось бы, не изменилось бы ничего даже в жизни этого пятиэтажного дома. Разве что ещё одни похороны легли бы хлопотами на жильцов дома — временное неудобство, пока земля не приняла бы его с их сострадающих плеч, да ещё в их с женой спальне прибавилось бы на стене его увеличенное фото — временная боль для родных, пока глаза с просыхающими слезами привыкнут к этому фото, как привыкают ко всему на свете. Клочок печали бы прилепился на время по правую сторону входа — крышка гроба, прислонённая к стене, но и эта печаль рассеялась бы вскоре в воздухе. Истончающаяся, уходящая вместе с годами память о нём жила бы только в близких и вместе с их смертью тоже ушла бы, исчезла с лица земли. И только в паспортах детей, только в устных рассказах рода хранилось бы его имя, висящее в вечности, ничего не говорящее имя.

И царило бы вселенское равнодушие, и не было бы дела у сущего мира до того, жил или не жил, есть ли, нету ли кого-то на свете.

АНДРЕЙ БИТОВ

УРОКИ АРМЕНИИ

Путешествие в небольшую страну

...Лёгкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудками камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница ещё не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздаётся голос муллы. Там нашёл я несколько неизвестных имён, нацарапанных на кирпичках проезжими офицерами. Суета сует! Граф *** последовал за мною. Он начертал на кирпиче имя ему любезное, имя своей жены — счастливца, — а я своё.

Любите самого себя,
Любезный, милый мой читатель.

Пушкин. «Путешествие в Арзрум»

УРОК ЯЗЫКА

Азбука

Да простит мне Армения, небу её идёт самолет! Я вышел на поле — горячий и чистый ветер ударил в лицо. Он был очень кстати после вчерашнего. Я оглянулся и счастливо посмотрел вверх — там увидел я самого себя несколько мгновений назад, — там, разворачиваясь, садился самолёт, а небо было самого аэрофлотовского цвета, как тужурка у стюардессы, а самолётик — как крылышки в её петличке... Я шёл к зданию вокзала: ЕРЕВАН.

ԵՐԵՎԱՆ

Ага, значит, вот эта штука — Е, вот эта — Р, а эта опять Е...

Так и запечатлелся во мне первый кадр: ветер и выгоревшая трава, которая не то чтобы стелилась по ветру (она была слишком короткой для этого), но была навсегда им причёсана. Ветер подталкивал меня к Еревану. Это, значит, В, а это вот А, а это уже Н. Красиво.

Потом я ждал свой чемодан, привычно размышляя о том, стоит ли так быстро летать, чтобы столько же ждать свой багаж. Будто он ещё летит, а только я уже прибыл.

Вокзал, по моему убеждению, не место для естественного человека, но этот был не совсем похож на мои прежние вокзалы. Тут было по-южному гортанней и шумнее, но одновременно почему-то и спокойней. Конечно же, толкучка, даже более темпераментная, но как-то вроде и не толкается никто... Не было тут той затравленности пассажира, где каждый сам по себе — боится за чемодан, боится опоздать, боится быть обиженным и обойдённым, — и оттого появляется в нём автобусная вокзальная твердоватость и туговатость, и сам он становится похож формой и твёрдостью на свой фанерный чемодан с царапающими и цепляющими углами, и лицо — как замок. Такой заденет плечом — синяк будет.

Тут толкотня была другая — базарная, мягкая, — где перешагивают чемоданы, как арбузы и дыни. И в ожидании нет трагедии: можно взвеситься на аэрофлотовских весах, красивых, как часы... Взвешивают детей, взвешивают бабушек, взвешиваются сами. Никто их не гонит и не кричит на них, как ни странно. Я приехал с желанием, чтобы мне здесь нравилось, и мне нравилось.

Весил же я всё столько же. Тридцать лет от роду. Весы показывали 7 сентября 1967 года. Я ждал, когда прилетит мой чемодан, и пялился на вывески, как дошкольник.

ԱԷՐՈՅԼՈՏԻ ՈՒՂԵՎՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Что могло быть написано такими вот красивыми и значительными в своей непонятности буквами? Пословица? Пророчество? Строка бессмертного стихотворения?..

Права-обязанности пассажира Аэрофлота

Вот что было написано этими удивительными буквам! Это утверждал справа уступивший первое место, подчинённый, как и положено переводу, русский текст. Но раз такие родные «не курить, не распивать, выхода нет» были переводом с армянского, не означало ли это, что армяне — вот кто ввёл их в наше российское обращение? Не может быть. Значит, тут имел место редкий случай перевода справа налево или воссоздания оригинала по подстрочнику.

Поразительно всё-таки прочна природа уважения к печатному слову — ничем его не подорвать. Стоит столкнуться с чужим языком — и благоговение перед таинством грамоты, как у подписывающегося крестом. Трудно тогда поверить, что записать можно что угодно, так же как и сказать. Трудно поверить в безразличие таких мудрых и совершенных букв к словам, ими составленным. «Буквы... Ну подумаешь, буквы! — увещевал себя я. — Разве что красивые. Русские, что ли, некрасивые? А ими что угодно пиши — это же меня не смущает... — И только тогда подумал: — Ладно, пусть. Пусть с русского на армянский, хоть и справа налево... Но разве это русский — то, что справа?.. С какого же это злого языка на русский-то переведено?»

Если уж очень многого ждать от встречи, то можно забыть сказать «здравствуйте». Никогда бы не предположил, что после палочек и ноликов первого класса буквы могут стать ещё раз предметом волнений и даже страстей... Однако если не первый, то второй вопрос, который мне был задан на армянской земле, был: «Ну, как тебе нравится наш алфавит? Правда, очень? Скажи, только честно, какой тебе больше нравится, твой или наш?»

Да простит мне Россия, я готов согласиться: наш алфавит проигрывает... У «великого, могучего, правдивого и свободного» (Тургенев) не убудет от такого заявления.

Собственно, раньше я о достоинствах нашего алфавита почему-то не задумывался. Разве что мне казалось неверным набирать классиков по новой орфографии — они-то ведь не по ней писали. Мне не хватает фиты в имени Фёдор, например, и-десятеричного в слове «идиот» и кое-где твёрдых знаков, в конце некоторых слов. (Так же и рождались классики не по новому стилю, а по старому: привыкали к числу и месяцу своего рождения... и число это что-нибудь для них значило). Не переименовываем же мы в их произведениях города и улицы в соответствии с названиями нынешними, не переводим цены в новый масштаб цен... Такие мелкие вопросы досуже возникали во мне. А так я не обращал внимания на наш алфавит, не замечал его, более вслушиваясь в слово, чем всматриваясь в него.

Задумался я об этом, лишь присмотревшись к армянскому алфавиту и наслушавшись чужого звучания речи. Это великий алфавит по точности соответствия звука графическому изображению. Тут всё цельно и образует круги. Цепкость армянской речи («дикая кошка — армянская речь») так соответствует кованности армянских букв, что слово — начертанное — звякнет, как цепь. И так ясно представляются мне эти буквы выкованными в кузнице: плавный изгиб металла под ударами молота, слетает окалина, и остаётся та радужная синеватость, которая мерещится мне теперь в каждой армянской букве. Этими буквами можно подковывать живых коней... Или буквы эти стоило бы вытёсывать из камня, потому что камень в Армении столь же естествен, как и алфавит, и плавность и твёрдость армянской буквы не противоречат камню. (Стоит вспомнить очертания армянских крестов, чтобы опять восхититься этим соответствием). И так же точно подобна армянская буква своим верхним изгибом плечу древней армянской церкви или её своду, как есть эта линия и в очертаниях её гор, как подобны они, в свою очередь, линиям женской груди, настолько

всеобще для Армении это удивительное сочетание твёрдости и мягкости, жёсткости и плавности, мужественности и женственности — и в пейзаже и в воздухе, и в строениях и в людях, и в алфавите и в речи. В армянской букве — величие монумента и нежность жизни, библейская древность очертаний лаваша и острота зелёной запятой перца, кудрявость и прозрачность винограда и стройность и строгость бутыли, мягкий завиток овечьей шерсти и прочность пастушьего посоха, и линия плеча пастуха... и линия его затылка... И всё это в точности соответствует звуку, который она изображает.

Я по-прежнему не знаю армянского языка, но именно поэтому ручаюсь за правду своего ощущения: передо мной был только звук и его изображение, а смысл речи был за моими пределами.

Этот алфавит был создан гениальным человеком с поразительным чувством родины — был создан однажды и навсегда, — он совершенен. Тот человек был подобен богу в дни творения. Создав алфавит, он начертал первую фразу:

ՃԱՆԱԶԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ.

На этот раз фраза то и значила, что было ею начертано:

Познай мудрость, проникни в слова гениев.

Начертав (именно не написав, не нарисовав), он обнаружил, что не хватает одной буквы. Тогда он создал и эту букву. И с тех пор стоит армянский алфавит.

Для меня нет ничего убедительней такой истории. Можно выдумать человека и можно выдумать букву, но нельзя выдумать, что человеку не хватило одной буквы. Это могло только быть. Значит, был и такой человек. Он не легенда. Он такой же факт, как этот алфавит. Имя его Месроп Маштоц.

Я бы поставил Маштоцу памятник в виде той последней буквы — каменное доказательство его правоты.

Человек, мало-мальски наделенный чутьём и слухом к слову, никогда не усомнится в существовании творца... Когда была опубликована статья русского учёного-филолога, ставящая под сомнение реальное существование Маштоца, кто её заметил, кто её прочёл, кроме горстки специалистов? Вся Армения. И до меня, приехавшего год спустя, всё ещё доходили отголоски национальной бури. Чтобы взрослые люди и так волновались из-за каких-то буквиц...

Я испытал удивление и чувство неловкости. В течение одного дня я знал об истории армянского алфавита больше, чем об истории русского. Мне пришлось приблизить к себе никогда не волновавший меня вопрос...

Слово — самое точное орудие, какое было когда-либо у человека, но филология ещё не достигла точности угаданного слова. Ей пристала скромность. Она при слове, а не слово при ней. Сомнение в существовании Маштоца оскорбительно для армянина. И я прекрасно понимаю его. И уж во всяком случае такой алфавит не мог быть плодом трудов коллектива учёных-языковедов. Это уж точно.

Армяне сохранили алфавит неизменным на протяжении полутора тысяч лет. В нём древность, история, крепость и дух нации. До сих пор рукописная буква не расходится у них с печатным знаком, и даже в книгах, и типографском шрифте существует наклон руки писца. Рукопись переходит в книгу, почти не претерпевая графических метаморфоз. И это тоже замечательно.

Прогресс, врывающийся в словарь, в правописание, унификация правил, упрощение начертаний — дело, полезное для всеобщей грамотности, но не для культуры. Охрана языка от хозяйственных поползновений так же необходима, как и охрана природы и исторических памятников. Стоит вспомнить кириллицу — насколько она ближе по своей графике русскому пейзажу, русской архитектуре, русскому характеру...

Пресловутый анекдот об учителе гимназии, покончившем с собой из-за отмены ятей, в Армении не пользовался бы успехом. Он бы не был смешон. Такой человек в Армении мог бы быть национальным героем.

Больше всего меня веселит, что реформа правописания сэкономила много бумаги, что на одни отменённые твёрдые знаки в концах слов в «Войне и мире» набегают целый печатный лист, а в общегосударственном масштабе... Но эта экономия не перекроет макулатурного потока.

Букварь

Ереван — моя азбука, мой букварь, мой каменный словарик-разговорник. Слева — по-армянски, справа — по-русски. Только слова в беспорядке. Рядом с А — автоматом — Ш — шашлычная. А Б — базар — совсем на другой улице, через несколько страниц.

Я шуршу страницами кварталов, улиц и площадей в поисках Р — редакции, Д — друга, Ж — жилья и П — просто так. Это мой русско-армянский словарь.

Но если бы я знал армянский и мог пользоваться Ереваном как армяно-русским словарём, порядка, конечно, было бы не больше. Это меня утешает.

Но я нахожу своего друга, и у меня появляется учитель. Ему попадает малоспособный ученик, с памятью восторженной и дырявой. Но у учителя появляются помощники. Я попадаю в сладкий плен — у друга есть мать жены, жена брата, друг брата и брат друга. Я познаю всю прочность армянских родственных связей и опутан этой цепью, и каждый мой новый час прибавляет новый виток. И мне уже не бывать одному никогда...

— Андрей, сурч — это что такое?

Я ещё ни разу не угадал и теперь молчу, улыбаюсь смущённо.

— Андрей, сурч — это хорошо или плохо?

И все ласково смеются над моим замешательством.

— Андрей, хочешь сурч?

— Хочу.

— Молодец. Пятёрка.

И мне несут кофе. И так хорошо у нас не варят кофе...

— Андрей, дзу — это что такое?

— Андрей, дзу — это хорошо или плохо?

— Андрей, какое слово, по-твоему, лучше: дзу или яйцо?

И я ем дзу. Таких яичниц я не ел никогда в жизни. О, нищая глазунья.

Хоровац, бибар, гини... Я поедаю наглядные пособия.

И всё это хорошо... Только есть так много — плохо...

Учат и сами учатся.

— Я пришла, — говорит мой друг, — как правильно: пришла или пришёл?.. Я пришёл к сестру... Как правильно: к сестра?..

И когда они устают ломать свою голову и язык переводом таких простых и понятных слов, таких прекрасных, на чужой, мой, язык, устают путаться в падежах и родах, они вдруг соскальзывают счастливо на родную речь и начинают отдыхать в ней между собою; я тем временем опять ем, всё ещё ем и ещё раз ем, ем за всех: за маму друга и за папу его жены, за друга его брата и за брата его друга, разве что за друга своего не ем (он-то может оказать мне такую услугу)... Зато, пока я ем, они могут хоть поговорить спокойно.

И когда они наконец погружаются в покалывающие, как горная река, воды своей речи, я вдруг испытываю ту же лёгкость, что и они, с меня спадает эта невнятная неловкость, и мне радостно слышать чужую речь. И не только по причинам, приведённым выше. Впервые в жизни я поймал себя на том, что, не понимая языка, я слышу то, чего никогда не слышу в русской понятной мне речи, а именно: как люди говорят... Как они замолкают и как ждут своей очереди, как вставляют слово и как отказываются от намерения вставить его, как кто-

нибудь говорит что-то смешное и — поразительно! — как люди не сразу смеются, как они смеются потом и как сказавший смешное выдерживает некую паузу для чужого смеха, как ждут ответа на вопрос и как ищут ответ, в какой момент потупляются и в какой взглядывают в глаза, в какой момент говорят о тебе, ничего не понимающем...

И ещё, когда они говорят со мной, то есть говорят по-русски, они никогда не смеются. Стоит им перейти на армянский — сразу смех. Словно смеются над тобой, непонимающим. Так вполне может показаться, пока не поймёшь, что смеяться возможно лишь на родном языке. Мне не с кем было посмеяться в Армении...

Если им бывало уж очень смешно, отсмеявшись, они спохватывались. Улыбка смеха сменялась улыбкой вежливости — подчинённая жизнь лица, — ко мне поворачивались. Та, невольная, улыбка сходила ещё не сразу, память о смехе тихо таяла в глазах, и в них отражался я, моё наличие. Их лица приобретали чрезвычайно умное и углублённое выражение, как в разговоре с иностранцами на плохом языке, когда, чем глупее разговор, тем значительнее интонация, а киваний и поддакиваний не сдержать никакими силами... После таких разговоров ноют мускулы лица и шеи от непривычной, неестественной работы.

Только на родном языке можно петь, писать стихи, признаваться в любви... На чужом языке, даже при отличном его знании, можно лишь преподавать язык, разговаривать о политике и заказывать котлету. Один язык у человека — два языка не покажешь.

Чуть ли не так, что чем тоньше и талантливей поэтическое и живое знание родного языка, тем безнадежней знание чужого, и разрыв невосполним. Как остроумен мой друг, по-русски мрачный, почти унылый человек... Каждая его фраза по-армянски встречается таким радостным, неподвластным смехом... «Ах, как жаль, что ты не понимаешь его армянский!» Как жаль... Вот ещё и кроме армянского существует его армянский! Но ведь и кроме их русского существует в нашем русском мой русский...

Мне не с кем было посмеяться в Армении. И я был счастлив, когда обо мне забывали. И был счастлив журчанием и похрустыванием армянской речи, потому что у меня было полное доверие к говорящим. Антипатия к чужой речи в твоём присутствии — прежде всего боязнь, что говорят о тебе, и говорят плохо. Откуда эта боязнь — другой вопрос. Переговариваться на незнакомом собеседнику языке считается бестактным прежде всего среди людей, не доверяющих друг другу. Среди дипломатов, допустим. Мы же доверяли друг другу. Более того, мои друзья были настолько тактичны, что при мне договаривались насчёт меня именно на своём, непонятном мне языке, чтобы я не подозревал о всех тяготах организации моего быта: поселения, передвижения, сопровождения и маршрутов. Опять забываю, что им было легки так договариваться...

Я слушал чужую речь и пленялся ею. Действительно, что за соединение жёсткого, сухого, прокалённого и удивительно мягкого, «нежного» — как сказал бы мой друг! Как жёсткая, прожжённая земля и сочный плод, созревающий на ней... Хич — россыпь мелких камней, джур — вода, журчит в этих камнях, шог — жара над этим камнем и водой, чандж — муха, звенит в этой жаре. Хич, джур, шог, чандж — и вдруг среди всего этого лолик — помидор.

Хич, карь — конечно, это не наш камень, это их камень. Что ка-мень? — лежит на дороге... Джур — это их вода, она холодная и журчит под этими камнями, и её мало... Что им наша во-да?.. Так много воды в этом слове, и сверху и снизу... Чандж — разве это наша нарисованная муха?.. Дехц — персик... Тут же есть кожа персика, в этом слове, его пушок, ворсинки!.. А что такое пер-сик? От перса... Просто иностранный фрукт.

— Андрей, что лучше: кав или глина? Арагил или аист? Журавль или крунк?

И действительно, что лучше? Подумать только, журавль! — и не подозревал, что это так красиво. Или — крунк... До чего хорошо!

Я влюбляюсь в слова: в армянские благодаря русским и в русские благодаря армянским...

— Что лучше: цов или море?

И вдруг не чувствую «море», в нём нет волнения, зеркало, и вдруг сочувствую слову «цов» — вижу, в нём волну набегающую... но волна, оказывается, вовсе не цов, волна — алик, нежно лижет берег. Но если бы цов было только море! А цов — это и море, и тишина, цов — это тоска в красивых глазах и просто красота, цов — это народ толпою и просто «много»...

Созвучия

майр — мать
сирд — сердце
серм — семя
мис — мясо
гини — вино
... — ...

Но камар — это вовсе не комар, камар — это арка.

А арка — это вовсе не арка, арка — это царь.

А цар — это вовсе не царь, цар — это дерево.

пар — танец, пляска
гол — тепло
цех — грязь
... — ...

Но парение есть в пляске, голое и тепло — так близко... Дерево, конечно же, царственно, и всё это натяжка, а вот что цех это грязь — точнее не скажешь.

— У вас есть слово «атаман», — говорит мне друг, — а у нас «атам» — это зуб, клык. Поэтому, когда я в детстве книжки читал, всё думал, что атаман — это человек с клыками...

— А я думал, что он на оттоманке лежит, — говорю я.

— У вас есть слово «хмель», — объясняет мне друг рано утром на первом уроке, — а «хмел» по-армянски значит «выпить». Поэтому у нас прижилось ваше слово «похмелье».

— Андрей, аствац — что такое? — строго спрашивает друг.

— Андрей, аствац — это хорошо или плохо?

— Аствац — это хорошо, — говорю, — аствац — это отец.

— А ведь верно! — удивляется мой друг. — Кенац! ¹

Прямая речь

Аё — по-армянски «да». Чэ — по-армянски «нет». Не знаю почему, но всюду — на улицах, в магазинах, в автобусах — я чаще слышу «чэ», чем «аё». Чэ, чэ, чэ. Обычный автобусный диалог представлялся мне так: один всё спрашивает, наседает, а другой отвечает «чэ, чэ», а потом, наоборот, другой всё спрашивает, а первый отвечает своё «чэ». Я так сам понял, что «чэ» по-армянски «да», и спросил друга: а как по-армянски «нет»? А он мне и говорит: «Чэ». — «Как «чэ»? — воскликнул я. — А как же тогда «да»? — «Аё». Вот как я ошибся. Думал, теперь разберусь... Но так я ни разу и не услышал «аё», а всё «чэ».

Брат моего друга — журналист. Он меня очень любит, потому что я очень люблю его брата. Это в Армении естественно. Как-то мы шли с ним по улице, и он мучительно, страшно молчал. И смотрел на меня таким просящим взглядом, что я поневоле говорил без передышки и за себя и за него. Дело в том, что в Армении, наверно, нет другого такого человека,

¹ Аствац — бог. Кенац — приветствие, аналогичное «Твоё здоровье!» (арм.).

кому бы русский язык доставлял бы столько же истинного, даже физического страдания. Со мной он разговаривал в основном глазами. Когда ему следовало составить фразу по-русски, глаза его немели от напряжения и того давления, которое, по-видимому, развивалось в этот момент в его мозгу. Потом во взгляде его появлялась короткость и кротость, как у жвачных животных, и он не произносил задуманную фразу. Дело, по-видимому, было даже не в том, что он мало знал русских слов, а в том, что ни одного слова по-русски он не мог подумать.

И вот мы шли по улице, и вдруг из моей речи он понял, что я приехал не просто в гости к его брату, а в командировку от газеты. (Это я обмолвился, учитывая, что он журналист). Лицо его затуманилось, и вдруг его прорвало. Передавать речь его в точности я не берусь — никто не поверит...

— И ты будешь про нас писать? — сказал он.

После этого он стал разговаривать со мной так: увидит — арбузы везут...

— Это армянский арбуз, — говорит.

Увидит ослика...

— Это армянская ишак, — говорит.

— Это армянский очень толстый женщина. А это армянский пиво. Пиво хочешь? Арбуз хочешь? Это обыкновенный армянский такси. Поедем, хочешь?

Я сначала улыбался, потом надумал обидеться. Но сдержался. Потом мне было уже проще: я знал, что это будет армянский забор, а это армянский столб, а это обыкновенный армянский милиционер. Как ему не надоело? Я уже не обижался, а думал: почему он так?

Наконец он устал.

— Только не пиши, пожалуйста, — сказал он, — что Армения — солнечная, гостеприимная страна.

Помолчал и добавил:

— Я вот сколько живу тут и пишу, а всё не написал, какая она.

— Знаешь, — сказал я искренне, — это же и меня мучит. Я даже думаю, что ничего писать не буду. Что я увижу за две недели? Что пойму? Серьёзно не напишешь, а несерьёзно об Армении я уже писать не могу... И потом, если рассудить, разве бы я сам, для собственной радости, не согласился бы сюда приехать? За свои деньги? Значит, верну деньги за командировку и скажу «спасибо». Тем более что я же не работаю в газете и от неё не завишу.

— Ну зачем же возвращать?! — возмущился брат друга. — Почему же это ты не напишешь?.. Поживи ещё. Напишешь... — сказал он, и этой его интонации я уже совсем не понял: «напишешь» — это хорошо или плохо?

И вот кончилось моё путешествие, вот я дома, вот я мучился, мучился, гуляя вокруг стола, и вот всё-таки сел за машинку.

И что же я вывел в первой фразе?

«Армения — солнечная, гостеприимная страна».

И что же я вдруг услышал?

— Чэ, чэ, чэ! Чэ, Андрей, чэ!

— Да, но это же так! — Я покраснел.

— Чэ, Андрей, чэ!

Я поднатужился:

«Армения — горячая, многострадальная земля».

— Чэ.

— Ну какая же она, твоя Армения?! — взвился я.

— Знал бы, сам написал.

— Ну скажи хоть лучше, чем я! Смотри, я сказал: горячая... Разве сразу найдёшь такое

слово? Именно горячая. Тут всё горячо: небо, земля, воздух, солнце, люди, история, кровь, та, что в людях, и та, что из людей...

— Чэ, Андрей.

— Ну скажи лучше, попробуй!

— Попробую... Армения — моя родина.

— Ты прав. Но не моя же! Я не могу так написать!

— Зачем же пишешь?

— Но я же очерк пишу! Не стихи, не рассказы. О-черк. Путевые заметки. Заметки чужого человека. Заметки неармянина. О-черк, понимаешь?

— А очерк по-армянски знаешь как?

— Нет...

— Акнарк. А «акнарк» по-русски знаешь что?

— ???

— Намёк.

Намёк

Да, когда я писал о созвучиях, я пропустил одно: уш. Уш — это не уши. Но близко. Уш — это внимательный. Зато апуш — это не просто невнимательный, что было бы логично. Апуш — это идиот.

УРОК ИСТОРИИ

Лео

Мне достаточно трудно представить себе кого-нибудь из высокопросвещённых своих знакомых (дедушки нет в живых...), прогуливаясь с которым я бы слышал следующее:

— Вот здесь нашли тело Распутина.

— А вот здесь останавливался Наполеон.

Или:

— Вот видишь горку, за ней роца, вот оттуда, когда мы уже отступали, выскочил Денис Давыдов и своими ошеломительными действиями вдохновил наше уставшее войско...

В Армении подобные вещи знает, кажется, каждый.

Такое впечатление, что в Армении нет начала истории — она была всегда. И за своё вечное существование она освятила каждый камень и каждый шаг. Наверно, нет такой деревни, которая не была бы во время оно столицей древнего государства, нет холма, около которого не разыгралась бы решительная битва, нет камня, не политого кровью, и нет человека, которому бы это было безразлично.

— Андрей, посмотри, во-он та гора, видишь? А рядом другая... Вот между ними Андраник встретил турок и остановил их, и они повернули обратно...

— Вот видишь трубу? А рядом с ней длинное здание. Это ТЭЦ. Построена несколько лет назад. Раньше тут жили молокане.

— А вот тут Пушкин встретил арбу с Грибоедом...

И так без конца. Это мне говорили шофёры и писатели, повара и партийные работники, взрослые и дети.

И не было дома, где бы я не видел одну толстую синюю книгу с тремя красивыми уверенными буквами на обложке — ЛЕО. Я видел её и в тех домах, где, в общем, книг не держат, — тот или другой из трёх синих томов ЛЕО.

Лео — историк, написавший трёхтомную историю Армении. И очень популярный. Как наш Карамзин или Соловьёв.

Я спрашиваю русских:

— Вы читали Карамзина?

— Ну а вот недавно переиздали Соловьёва, читали?

Вряд ли я найду том Соловьёва у шофёра или прораба строительных работ. У писателей-то в лучшем случае у одного из десяти.

Я, например, не читал.

А Лео читают и читают. Всюду Лео. Читают так же добросовестно, как он писал. А он писал и писал и ничего другого в жизни не знал, с утра до вечера он писал, каждый день и всю свою жизнь. К старости он ослеп. Но он хотел написать свой шедевр, последний. Он просил у дочери перо, бумагу и чернил.

И, слепой, писал с утра до вечера.

И написал.

И умер.

Только дочка, оказывается, ставила слепому чернильницу без чернил, чтобы он не пачкал.

А он и не заметил.

Такая легенда.

Господи, что он написал?!

Матенадаран

Если многое считается замечательным в современной армянской архитектуре, то Матенадаран — самый замечательный пример этого «замечательного». К тому же построено здание только что, и буквально в наши дни, то есть в мои и ваши.

Начать с того, что назначение строения самое почтенное. Это хранилище древних рукописей. И поскольку армяне очень давно пользуются своей дивной письменностью, то рукописей этих, несмотря ни на какие национальные беды, сохранилось великое множество, и каждая из них уникальна и уже не имеет цены. И хранить это национализированное национальное сокровище необходимо бережно и достойно. Тоже понятно.

Матенадаран построен для этой цели. Отвечая своему назначению практически и технически, он ещё и воздвигнут как памятник многовековой и великой культуре.

И так всё отлично выполнено, что ни к чему не придерёшься. Во всём видны благородные намерения строителей, и к тому же намерения эти вполне выражены. И место выбрано — издали виден Матенадаран, ничто не заслоняет его, и в стороны ему просторно, и за ним уже ничего не толчется — дальше горы. И он спадает с этих гор таким строгим гранитным отвесом, как водопад, а ниже, куда он спадает, пенятся лестницы, разливаясь в струи и сливаясь внизу в одну, главную, приближаясь к которой ты обязан неизбежно ощутить высокий строй, а когдаставишь ногу на первую ступень, уже испытываешь трепет, а по мере подъёма, когда на тебя надвигается отвес Матенадарана и всё выше и вертикальней нависает над тобой, трепет этот как бы переходит в холодок в спине. И когда, приближаясь, ты всё уменьшаешься, уменьшаешься, а над тобой всё растёт и растёт здание, это, по-видимому, символизирует величие и огромность человеческой культуры, и твою затерянность в ней. Но — вкус во всём. Такой светлый, серый камень, что и строго и не мрачно. И такие линии, и прямые и мягкие, что сразу же ясна и великая традиция армянского зодчества, и одновременно полное овладение всеми достижениями современной архитектуры с её обнажённым назначением и эстетизированной простотой... Бездна вкуса. То есть нигде не видно безвкусицы. Вот, например, на этом повороте лестницы, на этой чистой дуге вполне могла бы стоять ужасная ваза — а не стоит. Голое место, прекрасная, ничем не запятнанная плоскость. Место для вазы есть, а вазы нет.

Я уже начинаю злиться на эту безупречность и что авторов нигде вкус не подвёл... А может, и подвёл их именно вкус? «Эта церковь построена со вкусом» — попробуй выговори такую фразу — абсурд. Или «изба со вкусом» — тоже не звучит. Между тем и церковь и изба — это самые чистые формы, они отвечают только своему назначению, и, чем точнее

отвечают, тем прекрасней. Граница между зодчеством и архитектурой вдруг впервые намечается для меня. Никогда не задумывался над этим, лишь в Ереване, где так много замечательных образцов, находящихся по ту и по сю сторону этой границы...

Я поднимаюсь по лестнице и не трепещу. Жара мешает, одышка. Вдруг что-то деревянным глухим забором обнесено: мусор, свалка, не всё ещё доделано... Заглядываю. А там огромные камни в тогах стоят. Тоже очень современно и глубоко исполняется. Камень иногда сохраняет свой естественный излом, и то формы человеческие незаметно произрастают из случайных линий необработанного камня, то эти линии растворяются в естественной цельности камня. Крупные люди в плавных ниспадающих одеждах (как приятно передать в камне эту крупную вертикальную складку во весь рост!), и крупные, без лишней толкотни в чертах, лица с достойным и несуетливым вдохновением. Их несколько, таких людей. Но один ещё в лесах, один начат едва, а третий почти готов. Словно каменная кинолента о создании одной и той же скульптуры, немножко напоминающей памятник Дзержинскому в Москве (из-за шинели до пят) и Тимирязеву (из-за оксфордской тоги), только гораздо, гораздо современнее. Эти великие люди (по-видимому, именно величие так сравнило и уподобило их), которые написали те великие книги, что хранятся в этом величественном здании — такая цельность замысла, — будут стоять — ага! — на тех столь прекрасно свободных от ваз площадках. Только несколько позже, когда они все вместе будут готовы, отличаясь лишь оставленным свободным нетронутым камнем, будто уходя в эту земную твердь, с которой они так связаны... Так по-разному, так одинаково высывались они теперь из этой тверди, как в своё время из неё же произрастали. Такие, со взглядом в будущее, в наши дни.

Да и всё строение как бы смотрит в светлое будущее, соответствуя авторским представлениям о нём.

Это величие замысла в дверях достигает наивысшей точки (как бесконечно взлетают вверх мощные плоскости) и обрывается в холле. Там уже новый строй — бесшумности и шепотливости, где-то там, впереди, склонённые вдумчивые головы наших современников, творящих новую жизнь на базе всех знаний, накопленных человечеством, истинные хозяева этих духовных богатств.

Именно с таким прищуром очутился я в некоем квадратном зале. Надо мной была стеклянная крыша, как в оранжерее, стены же были чёрные, с глубокими тенями, и там, из тени, тянулись к свету пюпитры на тонких ножках. На пюпитрах, отворённые, лежали книги.

Я пожал руку молодого тоскующего сотрудника, прозвучали наши неуместные здесь имена. Словно нехотя подвёл он нас к одному из пюпитров...

Это была биография Маштоца, написанная его учеником. Отсюда почерпнуты основные сведения о жизни великого буквотворца.

На соседнем пюпитре лежал старательно переписанный конспект по ботанике. Тысячелетний школяр рисовал на полях цветочки.

Ещё в двух шагах крутились звёздные сферы, пересекаясь и разбегаясь в милом и изящном чертеже, а земля так удобно покоилась на чём-то вроде трёх китов.

Сам тому удивляясь, в тысячный раз поневоле оживился экскурсовод. И правда, от рассыпающихся страниц до сих пор веяло жизнью, простой и ясной. Будто вся смерть ушла в новенькие стены Матенадарана.

Матенадаран — этажи под землю, и там, в кондиционированных казематах, книги, книги...

— А что, они все прочтены, изучены, описаны?

— Нет, что вы! Ничтожная часть. Они ещё не переписаны даже в каталог. Эта работа потребует ещё десять лет.

Если представить себе, сколько потребуется времени и терпения, чтобы переписать от

руки чужую книгу, то какой дурак возьмётся за это в современном нам мире? Между тем, разглядывая чудесный цветок заглавной буквы, понимаешь, что переписчик, возможно, едва управлялся с нею за день.

Этих книг — десятки тысяч.

Сколько же у людей было времени в те времена! И сколько они успевали!..

Успевали они ровно столько же. А может, и больше.

Они не спешили, и дела их обретали время. В сыновьях и изделиях продолжался человек. Изделия дошли до нас, утратив имя автора, но как безусловно, что каждое из них создано одним когда-то жившим человеком!

Лечебник, травник, звездник, требник...

Вот такой травкой следовало лечить человека от вот такой болезни... И травка и болезнь называются теперь иначе и, возможно, уже не имеют отношения друг к другу. Другим лекарством лечат ту же болезнь под другим названием. Но суть-то в том, что болезнь — та же и так же принадлежит человеку, которого надо чем-то лечить.

Как много люди знали всегда! Как легкомысленно полагать, что именно наш век открыл человеку возможность пользоваться тем-то и тем-то, до того никому не известным...

Как много люди знали и как много они забыли!

Сколько они узнали, столько они забыли.

И сколько они узнали и забыли зря!

Развалины (Звартноц)

Словно бы зрение болезненно моему другу... Чтобы увидеть каждую следующую достопримечательность, ему надо на это решиться. И он заставляет себя. Для меня. Меня ради. Это исполняет меня благодарности и неудобства. Хотя ни он, ни я не показываем этого друг другу, да и не осознаём... Что-то сопротивляется в друге перед каждой следующей экскурсией. Конечно, он всё это зрит не в первый и не в десятый раз. Конечно, тяготы гостеприимства. Но и тяготы эти привычны. К тому же достопримечательности таковы, что их, конечно же, можно видеть бессчётное число раз: они не исчерпываются и от них не убудет. К тому же не показать их мне тоже невозможно и не полюбить их мне — нельзя. Но почему-то снова взглянуть на то, что прекрасно и любимо, трудно моему другу.

И он отправляется в очередную экскурсию...

И когда он снова видит эти камни, уныние вдруг разламывается у него на лице, он успокаивается и светлеет. На меня он совсем не смотрит, и вовсе не потому, что хочет спрятать какие-то чувства. И мне кажется, что он не хочет увидеть в моих глазах, что я не понимаю. А когда он всё-таки встречается со мной взглядом, то говорит, опять в сторону:

— Я хочу, Андрей, понимаешь?.. Я хочу, чтобы ты устал-устал, чтобы всё это солнце-солнце, эти камни... и ты вдруг почувствовал позвоночником... понимаешь, позвоночником?.. как ты устал...

— Понимаю, — поспешил кивнуть я, — хребтом...

Друг не продолжал. Мы бросали горящую бумажку в какой-то колодец. Бумажка, безусловно, так и не достигала дна. Мы осматривали каменные винные чаши, огромные, как доты. Нас сопровождал смотритель со строгим лицом скопца. Он так же глубоко проникался своей прислонённостью к великому, как вахтёр проникается своей государственностью. Вся эта праздность наблюдательности, этой ложной остроты зрения унижала меня, и вдруг становилось так жарко, я так уставал, настолько ничем были для меня эти камни и так я стыдился этой своей бесчувственности, тайком пощупывая поясницу и чуть ли не ожидая этой спасительной, всё объясняющей боли в позвоночнике. О это мягкое насилие! Как заставить себя чувствовать хоть что-нибудь? И уже почти подсказывал мне мой симулятивный организм эту боль, как тут мы все уходили, насмотревшись, и уже фотографировались или арбуз ели. И я с чувством новичка радостно впился в прохладную мякоть, как только

позволил себе это мой друг. А он себе тут же это позволил, будто это он всего лишь образно сказал про «позвоночник».

Но вот и мысль меня наконец посетила — на этих развалинах. Или на других... Храм был разрушен в таком-то веке, потом в таком-то, потом ещё раз и потом ещё, чуть ли не в наши дни. И как, однако, много осталось! В первый раз, когда рушили, то и разрушить, кажется, не удалось, а лишь — в третий раз. Потому что глыбы — два на два, допустим, метра, да обработаны так гладко, да уложены так плотно, да ещё в сердцевину глыбы свинец залит, чтобы потяжелее была и поосновательней лежала. Строили навсегда. Но потом каким-то туркам, или арабам, или ещё кому-то понадобился свинец для пуль — вот тогда только и расковыряли наконец... И то, смотрите, величие какое!

Простая мысль... Когда мы видим древние развалины, в нас прежде всего забредает романтическое и бумажное представление о неумолимости и мощности физического времени, прошедшего за эти века над делами рук человеческих. Коррозия, мол, эрозия. Капля долбит камень... И каждый день уносит... Ещё что-нибудь о краткости собственной жизни, о мимолётности, о тщетности наших усилий и ничтожности дел. Но как это всё не так и не то!

Это только кажется, что мощно время... Не время, а люди развалили храмы. Они не успевали за свою жизнь увидеть, как расправится с храмом время — потом когда-нибудь и без них, — и нетерпеливо разрушали сами. Я вдруг понял, что таких развалин и вовсе нет, чтобы от одного времени... «Время разрушать и время строить». Даже в Библии «разрушать» — сначала. Время успевает лишь слегка скрасить дело человеческих рук и придать разрушениям вид смягченный и идиллический, наводящий на размышления о времени.

И в таком виде развалины стоят уже вечно.

Связь времён

Я мечтал бы жить сию секунду. В эту секунду, и только ею. Тогда бы я был жив, гармоничен и счастлив. Живу же я где-то между прошлым и настоящим собственной жизни в надежде на будущее. Я хочу ликвидировать разрыв между прошлым и настоящим, потому что разрыв этот делает мою жизнь нереальной, да и не-жизнью. Я всё надеюсь с помощью чудесного усилия оказаться исключительно в настоящем времени и тогда уже не упустить его более, с тем чтобы жизнь моя вновь обрела непрерывность от рождения до смерти.

Даже внутри одной жизни отношения со временем (физически) так сложны. А если к этому прибавить отношения с временем историческим? А если продолжить мысленным пунктиром отрезок личного времени в прошлое и будущее, за твои временные границы? Если взять твои отношения уже не с историческим временем, а с временем истории? И если соотнести время истории с временем вечности?

Голова, конечно, кружится. И разве бы она кружилась, если бы ничего тебя с этой бездной не связывало? Что связывает времена? И что связывает тебя с временами?

Для простоты употребления времена связывают историей...

«Да и есть ли история? Существует ли объективно? Не есть ли она наше случайное отношение к времени?» и т. д. — такие мысли однажды посетили меня...

...В воскресенье необходимо было ехать в Эчмиадзин. На воскресную службу. Мой друг со мной не поехал, препоручил брату. Правда, тому были у него свои уважительные причины, но теперь мне почему-то кажется, что его всегдашнее сопротивление перед новым посещением любимых Мекк тут не присутствовало, что ему просто неинтересно было ехать в Эчмиадзин.

Но мне-то туда обязательно надо было ехать. Будет католикос. Будет петь преемница Гоар... И вообще — посмотреть.

Толпы людей на автобусных остановках — все в Эчмиадзин, Эчмиадзин. Уже эти-то, свои люди, сколько раз всё видели и слышали, а едут — это ещё убеждало меня. Толпа

была очень интеллигентна.

Толпа интеллигентов — не часто встречающийся вид толпы и зрелище довольно удивительное. Каждый полагает себя не подчинённым законам толпы, а все вместе всё равно составляют толпу. Это самая неискренняя толпа из всех возможных. Сдавленный и стиснутый со всех сторон, интеллигент-ценитель тем не менее полагает себя продолжающим существовать в своём личном пространстве. Это очень видно на всех лицах. На лицах у них, напряжённо и вытянуто, выражено, будто это не их толкают и не они сейчас остро и больно оттопыривают локоть. Подчиняясь законам толпы, интеллигент всё-таки полагает себя единственным носителем истинных побуждений в бессмысленной толпе. И видеть столько масок отдельности друг от друга на лицах, отстоящих одно от другого на несколько сантиметров, по меньшей мере странно. Так и я имел отдельное от этого удивительного наблюдения лицо, пока не успокоился лицезрением поразительно красивой девушки с таким прямым золотеньким крестиком на шее, полупогружённым в удивительную ложбинку. Я мог смотреть на неё сколько угодно — деться ей от меня в этой душегубке было некуда. Ей же разрешалось лишь не смотреть на меня сколько угодно.

Так выдохнуло нас наконец в светлое пространство, и мы разжались с поспешностью.

Но тут уже, на просторе, начались радостные оклики и рукопожатия. Тут был «весь Ереван», и все знали брага моего друга, а я пожимал руки в качестве друга его брата, то есть и его друга, и после рукопожатия уже был другом тому, кому только что пожал руку. Это тоже могло показаться странным, до какой степени все были незнакомы в автобусе, прижатые друг к другу, и как вдруг все стали радостно узнавать друг друга, как только обрели возможность увидеть себя в нескольких метрах от знакомого. Тут узнавали друг друга не при приближении, а при удалении — так получалось. Это подтвердилось, когда все набились в храм: имея десять знакомых на один квадратный метр, снова перестаёшь быть с ними знакомым. Но тут уже можно было внутренне сослаться на сосредоточенность и благоговение.

Ну, я населил это пространство и теперь могу рассказать о том, что видел. То есть у меня несколько другая задача: рассказать, как я не видел.

Мы прошли в парк, и перед нами выросло древнее тело огромного храма. Почему-то казалось, что он построен в конце прошлого века, а не шестнадцать веков назад; может, так тщательно и давно следили за его состоянием, так всё подновлялось и заменялось, что уже всё и заменено, и хотя формы те же, но таким новым не может быть храм, такой новой бывает только посуда. Вдруг реально: свежая кровь на стене, кровь и должна быть свежая — понятно. «Что это?» — «Это бьют голубей, головой об стенку». — «Для чего?» — «Приносят в жертву». — «Кому?» — «Богу». Тут же и мальчишки вдруг видимыми стали, хотя и до этого поблизости толклись; голуби у них живые, связками, на продажу для жертвоприношений — тоже нормальные мальчишки, своего возраста, не старше и не моложе. Дальше, кажется, мы в храм протискались... Толпа из автобуса, но — в храме; служба идёт, ритуал — всё чинно, красиво: что за одежды, какие лица! Справа, чуть ли не на эстраде, певица поёт, замечательно поёт, голос — дивный, заслушаешься, про музыку и говорить нечего — музыка.

Так мне вдруг и бросился в глаза какой-то базар: в одном месте служат, в другом поют, в третьем молятся, в четвёртом глазеют. То есть совершенно непонятно, что происходит. В чём дело? Да верующих же нет! Полно, битком, дышать нечем, цыпочки и шея болят, а верующих нет. То есть направо — филармония. Налево — театр. Сзади — любопытство. И лишь впереди, на коленях, тщеславие завсегда. А кто протолкался вперёд — уже и насмотрелся, да назад ходу нет. А служба течёт своим чередом, а таинство её никому не понятно. Рассмотрели одежды и лица, понюхали курения, но одежды и через десять минут те же, и лица, и запах — развитие неясно. И я... Почему я так всё это вижу? Чем у меня голова забита!.. Просто срам.

Тут хоть ребёнок заплакал искренне — маму потерял, такое облегчение на лицах: понятное это, ребёнок плачет — даже души в телах задвигались: по-понятному, сочувствие. И рад бы от стыда хоть знамением себя осенить, да тоже никак не запомнить, с какой стороны на какую и сколько перстов сложить. «Католикос! Католикос!» — наконец оживилась толпа. Вот кого выстаивали-то!

И такое передвижение началось, чтобы подвинуться поближе, водоворотики и воронки образовались, меня к выходу вытолкнуло, а я и рад — свет, воздух! — божественное пространство. Но все, кто стремился к цели, просчитались: католикос прошёл другим путём, где не ждали. Прошёл между могильных плит, таких же, как он, католикосов (где-то и ему тут будет плита), — и никого там народу не было. Один я. Прошёл он сквозь меня, будто меня и не было, и ветерок поднял. Окаменел я, ветерком этим обдуваемый, тут-то меня толпа и растоптала...

Очнулся я на полянке, рядом — брат друга, порадовались, познакомил он меня с певицей, пригласили нас на травку, стали потчевать так просто, так естественно — ешьте, пейте! Здесь такой народ сидел замечательный! Пока все там в храме культурно развлекались, скучая, тут ели под открытым небом жертвенных барашков: всех угости, а сам своего барана не ешь... Ешь, пей, славь господа! На одной земле сидим, под одним небом, всем делимся, ничего друг у друга не просим! Мир на лицах, мир на миру. Опять чудесная жизнь окружает нас, люди! Вон баранчика, такого трогательного, повели, с красной ленточкой на шее, сейчас его зарежут... А там, в каменном мраке, в пламенном и жирном аду, шашлык из него сделают и тем шашлыком тебя угостят... А там женщина куру какой-то бедной старушонке вручила, по-настоящему ей бы надо куру эту приготовить и угостить, но готовить неохота, можно и так отдать, пусть та старушка потом сама себе сготовит... Главное — отдать своё и, что отдашь, того самому не есть... Сижу это я, в одной руке вино, в другой — шашлык, в лаваш завороченный, вокруг меня чужая речь — и хорошо мне вдруг, так по-детски хорошо! Пропало на секунду время, как только, наверно, в молитве да в счастье бывает, когда господь слышит... А уж на эту поляну он непременно бросит взор — это будет для него воскресный отдых.

А нас уже и на свадьбу пригласили, и ещё к одному знакомому брата друга в гости, и ещё к одному знакомому знакомого, и ещё к одному незнакомому. Улыбнулся господь поневоле, уголком рта...

Ну и что же? Что за водоворот времён закружил меня? Церкви тысяча шестьсот лет, но крыше её один год, христианству две тысячи лет, а жертвоприношениям — десять тысяч; сноб вошёл в храм лет десять назад, а люди следуют обычаю не первую сотню лет, газетка под пир подстелена вчерашняя, а небо над нами вечно, католикосу шестьдесят, а мне тридцать — боже! — а певице — двадцать пять, а кто-то ещё и не родился, и неба ещё не видал!

Из каких разных времён пришли сюда жертвоприношения и снобы, служба и филармония, постройки и пристройки, текст и пение его! Каша, водоворот, стремнина времён в секунде настоящего времени.

История в своей последовательности трещит по швам. Связывает времена лишь то, что было всегда, что не имеет времени и что есть общее для всех времён. У вечного нет истории. История есть лишь для преходящего. История есть у биологии, но её нет у жизни. Она есть у государства, но её нет у народа. Она есть у религии, но её нет у бога.

Книга

Мой друг — армянин, а я русский. Нам есть о чем поговорить.

— О, — сказал друг, — если ты раз проявил любовь, тебе придётся отвечать за это!

— Как это?

— Тебе придётся её проявить ещё раз.

— А если я разлюбил?

— То ты предал.

— Почему же?

— А зачем же ты любил до этого?

О чём это мы говорим? А говорим мы вот о чём...

— Если я армянин, — говорит он, — то я армянин и никто другой. Есть ли у меня основание любить какую-нибудь нацию так же, как свою? Нету... Но тогда есть ли у меня право предпочитать какую-либо нацию другой? Никогда. Нельзя быть армянофилом, если ты не армянин, так же, как нельзя быть армянофобом. Вот ты стал армянофилом, а это нехорошо.

— Почему это я стал армянофилом?

— А так. Вот ты написал уже раз обо мне, как об армянине, и похвалил, написал только хорошее. Просто так написал. Потом ты напишешь ещё раз, об этой поездке. Тоже, конечно, не скажешь об армянах плохо, скажешь ещё раз хорошо. А потом, в третий раз, ты уже обязан будешь любить нас и стоять на этом, чтобы не быть предателем. Ты уже армянофил.

— М-да, — сказал я, — это мне не нравится.

— И мне это не нравится, — сказал друг, — именно поэтому я дал себе слово: никогда ни о какой другой нации не сказать ничего. Ни дурного, ни хорошего.

Но мне уже поздно следовать этому принципу, мне уже не отказаться от многих слов, чтобы не предать.

И мне придётся сейчас признаться, как я попался, как стал армянофилом. И говорить о том, о чём я сейчас скажу, я не имею права так же, как, начав, не говорить об этом. Это моё заявление станет скоро понятным...

...Армянофилом можно стать, совершенно не заметив, когда и как это случилось. Например, открыв одну академическую книгу в любом месте и прочитав из неё любую страницу...¹

«В некоторых из деревень жители перебиты, а другие — только разграблены. Также значительное число людей вместе со священниками силой обращено в магометанство; церкви превращены к мечети.

Большинство деревень Хизана разграблено и подвергнуто избиению. Изнасилованы девицы и женщины, и множество семейств обращено силой в магометанство. Церкви ограблены, святыни осквернены, настоятели монастырей Сурб-Хача и Камагиеля умерли в ужасных пытках, а монастыри ограблены.

Город Сгерд подвергся избиению; лавки и дома разграб...»

...Это был первый день моего пребывания в Армении. Я сидел у сестры жены друга и ждал друга. Я уже трижды отведал всех яств и прислушивался: после самолёта у меня всё ещё были заложены уши. Но глаза мои были открыты. Я вышел на балкон.

Непривычная картина, которую я тут же посчитал экзотической, открылась мне. Я видел перекрёсток, и по нему, изгибаясь толстой змеей, медленно продвигалась похоронная процессия. У себя дома (на родине) я давно отвык от торжественных похорон: тихо, не омрачая моего зрения, увозили от меня незнакомых мне соседей, и я не всегда даже знал, что они умерли, так же как не знал, что они — жили.

Впереди, как бы раздвигая улицу и очищая её от суеты (и улица пустела), с невыносимой плавностью и медленностью плыл некий «кадиллак», в нём стоял страстный человек с красной повязкой на рукаве и дирижировал. Далее в расчищенном уже пространстве шёл грузовик: алая, кумачовая платформа, в центре — открытый гроб, а по углам, преклонив колена, — четверо чёрных мужчин, противоестественно выпрямившись и затвердев (кажется, с венками в руках), торжественно глядели вперёд, как бы даже не моргая... И далее

¹ Геноцид армян в Османской империи (Сборник документов и материалов). Изд-во Акад. наук Армянской ССР, 1966.

следовало такое количество «Волг», что я сбился со счёта.

Сила впечатления была не от смерти, не от скорби, не от торжественности — оно проникало с какого-то другого, потайного хода. Это солнце, эти чёрные раскалённые костюмы, это необъяснимое опустение, эта тяжкая медленность — казалось, мир загустел вокруг, а воздух и прозрачность его становились материальными и предметными. В этом стекленеющем, густеющем, раскалённом, но уже остывающем мире тяжело было само движение вереницы машин, созданных для скорости. Они шли беззвучно, пешком, вброд, увязая в воздухе, выпавшем, как снег.

Подавленный, я вернулся в своё кресло, поднял оставленную корешком вверх академическую книгу, перевернул страницу назад, чтобы понять, о чём была речь...

«IX. Битлисский вилайет. Город Битлис перебит и разграблен вместе с окрестными деревнями и уездами, которые суть: 1) Хултик, 2) Мучгони, 3) Гелнок, 4) ... 99) Уснус, 100) Харзет, 101) Агзор, 102) ...»

Что же это? Листаю вспять...

«Верховному патриарху нашему Мкртичу,
святейшему католикосу всех армян
Ваше святейшество, блаженный Хайрик, со слезами на глазах и прискорбным сердцем...»

Кто это написал? Листаю, ищу подпись...

«...вот наша судьба и участь; просим, умоляем со слезами, сжальтесь над оставшейся в живых горстью народа, и, если возможно, то не откажите бросить горсть воды на огонь, сжигающий его. Вартапет Акопян».

Я бросился в конец книги и снова раскрыл в «любом месте»...

«Линия поведения, предписываемая на этот счёт книгой цензуры, опубликованной в начале 1917 года отделом цензуры при службе военной прессы, была изложена в следующих словах:

«О зверствах над армянами можно сказать следующее: эти вопросы, касающиеся внутренней администрации, не только не должны ставить под угрозу наши дружественные отношения с Турцией, но и необходимо, чтобы в данный тяжёлый момент мы воздержались даже от их рассмотрения. Поэтому наша обязанность хранить молчание. Позднее, если за граница прямо обвинит Германию в соучастии, придётся обсуждать этот вопрос, но с величайшей осторожностью и сдержанностью, всё время заявляя, что турки были опасно спровоцированы армянами. Лучше всего хранить молчание в армянском вопросе».

Откуда это? Переворачиваю страницу... «Иозеф Маркварт о плане истребления западных армян». Кто это — Маркварт?

Какая-то тревога, похожая на нетерпение, снова подняла меня и вывела на балкон. Новые похороны, такие же пышные и длинные, как первые, пересекали перекрёсток...

Тут мне изменяет приём, хотя именно так и было: мой первый день, солнечный и оглохший, я жду друга и вижу похороны и раскрываю книгу... Но сейчас я уже не верю в эту последовательность и не выдерживаю её.

Всё это было тогда, но позднее, когда я писал об этом, у меня уже не было под рукой книги. И, написав, что её можно раскрыть в любом месте, я оставил пустую страницу. Повесть была окончена, а в начале рукописи, приблизительно вот здесь, всё белела пропущенная страница: достать книгу оказалось так же трудно, как Библию.

Я пишу эти строки в Ленинградской Публичной библиотеке 18 февраля 1969 года, чтобы заполнить пустое место. Так что если следовать хронологии моих армянских впечатлений, то глава о книге и должна помещаться в этом месте повести, но если следовать хронологии написания самой повести — это безусловно последняя глава.

Так вот, я сижу в библиотеке и наконец снова держу и руках эту книгу. В ней пятьсот

страниц, у меня два часа времени, и я понимаю, что выбрать из неё наиболее характерные, яркие и впечатляющие места мне не удастся. И тут же понимаю, что это было бы и неверно. Я решаюсь повторить опыт. Я открываю том в любом месте, разламываю посередине...

«Из 18 тысяч армян, высланных из Харберда и Себастии, до Алеппо дошли 350 женщин и детей, а из 19 тысяч, высланных из Арзрума, — всего 11 человек... Путешественники-мусульмане, ехавшие по этой дороге, рассказывают, что этот путь непроходим из-за многочисленных трупов, которые там лежат и своим зловонием отравляют воздух».

Это из путевых заметок немца, очевидца событий в Киликии.

Переворачиваю на сто страниц назад.

«Мадам Доти-Вили пишет:

“Турки сразу не убивают мужчин, и пока эти последние плавают в крови, их жёны подвергаются насилию у них же на глазах”... Потому что им недостаточно убивать. Они калечат, они мучают. “Мы слышим, — пишет сестра Мария-София, — душераздирающие крики, вой несчастных, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам”.

Многие свидетели рассказывают, что армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали её; многие бывали пригвождены живыми к полу, к дверям, к столам.

Совершаются и чудовищные шутки, зловещие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски и распиливают его детей. Отец Бенуа из французских миссионеров сообщает ещё о другого вида поступках:

“Палачи жонглировали недавно отрезанными головами и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончики своего тесака”.

Пытки бывают то грубые, то искусно утончённые. Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы дольше продлить жизнь мученика и тем самым продлить своё удовольствие: их калечат медленно, размеренно, выдёргивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскалённым железом, снимают с черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинают или зажигают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого.

Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребёнка, которого те недавно несли на руках».

Я раскрывал эту книгу в четырёх местах. И я больше не могу. Я кажусь себе убийцей, лишь переписывая эти слова, и почти озираюсь, чтобы никто не видел. Тут сидит около ста человек, и никто не знает, чем я занят. Все тихо пишут свои кандидатские диссертации. Я уверен, что занят сейчас самым ужасным делом в этом здании. Мне очень хочется, чтобы мне поверили, что я действительно не подбирал ничего, а лишь открыл в четырёх местах, как открылось. Я могу поклясться любой клятвой, что это не приём, что это действительно так. В этой книге осталось ещё пятьсот страниц, мною не прочитанных.

У меня кончились чёрные чернила, когда я раскрыл её в четвёртый раз, и я вынужден писать красным грифелем. И тут нет ни подтасовки, ни символа — это случай, но страницы мои красны.

Всего достаточно в этом мире. Если мы думаем, что чего-то нет, что чего-то не может быть, что что-то невозможно, — то это есть. Если мы только подумаем — то это уже есть.

Всё есть в этом мире, и для всего есть место.

Всё помещается.

Я больше не буду открывать эту книгу, я не стану её читать. Мне кажется, что тогда в Армении, в мой первый день, я раскрыл эту книгу как раз в том месте, которое привёл сейчас последним. А внизу проезжали красные похороны... И они уже не казались мне экзоти-

ческими: другое солнце, другая смерть, другое отношение к ней...

И теперь, постановив больше не заглядывать в эту книгу, я могу, отдыхая и понемногу успокаиваясь, перед тем как сдать эту книгу библиотекарю, заглянуть сначала в оглавление:

- «1. Избиение армян при султанах Абдул-Гамиде (1876 — 1908).
2. Массовая резня армян младотурками (1909 — 1918)».

Вот и всё оглавление. Как прекрасно прилегает 1908-й к 1909-му! Как последняя страница первого тома к первой странице второго... Двухтомник. Ранние произведения — первый том. Посмертно опубликованные — второй.

А потом и предисловие...

«Каково общее число погибших армян? Подробное изучение вопроса не оставляет сомнений в том, что в годы господства султана Абдул-Гамиде погибло около трёхсот тысяч, в период правления младотурок — полтора миллиона человек. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. Показательно, что если в 1870-х годах в Западной Армении и вообще, по всей Турецкой империи проживало более трёх миллионов армян, то в 1918 году — всего 200 тысяч». ¹

А мой друг говорит не «резня», а «рэзня». И я никак не могу отделаться от этого ударения на первом слоге. Будто «резня» — это так, режут друг друга... а «рэзня» — это когда тебя режут. И вкус собственной плоти во рту...

Голос крови

Не оттого ли так силён голос крови?

Не та ли, пролитая, откликается?..

Едут старые и малые, миллионеры и по грошу накопившие на путешествие, знаменитые и совершенно безвестные армяне-американцы, армяне-французы, армяне-австралийцы... Звёзды «Метрополитен-опера» и Азнавур, Вильям Сароян и знаменитый польский кинорежиссер, в жилах которого, оказывается, течёт половина армянской крови... Их маршрут Ереван — Москва, а не Москва — Ереван. «В Ереване случаются концерты, которым позавидует Москва!» — трогательное тщеславие ереванцев...

Толпы армян-туристов, зачастую ни разу не видевших родину или видевших в далёком и страшном (геноцид!) детстве, забывших или вовсе никогда не знавших родной язык (даже родившиеся за границей от эмигрантов-родителей, могут быть уже очень немолодые люди!..), — все они едут в Советскую Армению приобщиться к духовным истокам нации, посмотреть, как живёт их родина ныне.

Теперь у них есть эта возможность.

Едут и старики, бежавшие в своё время от геноцида, взглянуть ещё хоть раз — можно и помирать.

А то и возвращаются навсегда, целыми семьями — из Сирии, из Ливана... Их быстро научаешься отличать в уличной толпе: они темней, южнее, почему-то толще, идут, словно дорогу вспоминают...

...Многое может забыть человек, но никогда, оставаясь человеком, не забудет он себя вплоть до родины. И в этом — залог.

В этом же и та последняя помощь полузабытой родины: ты ещё сам не забыт, раз меня помнишь... Ты ещё мой сын. Мать не отступается и от блудного сына, тем более — от изгнанника.

Отношения с родиной такие же, как с мамой: быть может, и слабеет связь с тех пор, как

¹ После геноцида половина армян оказалась в эмиграции. Но армяне не признают слова «эмиграция». Это слово для них оскорбительно. Одно дело, когда ты покидаешь страну из политических убеждений или в поисках лучшей жизни, а другое — когда спасаешь жену и детей от насилия и кривого ножа.

она уже не кормит тебя... но — до последнего часа! Тут она придёт закрыть тебе глаза. И это уже совсем невозможно вынести, что не придёт.

Смысл того, что родина — мать, в том и заключается, что родина в конечном счёте, в счёте конца, любит своих сыновей сильнее, как и всякая мама.

Мы можем и не подозревать в себе этой любви... Во всяком случае, её не следует выкликать и насильственно вызывать её образ — она никуда не денется, и ты никуда не денешься: как помнишь ты имя матери, и в этом лишь один смысл, что только одна женщина могла родить тебя, так и у земли, где ты родился, где родились твои предки, лишь одно имя, и это не в том смысле, что земля твоя лучше всех, а в том, что такая точка могла быть только одна, обыкновенная, ничем не примечательная точка, как и мать твоя — обыкновенная женщина, одна из тысяч, но одна, но именно эта. И от них произошёл ты, и только так возможно осмыслить свою единственность на земле...

...И стоит посреди ереванской улицы толстый и старый армянин-сириец, растерянный и оглушённый, щурится на родное солнце и всё узнаёт, узнаёт... и словно узнать не может.

История с географией

— А это ты уже, конечно, видел, — сказала учительница истории (сестра жены друга), беря с полки плоскую-плоскую, как лаваш, книгу. — Как не видел?!

Мы садимся на диван, разламываем атлас пополам: одна половина закрывает её колени, а другая — мои. Я не видал таких атласов с тех славных пор, когда, склонив голову набок и высунув язык, раскрашивал красным цветом Киевскую Русь.

Я смотрел на крашенные карты, и на меня повеяло тоской домашних заданий.

Карта — немая для меня, армянские имена на армянском языке. Синее — это море. А Армения — то жёлтая, то зелёная, в зависимости от эпохи. Имена армян-завоевателей и завоевателей Армении обрушиваются на меня — лес веков и имён. И моя собственная история кажется мне редколесьем, потому что там, где у нас древность — XVII век, у них — VII, а где у нас — VII, у них — III до н. э. А III у нас уже нет.

Вот она — зелёная, круглая — простирается на три моря. Вот на два. Вот на одно. А вот — ни одного. И так стремительно уменьшается Армения от первой карты к последней, всё время оставаясь в общем круглым государством, что, если пролистнуть быстро атлас, это будет уже кинолента, на ней будет заснято падение огромного круглого камня с высоты тысячелетий, и он скрывается в этой глубине, уменьшаясь до точки. А если так же пролистнуть с конца до начала, то будто маленький камешек упал в воду, а по воде всё шире, шире исторические круги.

Вошёл мой друг, увидел.

— А, — сказал он, — атлас...

Сел на диван, положил на колени, раскрыл... И пропал. Буквально — углубился. Он уходил в свою историю по колени, по пояс, по грудь с каждым поворотом — ударом страницы. Он скрылся с головой. И вдруг вынырнул, поднял на меня далёкие свои, из глубины, глаза, словно голову высоко вверх задрал, и крикнул, а голос уже еле дошел до меня:

— Что мне не нравится иногда в армянах, так это их воинственность.

— Что, что? — крикнул я в глубину его колодца, голос мой падал, падал вниз, но, кажется, так и не достиг дна.

Мой друг снова склонился и что-то искал на дне. Видно, колечко обронил...

Наконец он вылез на поверхность современности, перед ним была последняя карта сегодняшней Армении.

— Вот так хорошо. Такая круглая-круглая республика...

Я не знал уже, кричать ли мне ему глубоко вниз или высоко вверх, и глупо улыбнулся.

Армяне — воинственный народ. Несколько тысяч лет они завоёвывали, и несколько тысяч лет — их завоёвывали. Война за собственную историю — их последняя война. И об

этом атласе, и тем более о сборнике материалов о геноциде, и о поражении Климова они говорят с гордостью и болью, как о победе.

...Вошёл брат друга. Его молчаливый младший брат. Мы его ждали с новостями: он отвозил жену в роддом. Молча прошёл он к дивану, поднял атлас, как тяжесть, и молча утонул в нём.

Он смотрел в трубу своей истории. Он наводил на свою страну опрокинутый бинокль, и там, в невероятной глубине, на дне, светилося колечко Севана, а может, его будущий сын.

УРОК ГЕОГРАФИИ

Макет

И я следую образу, как методу. Невооружённым глазом я ничего не вижу — надо тут родиться и жить, чтобы видеть. В бинокль я вижу большие вещи, например арбуз — и ничего, кроме арбуза. Арбуз заслоняет мир. Или вижу друга — и ничего, кроме друга. Или... «Армянский ишак, армянский очень толстый женщина и обыкновенный армянский милиционер...» Каждый раз что-то заслоняет мир. Я переворачиваю бинокль — от меня улетает арбуз, как ядро, и исчезает за горизонтом. И вижу я в невообразимой глубине и дымке маленькую круглую страну с одним круглым городом, с одним круглым озером и одной круглой горой, страну, которую населяет один мой друг.¹

Город

С него началась для меня Армения. В былые времена это было, по-видимому, невозможно. Раньше в незнакомую страну въезжали, теперь влетают. Я летел, подо мной была подстелена вата, я ничего не видел внизу, и то, что я прилетел-таки куда надо, можно объяснить разве что моей доверчивостью, и, если бы у Аэрофлота вдруг объявились бы дурные намерения, я мог бы очутиться где угодно... Какого-либо количества дорожных впечатлений, кроме стюардессы, на этот раз даже некрасивой, я не имел. Страна для меня по произволу Аэрофлота началась не с границы, а с середины.

Это очень существенно, думаю я, пересекать границу и ощутить перемену качества, хотя бы и тобой привнесённую. Надо было ехать поездом. Очень существенно, думаю я, всегда и во всём иметь начало и тогда уже идти до конца. Книги надо читать с первой страницы или вообще не читать... Где-то в разболтанной моей крови до сих пор откликается педантичность двух немецких бабушек. Во всяком случае, ни одной книжки, которую нельзя было бы читать с самого начала, я не прочёл.

Эту книгу мне раскрыли посредине, и я ничего не понимал.

И как книга, о которой уже слишком много и давно все говорят, а ты ещё её не читал, постепенно вызывает в тебе глухое сомнение, — уж больно все и уж больно много о ней говорят! — а потом и возмущение: говорят и говорят, а ты так и не прочёл, — так и город этот... «Да не хочу я её читать!» — восклицаешь ты в конце концов. Не хочу я в Париж, не очень-то и хотелось.

Отняли от меня и книгу и Париж. Отняли от меня время их открытия. Я ещё, быть может, любви не знаю, а мне говорят: люби! Не хочу! Хочу ещё раз собрать подъёмный кран из детского «Конструктора». Это я знаю, понимаю и умею.

¹ Этот макет справедлив ещё и потому, что соответствует наиболее расхожим представлениям о стране. Город? Ереван. Озеро? Севан. Гора? Арарат. Это мы знаем назубок, остальное, выражаясь языком школы, знаем «нетвёрдо». Меня, например, поразили следующие «географические открытия»:

- а) Армения граничит с Грузией и Турцией;
- б) более 90 процентов населения республики — армяне. Это самая «национальная» из республик;
- в) на территории республики живёт менее половины всех армян: почти две трети раскиданы по всем странам мира;
- г) Арарат, изображённый в гербе республики, находится в Турции.

Можно это объяснять и так, что человеку хочется быть самому и вовсе не хочется подчиняться большинству. Мол, такова природа протеста. Не хочу я читать эту замусоленную книгу, восхищаться этой выпотрошенной красотой и любить общую красавицу. Для меня, мол, это всё общепитовские холодные макароны. Но я не хочу объяснять это так.

Слишком много во мне было заготовлено предварительного восторга, чтобы город так вдруг мог мне понравиться. Мой восторг не имел адреса и был неточен. Я не забрёл в этот город по пустым дорогам, запылённый и осунувшийся, а влетел в него, гладкий и сытый, из Москвы.

Я въезжал в город по проспекту Ленина... Вот, слева, видите? Это трест «Арарат» — армянский коньяк, знаете? А впереди тумба, видите? Постамент, то есть бывший постамент, то есть...

Ну, как тут, что увидишь?

Ну, розовый Ереван, розовый. Из туфа. Да, красивее строят, искуснее. Но почему это именно Армения, я ещё не понимал.

Ну, о том, что Ереван мой букварь, я уже говорил. Язык — тут уже ничего не скажешь, — другой здесь язык, армянский... А что букварь, так это только сказано красиво.

Этого города я не чувствую, в этом городе я не властен, меня всё время ведут куда-то бесчувственного.

— Ну что, пойдём? — говорит друг.

— А куда?

— Пойдём, увидишь.

Мы идём, и я не вижу.

— Сюда зайдём, — говорит друг.

Заходим в учреждение. Мой друг отлучается навсегда. Запоминаю несколько ереванских стенных газет. Возвращается наконец, не один. Знакомит. Выходим втроём.

— Сейчас мы зайдём ещё в одно место... — И не то это просьба, не то приказ.

Очень занятые мы люди, очень деловые. Нам всё время надо идти куда-то, зачем-то, зачем — не знаю, но верю другу: надо.

Так нас становится — четыре, пять, шесть...

— Ну, — сказал друг, — мальчики в сборе... Пошли. И очень деловито мы пошли, шестеро мужиков.

Ещё одно учреждение. Почти такое же, как предыдущее. На юге они всегда кажутся такими случайными и пустыми! Коридор, потом ещё коридор, внезапные три ступеньки вниз, занавесочка, её мы отдергиваем...

И вдруг мы в пивном зале.

— Так мы и знали, что ты тут сидишь! — восклицают мои друзья, и нас становится семеро.

Так вот чем мы были так заняты! В мужском обществе проводим день. Разговор потихоньку тянется, застревающая, — пива много.

Я никак не могу поверить, что ничего не вижу, мне стыдно в этом признаться. Восприятие моё натужно, я во всём хочу увидеть Армению — и не вижу.

— Ну, как тебе нравится в Армении? — и на меня смотрят мягко и требовательно.

— Очень нравится, — конечно, говорю я. И на меня смотрят, как на конченого человека.

Я наливаю тогда пива, а когда ставлю бутылку на стол, в ней лопаются необыкновенное количество чуть выпуклых плоскостей, неявных, кругловатых многогранников, и это красиво за зелёным стеклом. Мне там вдруг померещилась армянская церковь, и меня озаорило.

— Смотрите, — сказал я, — видите! Вот так же удивительны все плоскости в Армении. Словно бы выпуклые... Круглые многогранники... — Точность моего наблюдения должна

была бы снять всякие сомнения в искренности моего восхищения.

На меня посмотрели не понимая. Взглянули на моего друга, как на переводчика. Он заговорил по-армянски, поначалу словно объясняя сложность моего образа, но потом мне показалось, что он просто объясняет своим друзьям, что я хороший всё-таки парень и не надо обращать на меня внимания. Но потом вдруг я догадываюсь, что нельзя так долго говорить обо мне — не о чем. И тогда я наконец понимаю, что они уже давно говорят о своём и это не имеет ко мне никакого отношения.

Я оказался в одиночке, как в бутылке. Стенки у неё были прозрачные, зеленоватые. Такие странные стенки, немного выпуклые, немного угловатые, немного круглые.

Они ломаются, сливаясь. Гранёные пузыри...

Друзья спохватываются.

— Ну, как вам нравится?.. — спрашивают ласково.

— Очень нравится...

Что я могу ещё сказать?

— Неплохой денёк, а? — сказал друг, обошедшийся сегодня без поездки на Севан и явно этим довольный.

— Зам-мечательный...

А что я могу ещё сказать?

По обстоятельствам чисто внутренним я чувствовал себя запертым в родном городе и удрал из него... Удрал же, опять оказался в клетке, причём чужой. И своя была всё-таки лучше.

Мне следовало обрести простор, чтобы ощутить логику построения дома в этом просторе.

Я обрёл простор, вырвавшись из города. Я захлопнул книгу, раскрытую не на той странице, и открыл её на первой.

Оставалась надежда, что если книга действительно прекрасна, то она сломит моё предубеждение и сама заставит любить себя. Насильно мил не будешь, но насильно ничто и не станет милым. Я никогда не смогу заставить себя любить что-либо. Это мне неподвластно. Я не свят. Но если вдруг: «Боже! — восклицаешь ты. — Так всё понятно. Вот, оказывается, почему я не доверял тебе. Это я не тебе не доверял, а тем, кто рассказывал мне о своей любви к тебе, я не доверял. Да не так, не так любили, как следовало любить! Вот в чём дело, — осеняет тебя, и ты меняешь адрес возмущения. — Вот как надо всё это любить!» Так надеялся я вернуться в этот город, покидая его.

Нам неважно прошлое любимой, если мы действительно любим (именно потому, что все прошлые, любили не так — и их любили не так? — их и не существует для тебя). Может, потом, когда любовь начнёт уходить из тебя — земля из-под ног, как неверная точка опоры, и понадобится тебе знание прошлого и ревность к нему. А если это тебе неважно, ты любишь.

Так хотелось бы.

Любовь к городу могла возникнуть лишь после любви к простору, в котором он заключён. Поэтому о городе потом, благо у меня будет к тому повод. Сначала о просторе.

Простор

Простор — категория национальная. Необходимое условие осуществления нации. Когда я смотрю на карту, на нашу алую простыню, я ощущаю пространство, огромное, но ещё не ощущаю простора. И если где-то в углу зажато пятнышко: болотцем — Эстония, корытцем — Армения, то какой же можно заподозрить там простор? Кажется, встань в центр, крутанись на пятке и очертишь взором все пределы. Да и как жить на подобном пятачке?

Пожмёшь плечами, имея столь немислимые заплечные пространства.

И какое же удивление овладевает тобой, когда едешь по крошечной, с нашей точки зрения, стране и час и другой, а ей всё конца и краю нет.

Оказывается, есть горизонт, кругозор, и он ставит всему предел. Он и есть мир бесконечный. Есть то, что человек может охватить одним взглядом и вздохнуть глубоко, — это простор и родина. А то, что за его пределами, — не очень-то и существует.

Два полярных впечатления владеют мной.

В России что-нибудь да заслонит взор. Ёлка, забор, столб — во что-нибудь да упрётся взгляд. Даже в какой-то мере справедливым или защитным кажется: тяжело сознавать такое немислимое пространство, если иметь к тому же бескрайние просторы.

Я ехал однажды по Западно-Сибирской низменности. Проснулся, взглянул в окно — редколесье, болото, плоскость. Корова стоит по колено в болоте и жуёт, плоско двигая челюстью. Заснул, проснулся — редколесье, болото, корова жуёт по колено. Проснулся на вторые сутки — болото, корова. И это был уже не простор — кошмар.

И другое — арка Чаренца в Армении.

Отрог подступил к дороге, подвинул её плечом вправо, дорога подалась в сторону, легко уступая, но тут и справа появилось кряжистое плечо и подтолкнуло дорогу влево, дорога стиснулась, сжалась, застряла, увязла в отрогах — горизонт исчез. И вдруг вырвалась, вздохнула — справа раздался внезапный свет, будто провалилась гора, на миг что-то проголубело, просквозило вдаль, и маленькая горка досадно снова всё заслонила. Впрочем, она бы ещё не всё заслонила, что-то ещё могло синеть за ней краешком, если бы не странное сооружение на вершине, скрывшее остаток вида. Оно выглядело довольно неуклюже и неуместно. «Сейчас мы это проскочим», — успел подумать я, почему-то рассердившись на это препятствие взгляду. Но мы круто свернули с шоссе и со скрежетом въехали на горку. Арка на вершине приближалась и наконец заслонила собой всё. Мы вышли.

Я недоумённо взглянул на друзей: зачем стали? Чем замечательно это слоноватое строение?

— Арка Чаренца, — сказали мне и молча пропустили вперёд.

Я почувствовал какой-то сговор, от меня чего-то ждали, какого-то проявления. Ровным счётом ничего замечательного при всём желании не обидеть друзей я в этой арке не обнаружил. Меня подтолкнули в спину, даже как-то жёстко. Недоумевая и чуть упираясь, я прошёл под арку и охнул.

Боже, какой отворился простор! Он вспыхнул. Что-то поднялось во мне и не опустилось. Что-то выпорхнуло из меня и не вернулось.

Это был первый чертёж творения. Линий было немного — линия, линия, ещё линия. Штрихов уже не было. Линия проводилась уверенно и навсегда. Исправлений быть не могло. Просто другой линии быть не могло. Это была единственная, и она именно и была проведена. Всё остальное, кажется мне, бог творил то ли усталой, то ли изощрённой, то ли пресыщенной рукой. Кудрявая природа России — господне барокко.

«Это — мир», — мог бы сказать я, если бы мог.

Пыльно-зелёные волны тверди уходили вниз из-под ног моих и вызывали головокружение. Это не было головокружение страха, боязни высоты, это было головокружение полёта. В этих спадающих валах была поступь великая и величественная. Они спадали и голубели вдаль, таяли в дымке простора, и там, далеко, уже синие, так же совершенно восходили, обозначая край земли и начало неба. Какое-то тёмное поднятие было справа, какое-то сизое пропадание слева, и я вдруг почувствовал, что стою с приподнятым правым плечом, как бы повторяя наклон плеча невидимых весов, одна чаша которых была подо мною. «Это музыка сфер», — мог бы вспомнить я, если бы мог. Передо мной был неведомый эф-

фект пространства, полной потери масштаба, непонятной близости и малости — и бесконечности. И моего собственного размера не существовало. Я мог, казалось, трогать рукой и гладить эти близкие маленькие холмы и мог стоять и поворачивать эту чашу в своих руках и чувствовать, как естественно и возможно вылепить этот мир в один день на гончарном круге. («Что такое мастер? — сказал мне однажды друг. — Творение должно быть выше его рук. Он возьмёт в руки глину — и она выпорхнет из рук его...»)

...И вдруг эта близость пропадала и мир подо мной становился столь бесконечен, глубокий и необъятен, что я исчезал над ним и во мне рождалось ощущение полёта, парения над его бескрайними просторами. «Горний ангелов полёт...»

— Видишь Масис! Масис видишь? — Я вздрогнул. Что тут можно было увидеть ещё? Друг протягивал руку к краю земли. — Вон, видишь? Чуть темнеет? Вот слева маленькая вершинка, она лучше видна... А справа уже большая. — Друзья наперебой чертили в воздухе контур. — Видишь? Он то пропадает, то опять виден.

Я напрягался и то ли видел, то ли не видел. Я ведь не знал, что именно мне надо увидеть.

— Вижу, вижу! — восторженно подтверждал я, тоже обводя рукой нечто невидимое. (Достаточно ли восторга на моём скифском лице?) И действительно, вдруг показалось, что некая линия в голубом небе чуть потемнела, обозначилась, поднимаясь вверх. — Большую вижу! — (Или от напряжения потемнело в глазах?)

— Правда, видишь?

Я всё ещё не видел Арарата.

— Ну, пора, — сказали мне.

Смущаясь, прошёл я назад под арку. Мои друзья шли легко.

— Ах, если бы мы захватили с собой вино!

— То что же?

— То мы бы выпили тут, господи!

Я оглянулся в последний раз: «Вот тот мир, где жили мы с тобою...»

Как естественно, что Ной приплыл именно сюда! Нет, он не сел на скалу Арарата, он причалил. Он не знал другой земли и приплыл на ту же землю. Другие пейзажи просто исчезали за кормой, он не видел их, они не отражались на его сетчатке. Переселенец, ставит новый сруб в том месте, в котором способен узнать родину.

Страна не мала для человека, если он хоть раз почувствует её простор. «Здесь я увидел мир», — говорят о родине.

Озеро

Из центра Еревана, где все строения, кажется, поставлены уже навсегда, всё притёрто и прижито, ладно, прочно и окончательно, мы попадаем в розовое одинаковое младенчество новых районов, оттуда в пропылённый индустриальный пригород, а дальше у дороги вырастают крылья. Слева от дороги — левое крыло, справа — правое. В пейзаже Армении царствует линия, горизонт её крылат. Приподымет левое крыло — опустится правое. Левое золотится на солнце, правое синее в тени. Цвет меняется сразу, часто и бесконечен в оттенках, но пестроты никакой нет — в каждом своём существовании, он целен, всеобщ.

Исчезнут последние строения, появятся виноградники, прикованные к бетонным столбам (до чего же мало дерева в Армении!), а потом и виноградники вдруг пропадут. Только крылья дороги, только линия и цвет, только всплывают чёрные лужицы жары на взгорбах дороги. И такая подлинность и единственность этой страны снова и снова является тебе, что подлинность эта кажется уже чрезмерной. А когда чувство рождается в человеке, то оно рождается одинаково и в другом, как рождалось всегда. То же чувствует шофёр, что чувствую я и что чувствует мой друг. И так же выразить это нечем. И поскольку выразить нечем, чувство прибегает к цитированию.

— Всё-таки как это хорошо почувствовал Сарьян... — говорит мой друг... — Никто по-новому не может. Все — как он.

И я думаю вдруг, что никакой трансформации художнического видения не потерпит эта натура — так она точна. Быть в плену у этой абсолютной точности линий и цвета, должно быть, не под силу художнику, а копия — невозможна. Что ж, земля эта была уже создана один раз, и второго творца быть не может.

Мы поднимаемся в горы, они вырастают на горизонте, невысокие и плавные; эти женственные линии сводят с ума. Никогда бы не подумал, горожанин, что влечение к земле так похоже на желание. Без преувеличения, я страстно хочу слиться с нею, даже взять её силой. Захватчик дремуч, неосознан, но зерно его здесь. И если во мне живёт захватчик, то вот он...

Напряжение горной дороги вдруг ослабло, теснота распалась, горы отступили, мы въехали в долину, и на горизонте впервые обозначилась прямая линия.

Такая дорога могла привести меня в Апаран, Бюракан, Гехард. Такое чувство могло привести меня только на Севан.

О эти знаменитые места! Я их опасуюсь. Как бы скептически ни настраивал я себя, в дороге непременно нарастёт ожидание некоего восторга, откровения и счастья, потом всё не совпадёт, разочарует и распадётся. Разве в воспоминаниях снова оживёт и раскрасится... Сколько видел я разных маленьких Мекк, пустых, выпотрошенных, рассмотренных, как расстрелянных! Слава убийственна не только для людей.

Севан приблизился ко мне, и я не испытывал ни потрясения, ни восторга. Озеро. Красивое озеро. Даже очень красивое. Но я больше слушал какую-то тоску и тревогу — невнятная и опасная возня поднималась во мне.

Свет... Слишком много света.

Сейчас я ловлю себя на том, что, когда говорил «линия и цвет», я не был точен. Я скорее следовал традиции, нежели собственному ощущению. Я скорее отдавал дань Сарьяну, чем натуре. Может быть, моя привычка и склонность к северным гаммам не давала мне возможности оценить резкую подлинность красок юга. Во всяком случае, ничего своего в ощущении цвета в Армении у меня не было. Хотя, конечно, я легко отдаю должное их подлинности по сравнению, например, с красками наших поддельных черноморских субтропиков...

Должен же я был сказать: линия и свет.

Свет в Армении, быть может, основное моё зрительное впечатление, главное физическое переживание. Сказать, что он слишком яркий и его слишком много, — ничего не сказать. Это свет особого качества, которого я нигде ранее не встречал. Я вспоминал свет в Крыму, Средней Азии, снежных горах — вот там было много света, яркий свет, ослепительный, даже громкий свет, — но никогда я его не переживал так, как в Армении. Впервые он был для меня чем-то таким же осязаемым, что ли, как вода, ветер и трава. От него было не спастись, не деться, не укрыться. Более того, я словно и не хотел прятаться от него, хотя он доставлял мне истинные мучения: уже через два часа после сна глаза болели, слипались и слепли и какая-то особая усталость передавалась именно через глаза всему телу. Даже тёмные очки я спрятал в первый же день на дно чемодана, и не только потому, что не хотел выделяться среди моих друзей, которые их не носили: мне хотелось испытывать эту непонятно сладкую муку, хотелось, чтобы весь свет, до единого луча, прошёл сквозь меня за эти две недели, до последнего дня и часа.

И если Армения — самое светлое место в моей жизни, то Севан — самое светлое в Армении.

Что-то противоестественное было в том, что я стоял на берегу Севана.¹ Что-то опасное было в самом Севане, его воде, воздухе и свете. Опасное именно для меня. Я это сразу почувствовал, хотя и не сразу осознал словами.

Ничего очевидно грозного в нём не было. Была прекрасная погода. Солнце и синь небес. Волна — небольшая, вполне уютная. Кругом расположились топчаны, грибы, кабинки, тенты — пляжная цивилизация. У пирса стояли белоснежные катера-такси. Рядом был ресторан с открытой террасой и немногими словно для создания настроения посаженными туда людьми. На грифельной метеодоске было написано: «Температура воздуха 19, температура воды 17».

И всё-таки не надо мне было лезть в эту тёплую воду. Именно неосознанное чувство опасности, моей тут ненужности и напрасности толкало меня в воду. А что же? Для чего же здесь тенты и топчаны? Вон и люди купаются. Такие же пляжные, как всюду. В том-то и дело, что тенты и топчаны — ни к чему.

Вода обожгла по каким-то своим свойствам, не зависящим от температуры. Но ощущение было таким же болезненно-приятным, как и мучение светом. Очень похожи были эти два ощущения. Это была уже не вода, а некое второе состояние неба.

Вылезал же я из воды человеком новым. Не обновившимся, не освежившимся — новым, другим. То ли одно дело смотреть с берега на воду, а другое — из воды на берег... Озноб усилился (тут я понял, что он был и сначала). Мой друг смотрел на меня мягко-посторонним взглядом покурававшегося человека. Круто вверх уходил склон, венчался монастырём, и синее небо как раз там начинало свой купол, опрокинутый над Севаном. А то чувство, что так неопределённо мелькало во мне — неуютство, ненужность, опасность, — оказалось стыдом. Я не совершил ничего святотатственного. Мой друг завидовал мне, что я искупался, а он нет: не знаю уж, что ему помешало... Я же одевался как-то смущённо и поспешно неловко прыгал, путаясь в брюках и теряя равновесие.

Анализу это не поддавалось, стыдно было не перед кем и не за что, но стыд был стыдом.

Уже защитно-равнодушный, стоял я несколько в стороне, пока вся компания оживлённо спорила, выбирая катер; тут был тот же счастливо-базарный ритуал, который много раз на моих глазах предшествовал любому, даже самому простому, мероприятию: ехать на такси или в автобусе, идти в ресторан или домой, купить слив или арбуз и т. д. Мы сели в один катер, потом вылезали и снова спорили. Жар и холод непонятно соединялись в севанском воздухе, и эта чересполосица озноба была как прикосновение любимых рук — я стоял, отдаваясь этой опасной ласке, и уже как-то издали доносился до меня спор, как потрескивание огня в печи, и люди, рядом стоящие, вдруг словно уносились в далёкую перспективу.

И вот я трогаю своей посторонней пяткой постороннее нетвёрдое тело катера, и то небольшое смущённое презрение к нему, которое я испытываю и показываю, по-видимому, должно означать мою непричастность к его искусственности, к тарахтению мотора и радужным нефтяным пятнам на воде. Мы одинаково чужие этому свету, воздуху и воде, и вот эту-то одинаковость мне и не хочется признавать.

Великолепный водитель? шофёр? капитан? лениво и чересчур пластично поднимается с нагретых досок, натягивает тугой свитер на свои бронзовые чудеса и, как бы не глядя на дам, проходит сквозь нас и занимает своё место у руля? штурвала? баранки? Он становится

¹ Противоестественно хотя бы это выражение «стоял на берегу». Не на берегу, а на дне Севана я стоял! Об этом нельзя писать вскользь. Но тогда мне пришлось бы писать только об этом... Вся та суша, по которой я гулял, на которой проложены дороги и построены санатории, которая уже производит впечатление, что она была всегда, вся эта суша — дно Севана. И полуостров, на котором мы находились, на самом деле был островом. Ещё недавно.

своими скульптурными босыми ступнями на специальную подушечку и, нажав какую-то слишком простую кнопочку, которая разрушила бы представление о сложности его дела, если бы он не был так величествен, выстреливает всеми нами в легкомысленной капсуле катера на середину озера.

Тут мы как бы останавливаемся и как бы не сами несёмся, а озеро начинает стремительно поворачиваться вокруг нас.

Отлетает за спину пляж с его маленьким фанерным торжеством, мы стираем его с лица, как осеннюю паутину, и, когда отнимаем руки...

Ветер с брызгами ударил нам в лицо, сапфировые непрозрачные волны трепали наше беленькое легкомыслие, как гусиное перо, а стая улетела... Улетела она за те зелёные, жёлтые горы, что дугой поворачивались вокруг нас. Мы обогнули мыс, и он, совпав с линией берега, замкнул залив в кольцо. Мы очутились в синей тарелке с белым, как выжженная кость, ободком — границей воды и суши. Невысокие толстые горы на солнце выглядели уютно и надёжно, а в тени противоположного берега сугились и морщились.

Человека тут уже быть не могло и не было. Любоваться Севаном невозможно. Можно только подглядеть. И восторг был сродни резкому колющему холоду брызг. Вода выталкивала нас, как мусор.

Я оглянулся на спутников — и понял, что у меня такое же лицо. В эти лица, расстёгнутые и зелёные от счастья, голые, как граница между загорелой и никогда не загоравшей кожей, смотреть было тоже нельзя — и вообще пора было поворачивать назад. Подглядели, и хватит.

И когда я ступил на твёрдую землю, ощущение чужестранца, пришельца, незваного гостя, позорной праздности уже вполне сформулировалось во мне.

Опустевший пляж, всегда-то смотрящийся достаточно странно, в окружении выжженной травы, синей воды и неба, безлюдья и такого молчащего монастыря над ним смотрелся неправдоподобно и страшно, как на сюрреалистической картине.

И этот невыносимый свет, вспыхнувший на белой прибрежной полосе!.. И как же я понял того абстрактного русского мужика, заброшенного сюда роковой рукой профсоюза (где-то поблизости, невыносимый, такой же сюрреалистический, исторгнутый всей природой, находился дом отдыха), — мужик отделился в этот момент от столика, чёрный, как муха, до боли родной, и, шатаясь по этой костяной полосе, на этом светлом, светлом, светлом свете, запел настойчиво и истошно, стараясь перекричать этот свет: «А но-о-о-о-о-о-очка тёмная была!..» И пока мы закусывали, почему-то хотелось отвернуться от Севана и успокоить свой взор на таком понятном ларьке...

Ничего, ничего не хотелось больше видеть! Высокий звон натягивался и рвался в ушах, горячий холод гулял по спине, и в носу стрекотал кузнечик. И где-то во лбу тикало. И, уже направляясь к машине, стараясь не оглянуться на Севан, мы вдруг с тоскою и обречённостью свернули вправо и полезли вверх, к самому высокому и непосильному мгновению.

И там, наверху, всё исчезло. Провалилось время. Скрылся перешеек — и полуостров стал островом. Ларьки и тенты сверху были, как тот же мусор, выкинутый на берег, — работа моря. Монастырь стоял уже вторую тысячу лет, как стоял он тут всегда. Жёлтая, довольно высокая трава навсегда обозначила ветер, который дул тут вторую тысячу лет, который дул тут всегда.

Побледневшее и будто опустевшее к вечеру небо легко помещало в себе и ветер, и остров, и Севан под собою. Севан же темнел, пока светлело небо, и был там внизу, как натянутая для просушки шкура, а белые лепестки высохшей кожи выворачивались трубочкой по краям.

Это было такое дикое, опасное, напряжённое, натянутое как струна, звенящее место на земле, подставленное свету, как ветру, и ветру, как свету, место, которое могло бы ещё

принять паломника, чтобы обдуть с него пыль дорог, но праздного пришельца сдувало с него, как пыль, и оставалось таким же невиданным, таким же непосещённым, как тысячу лет назад, как всегда. Ослепительное, как зубная боль. Место для родины... Ни для чего больше оно не подходило. Закладывает уши, слезятся глаза.

«Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре», так же было холодно и сине, так же полегла жёлтая трава и в ту ночь, когда трижды отрёкся Пётр, прежде чем пропел петух, и когда чеховский студент подошёл к тому костру на огороде...

Но никогда не висел амбарный замок на дверях монастыря; не был похоронен подobeliskом со звёздочкой меж двух старинных могил с кудрявыми крестами капитан Севанского пароходства; не становился монастырский остров полуостровом; не пролегалo по пешеходке шоссе до самого берега этого острова (теперь — до подножия горы, где дом отдыха); не стояла голубая комсомолка с веслом; не утекал Севан, как песок в песочных часах, обозначая узкое, как шейка тех же часов, наше время, оставляя мёртвую костяную полосу между собой и горами...

Так светло бывает только при зубной боли.

Закладывает уши, слезятся глаза.

«Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...»

Великая поэзия всегда конкретна. А образов никаких нет.

Гора

Я должен был, как мне объяснили в Москве бывалые люди, увидеть Арарат прямо на аэродроме. Просто первое, что я должен был увидеть.

Но его там не было.

И в Ереване я тоже должен был видеть его, но не видел.

Дымка закрывала его, и в той стороне, где ему положено было быть, она голубела и гущалась до мутноватой синевы, и казалось, что там, за городом, — море.

Мне полагалось видеть его из окна своего пристанища в ереванских Черёмушках — дом стоял над городом, и ничего не заслоняло взор. Из окна должен был быть отличный вид на Арарат, но его не было.

Мне полагалось видеть его с кругозора арки Чаренца, и я то ли видел, то ли так и не видел его.

И так до последнего дня.

Я улетал первым рейсом и поднялся с рассветом.

И тогда я увидел его.

И большую вершину, и маленькую.

Это оказалось очень неожиданно. Он не был так уж органичен для того места, где так внезапно вырос на прощание. Он казался пришельцем.

Он оказался не таким лучезарным, как на этикетках или фресках московского ресторана «Арарат».

...Довольно мрачная, насупленная гора, словно недовольная открывшимся ей видом. Молчаливая гора — именно такое впечатление обета молчания она на меня произвела. Может, это естественно для потухшего вулкана.

И потом — гора смотрела. Я на неё, она на меня, и я чувствовал себя неловко.

Это, наверно, случайное, однократное моё впечатление, но мне было непонятно, как она сюда попала.

Словно горе этой пришлось возникнуть и вырасти поневоле, чтобы подставить плечо ковчегу.¹

¹ Такое же чувство неожиданности вызывает, как правило, армянский храм. Он одинок и внезапен, как Арарат, ничего подобного которому нет в поле зрения. Храм почти так же не подсказан. И если говорить о

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Тезис

Я задаю себе вопрос: откуда берутся идеалы?

Воспитание? Среда? Семья, школа, коллектив, общество? Безусловно — но тут-то и обнаруживается, что это не всё. Не всё объясняет. Кое-что остается неясным. Но как саднит, как болит, как терзает это кое-что!

Страсть. Ревность. Любовь. Вот уж когда мы не принимаем жизнь такой, как она есть; вот уж когда у нас недостаёт ума примерить трезвый опыт; вот когда страдание возникнет ниоткуда, нипочему, а объективность его будет столь очевидна, как принадлежность нам нашего тела... Где же мы видели эту идеальную любовь? Когда узнали?..

Искусство? Книги? Да, конечно, оттуда к нам подвигается идеал, который мы ищем потом в своей жизни и не находим. Тут, мысленно, начинаю я перелистывать книги юности и вдруг, нынешним-то, протрезевшим и охладевшим, взором обнаруживаю, что в книгах тех ничего-то как раз о том и не писалось, что я в них когда-то вычитывал, как мечту. Эти книги были написаны такими же протрезевшими в своё время людьми, как я — в своё. Это юность моя читала в них то, что хотела, что было записано в ней самой...

Можно расти сиротой, семья, среда могут оказаться трагически не подходящими идеальному развитию детства и юности, и однако именно в этом случае вполне возможно зарождение мечты о счастье и идеалов прекрасного, ничем не подтверждённых в раннем и нежном опыте. Что же, идеалы эти возникают из одной лишь полярности, для равновесия, по законам диалектики?

Со школьной скамьи мы знаем, что уродливая среда и общество с редким постоянством рождали светлых людей, которые, исчислив неким, опущенным в учебнике, способом свои идеалы, с непонятной наивностью и упорством не шли дальше, а возвращались с этим светом в ту же темень, из которой вышли, чтобы светить людям, которым это было не нужно, которые щурились, раздражались и самыми примитивными способами сводили просветителя на нет.

Тут тоже, на мой взгляд, всё не вяжется одно с другим.

Как возникает идеал, если он в тебе не воспитан и если опыт жизни тоже не может привести нас к его лицезрению? Идеалы ведь не существуют в жизни. Потому они и идеалы.

Может, они врождённые? И тогда воспитание, среда, жизнь и опыт — лишь благоприятные или неблагоприятные условия для их выявления?

Природа идеала исключительно неясна материалисту...

Так постепенно я понимал, что материализации идеала быть не может. Это даже слишком просто. Потому что всё, что может материализоваться, уже не идеал. В материальном мире идеал не существует.

Торжествуют же идеи — не идеалы.

Тогда где же он? Что заставляет меня и мучиться, и крутиться действительно как на сковороде? Почему я не принимаю жизнь такой, как она есть, той, что происходит со мною, — ведь более глубокого примера и опыта, чем свой собственный, у меня нет и мне не с чем сравнивать, не к чему ревновать? Если я не видел и не знаю другую жизнь в той мере, как свою, в чём же дело? С каким, откуда взявшимся отпечатком сличаю я свою жизнь, чтобы постоянно твердить — не то, не так! — и обличать самого себя перед самим собой — никто же не видит! — так безумно?

Приходится признать существование в нас, и нигде больше, идеального мира, населённого идеальным человеком, мира, доставшегося нам с рождения (потому что родиться фи-

«невписанности» армянских храмов в ландшафт, то она, как и Арарат, имеет вулканическую природу.

зически мы могли где угодно) и лишь с разной степенью полноты и силы выявившегося в каждом из нас, чтобы нам было с чем сличать и сравнивать свою жизнь, и мучиться, и страдать несопадением, недостижением, запредельностью его. Что за мучение такое — быть человеком? Что такое — болит совесть, мучает стыд, гложет тоска?

Откуда?

И где взял я, как родился во мне образ некой горней страны, страны реальных идеалов? Между тем страна эта всегда была рядом, где бы я ни был; просто страна, где всё было тем, что оно есть: камень — камнем, дерево — деревом, вода — водой, свет — светом, зверь — зверем, а человек — человеком. Где труд был трудом и отдых — отдыхом, голод — голодом и жажда — жаждой, мужчина — мужчиной и женщина — женщиной. Где всем камням, травам и тварям соответствовали именно их назначение и суть, где бы всем понятиям вернулся их исконный смысл... Страна была рядом, и только меня в ней не было... При каких обстоятельствах покинул я эту страну? Как давно это случилось? Не помню. Как я жил дальше? Не знаю. Я просыпался и смотрел не в окно, а на часы — утро, вечер ли? — я завтракал без аппетита, потому что, чтобы жить, надо есть. А может, жить, чтобы есть? Я выходил на улицу — путник вышел из пункта А в пункт Б: надо же куда-нибудь идти и что-нибудь делать! Вечером я брал человека за руку — я? брал? человека? за руку? — я смотрел ему в глаза... Господи! Кто это? Кого я беру за руку?

Мне пора было вернуться.

...Страна с одним городом, озером и горою, населённая моим другом! Я глотал пересохшие в горле слова и не мог описать тебя. Камень был камнем, свет — светом... Я нашёл слово «подлинный» и остановился на этом. Я беседовал с мужчиной, который был мужчиной, и беседовал, как мужчина. Мы ели с ним еду, которая была едой, и пили вино, которое было вином. Тогда, в благодарности и всё ещё в суете, мне непременно, необходимо было нашарить слово, чтобы накинуть, надеть, натянуть его на свою радость, я сказал: «Вот страна понятий...»

И не есть ли мой судорожный поиск непременно одного слова, определения по отношению к этой стране и к этой радости косвенное доказательство того, что так оно и есть, что существует такое слово для этой страны, раз уж его так не хватает моей суете?

Богатство

Это была небольшая чёрная слива; вернее, тёмно-синяя, чернильного цвета слива; большая она была не потому, что незрелая и мелкая, а потому, что принадлежала к такому достаточно широко распространённому и известному сорту небольших по размеру слив, несколько более удлинённых, чем крупные сливы, с островатыми концами, несколько менее сочных, даже суховатых, и более сладких.

Это был один из крупнейших крытых ереванских рынков, архитектуру которого, как и многое в ереванском современном градостроительстве, следует признать передовой и удачной. Особенно рынок нравился мне внутри, где казался очень органичным, а назначение и решение предельно соответствовали друг другу, сливались. После уличного света и жары — прохладная и какая-то очень светлая тень, и чистота, и своеобразная тишина. И нет той кипящей и резкой жизни открытого южного базара с его солнцем, гомоном, толкотнёй и осами.

Какие петли делает сравнение во времени, возвращаясь к самому себе! Если птичий базар был назван так в сравнении с человеческим, то прежде всего не по многочисленности того и другого, а по тому ни с чем другим, как друг с другом, не сравнимому звуку слитых голосов, слитых в таком абсолютном беспорядке, что уже образующих гармонию. И если птичье собрание было не с чем сравнить, как с базаром, то базар мне не с чем сравнить, как с птичьим собранием. Тысячи голосов, не различимых и не доносящихся до меня, уплывали вверх под высокие своды, там сливались, отражались и медленно падали вниз, и этот

обращённый шум был так нежен, что не сразу достигал моего сознания, как шум моря и шум далёкого птичьего базара (шум открытого базара близок: будто ты ступил на берег, непрошенный гость, и испугнул тысячи пернатых хозяев сразу). И высокий свод, поддерживаемый изящными и лёгкими стрельчатыми арками, и рассеянный, непонятно откуда идущий свет, и этот мягкий нежный гул невольно наводили на мысль о храме.

Эта небольшая слива лежала на вершине аккуратно сложенной пирамиды из точно таких же слив. Пожилая женщина опрятного и достойного вида построила эту пирамиду и теперь стояла величественно и скромно. Рядом, лишняя, топталась её некрасивая дочь с каким-то скучным трепетом на лице. Ещё рядом находилась суетная торговка травой, но тут уже проходила явная граница между сливами и травой.

Покупателей не было.

Достойная женщина в этот момент как раз быстро поймала скатившуюся было сливу и плавным, не лишённым величия движением поместила нашу героиню на самый верх, после чего несколько безотчётным и очень бережным движением придержала всю эту конструкцию сбоку и отпустила — пирамида застыла не дыша, подчинённая чудесным законам трения...

Мы шли с другом по рынку, и изобилие юга в который раз поражало моё северное сердце. Чудо существования фрукта вызывало лёгкое головокружение. По-своему фрукты были заметнее в крытом рынке, чем на базаре. Отсутствие солнечного света, прежде всего подавляющего на базаре, словно возвращало фруктам их собственный свет (именно свет, а не цвет). Казалось, они светились изнутри, возвращая поглощённое солнце, сами маленькие солнца. И поскольку моё участие в торговле было поневоле пассивным и о чём торговался мой друг со своими соплеменниками и принцип его выбора были мне неясны, я полностью предавался восхищению и созерцанию. Я стал классифицировать фрукты по принципу солнечности: помидор солнечнее огурца, а груша солнечнее яблока, но всех солнечнее, как ни странно, абрикос, — так рассуждал я... Отсутствие табличек с ценами полностью устраняло возможность моего участия в торге, но само по себе это отсутствие мне нравилось, обозначая некий первородный и живой принцип торговли, где сделка ещё и какой-то союз, отношение и родство. Мне тут все казались родственниками.

— Как красиво, — вяло сказал я, обводя глазами это великолепие.

— Плохой рынок, — сказал друг. — Вот недели через две!..

Тут-то мы и поравнялись с этой сливой, и мой друг начал её покупать... То ли достойная женщина никак не ожидала покупателя, но наше появление оказалось как бы внезапным для неё, и за своё дело торговли, после секундного замешательства и словно в компенсацию его, она принялась слишком порывисто, хотя и не роняя нисколько своего достоинства. От резкого её движения верхняя слива покачнулась и, чуть помедлив, покатилась. И женщина, и её дочь чуть подались вслед за ней безотчётным движением, но ловить её было уже поздно и, помимо того, что был риск, лова одну сливу, своротить всю пирамиду, как-то и непристойно. Так они обе застыли, остановив чуть заметное и не проявленное своё движение, и следили за падением сливы. Я тоже несколько замер, меня всегда гипнотизирует неожиданное падение. Слива скатилась с пирамиды, прихватив за собой ещё одну. Они прыгнули с мраморного прилавка на плиточный пол и резко покатались, обгоняя друг друга.

Мы проводили их глазами до полной остановки, и достойная женщина уже взвешивала сливы моему другу. Две сливы лежали неподалёку одна от другой на грязноватом полу, и над ними ходили люди. Женщина успешно и споро справлялась со своим делом, но тайком, помимо своей воли взглядывала на те две сиротливые сливы. Их заметил мальчишка, мы посмотрели на него с надеждой, но время базарных беспризорников, подбирающих с полу, давно прошло... Люди стали жить богаче... Какой-то человек чуть не наступил на сливу, но

в последнюю секунду, неуклюже вздёрнув ногой, обошёл стороной. Мы вздохнули.

Две маленькие сливы дешёвого сорта. Как мне объяснить, что во всех этих переживаниях нет ни нищенства, ни жадности! Просто жалко, что они пропали, что их раздавят, что их никто не съест.

Эта жалость к сливе была благородна. Это было уважение к сливе. Цена земли и цена труда в каждой его капле.

В этом тоже культура.

Культура даром не даётся. Если коренные ленинградцы до сих пор не способны выбросить зачерствевшую корку на помойку, то это означает вовсе не близость к земле и уважение к труду землепашца — этого, быть может, уже нет в их крови, — но если вычесть сегодняшнюю сытость из этой вот не выброшенной, а непременно пристроенной куда-то корки, то в разности получится блокада. И этот глубокий и далёкий голод даёт людям, давно забывшим землю, элемент крестьянской культуры. И не только это уважение к хлебу есть культура, но и к такой культуре необходимо относиться с уважением, как к хлебу.

Пицца — это пицца. Не только жизненная функция, но и понятие. Этим открытием я во многом обязан Армении. Там сохранилась культура еды, ещё не порабощённая общепитом.

Я закрываю глаза и вижу этот стол... Вот помидоры, такие круглые, такие красные, такие отдельные друг от друга. Вот кулачок деревенского сыра с отпечатавшейся на нём сеточкой марли. Вот лук — длинные немятые стрелы в капельках воды. Вот зелень — зелень зелёная, зелень синяя, зелень красная, целый воз, целый стог. Это не еда — это кристаллы еды, это не соединения — элементы. Вот уж что бог послал...

И стопка лаваша... Как древняя-древняя рукопись. Лаваш — отец хлеба, первый хлеб, первохлеб. Мука и вода — так я понимаю — кристалл хлеба. Вечный хлеб. Вот развёрнуто влажное полотенце — и вздыхают вечно свежие страницы лаваша.

Это чистое-чистое утро. Садится мой друг. Сажусь я. Мы отрываем угол лаваша, кладём туда стрелы лука, стебли травы и сыра, свёртываем в тугую трубку, не спеша подносим ко рту, чисто откусываем и не спеша жуём. Мы не торопимся, мы не жадничаем, мы и не гурманствуем — мы едим. Мы уважаем хлеб, и уважаем друг друга, и уважаем себя.

— Лаваш — это хлеб, — говорит мой друг, отрывая новый лоскут. — Лаваш — это тарелка, — говорит он, укладывая на лаваш зелень. — Лаваш — это салфетка, — говорит он, вытирая лавашем рот... — И съедает салфетку.

Я не видел в Армении грязных тарелок, недоеденных, расковыранных блюд. В Армении едят достойно. И дело не в ножах и вилках, не в салфетках. Можно, оказывается, есть и руками... Вытирать тарелку хлебом, потому что было вкусно, всегда вкусно. И не только поэтому.

Если бы мне дали задачу определить в двух словах, что такое культура, не та культура, которая высшее образование и аспирантура, ибо и образованный человек может оказаться хамом, а та культура, которой бывает наделён и неграмотный человек, я бы определил её как способность к уважению. Способность уважения к другому, способность уважения к тому, чего не знаешь, способность уважения к хлебу, земле, природе, истории и культуре — следовательно, способность к самоуважению, к достоинству. И поскольку я не был бы удовлетворён этой формулировкой, мне бы показалось, что она неполна, я бы ещё добавил — способность не нажираться. Обжирается и пресыщается всегда нищий, всегда раб, независимо от внешнего своего достояния. Обжирается пируя, обжирается любя, обжирается дружа... Выбрасывает хлеб, прогоняет женщину, отталкивает друга... Грязь. Пачкотня. Короткое дыхание, одышка. Такому положено ничего не иметь — голодать, только голодный он ещё сохраняет человеческий облик и способен к сочувствию и пониманию. Он раб. Сытый, он рыгает и презирает всё то, чем обожрался, и мстит тому, чего жаждал, алкал. Алкал

и наакался. Такая мнимая свобода от мирского, когда уже сыт, такая якобы духовность... Поводит мутным взором, что бы ещё оттолкнуть, испачкать и сломать. Он исчерпал своё голодное стремление к свободе, нажравшись. И теперь его свобода — следующая ступень за сытостью — хамство. Потому что опять он не имел, не владел, дорвавшись, и теперь, чтобы убедить себя в своей свободе, он должен плевать на всё то, к чему так позорно оказался не готов, — к обладанию.

С избытком справляется только культура. Некультурный человек не может быть богатым. Богатство требует культуры. Некультурный всегда разорится, а потом будет разорять.

— Нравится тебе лаваш? — спрашивает друг.

Как бы мне ему выразить — как он мне нравится! Я говорю:

— Я бы ввёл наивысшую премию для поэтов: если он напишет строку истинно прекрасную, то её напечатают на страницах лаваша...

— Правда, правда, — радуется друг. — Ты тоже, значит, заметил, что лаваш — как древний свиток...

— Какое бы место из своей книги, — говорю я, большой поклонник этой его книги, — ты бы выбрал для того, чтобы напечатать на лаваше?

И мой друг, способный написать о людях, которыми руководят только ветер, солнце и облака, который может написать, как человеку жарко, только жарко — и вам жарко; как одна буйволица в одной деревне, где уже не осталось буйволов, рано утром уходит от своей старой хозяйки и бредёт по горам Армении из села в село, где тоже нет буйволов, исполненная непонятной и прекрасной тоски, она идёт по этой прекрасной стране, где нет буйволов, и всё это только через неё, только через запахи, простые картины и звуки, и как она буйвола не находит и возвращается... И мой друг, способный написать такое, говорит с искренней сокрушённой и серьёзностью:

— Нет, такого, чтобы — на лаваше, я, пожалуй, ещё не написал.

О эта страна, где меня спросят:

— Андрей-джан, что ты хочешь, персик или помидор?

И если я отвечу правильно, на меня посмотрят с любовью и благодарностью, как на посвящённого.

Семья и маска

В конце концов, плод любви — дети. Об этом и напоминать-то как-то неудобно. Скажем для тех, кто, погружаясь в процесс, теряет цель из виду. Напомним тебе.

Конечно, все любят своих детей. Отдать предпочтение какой-нибудь нации рискованно. Все мы любим своих детей, но по большей части раз уж они получились. Родовое заглушено.

Тут следует разобраться в простых словах. «Пора жениться» и «пора обзавестись семьёй». Что впереди, «курица или яйцо?» — это не так уж бессмысленно. Скажем так: все мои друзья женились по любви. То есть была первая любовь и прошла, была ещё одна, две, десять, сто женщин. Казалось: вот люблю. Оказывается: нет, вроде не люблю. Наконец исподволь, может, даже с удивлением, обнаруживалась любовь к одной из них, к последней, желание видеть её всё чаще, всё время, всегда, невозможность потерять её, представить с другим, желание удержать навсегда — женились.

Высшая мера, потолок. Значит, целью всё-таки была женщина, любимая, желанная, но одна. Двое — с удивлением обнаруживалось — семья. Дети — туман, отрезвляющий и пугающий. Появление их чаще связано с неким неравновесием, атмосфера конфликтна и драматична. Обилие бездетных молодых пар, где неравновесие, неуверенность, непрочность — источник страсти, длина брака... И если ребёнок всё-таки появляется, то осмысленность, природность семьи опять воспринимается с некоторым удивлением.

Я готов предпочесть мужицкое — «довольно по свету шляться», «пора иметь свой

угол», «пора обзавестись семьёй». Мужик испытывает тоску по назначению, уговаривая себя расчётом. Выгоды между тем в браке нет, есть смысл.

Все, конечно, любят своих детей. В основном потому, что мой. Слепое чувство. Мой, а не соседа.

Как любят детей в Армении? Если бы не было в принципе нелепым членить чувство, то, во-первых, вообще очень любят детей, во-вторых, потому что мой, в-третьих, потому что Матевосян, Петросян, Ионнесян из рода Матевосянов, Петросянов, Ионнесянов, в-четвёртых, потому что армянин, ещё один армянин. Тут-то и смыкается кольцо — во-первых и в-четвёртых: исполнение долга, биологического, национального и личного.

Надо, чтобы тысячелетиями тебя вырезали кривым ножом, чтобы ты понял: вот твой сын, он будет жить на твоей земле и говорить на твоём языке, он будет сохранять землю, язык, веру, родину и род.

Это не просто твой сын, не только твой сын.

Любовь к детям в Армении достойна. Сильна, но не аффектирована, нежна, но проста. Воспитание детей имеет, как мне показалось, одно общее отличие от того, что я привык наблюдать у себя дома. Отличие, по-видимому, принципиальное: наше влияние и власть над детьми расположены с возрастом по убывающей, у них — по возрастающей.

Чувство меры в проявлении любви — основа воспитания. Как чувствительны дети к этой мере, к этой ровности! Устойчивость, верность, постоянство, спокойствие прежде всего вызывают доверие в душах маленьких консерваторов. Экспансивность в ласках, наверно, почти равна окрику и удару. Просто при ребёнке надо постоянно держать себя в руках — это не противоречит нежности. Это постоянное волевое усилие, оно трудно, но, наверно, входит в привычку.

Конечно, с каждым человеком всё в его жизни когда-то происходит впервые, когда он не вооружён тем или иным опытом. Тем более первый ребёнок — тут многое можно понять. Но, во-первых, вооружение опытом — вещь вообще очень спорная, и, живя, нам всю жизнь поступать впервые, и я не очень-то верю в применимость прежнего опыта, тем более личного, к последующему, настоящему мгновению. А во-вторых, рождение ребёнка, даже первого, дело столь естественное, природное, что травма сюда прокралась именно от цивилизации, от разрыва с собственной природой, некоторой биологической атрофированности.

К таким мыслям я приходил, наблюдая и сравнивая...

Например, меня поразила какая-то невыносимая, абсолютная свобода младенца, такой мне не приходилось наблюдать раньше... Я вошёл впервые в квартиру моего друга — семья была на даче, — стал озираясь: как он живёт, мой друг? Вот стиральная машина, я таких не видел — пощупал. Брякнула отломанная крышка. «Это Давидик», — с удовлетворением сказал мой друг. «Как? — удивился я. — Ему же два года!» — «Нет, двух ещё нет», — сказал друг. Я торкнул пальцем в пишущую машинку. Она тускло звякнула, как консервная банка, — она не действовала. «Это тоже Давидик?» — пошутил я. «Давидик, — чуть ли не гордо сказал друг. — Извини, у меня только такая чашка, — сказал он, наливая кофе, — было двенадцать, осталась одна». — «Давидик?» — «Давидик». Я представлял себе виновника разгрома, этого юного Пантагрюэля, и гордился гордостью моего друга. «Хорошее имя, — сказал я, — подходящее. Он сокрушит Голиафа...» Каково же было моё удивление, когда я познакомился с Давидиком! Это был нежнейший мальчик с лицом ангела, и у него болели ушки, такой зайчик-ангел, слабенький и болезненный, тихий, даже грустный. И чтобы он мог учинить тот разгром, я не мог поверить. И тут же, чтобы развеять мои сомнения, Давидик хлопнул об пол последнюю чашку. «Ах! — радостно всплеснула мама. — Ай, Давидик! Ай да Давидик!»

Так и улыбаются у меня до сих пор перед глазами мама Давидика, папа Давидика, сам

Давидик над осколками, округлив глаза, разведя ручки... И я улыбаюсь как-то завистливо и счастливо, и свет моего детства, тот неповторимый свет, который освещал тогда другие комнаты, освещает мне эту сцену.

«Вах! — говорит мама. — Он уже второй сервиз перебил!» И это звучит так — ничего, купим третий. Должен сказать, они были не настолько богаты.

Старшенький же, тоже небольшой в общем ребёнок, мог бы показаться пасынком, настолько с ним были строги. Строгость как бы возрастала прямо пропорционально пробуждению сознания. И к тому возрасту, когда, по моим наблюдениям, в наших семьях дети окончательно выходят из повиновения, а родители всё более попадают в зависимость, здесь, казалось, строгость отношения достигла уже таких пределов, что отпадала даже необходимость проявлять её, а возможно, просто неприлично было бы, если бы при госте была заметна хоть малейшая чёрточка отношений... И дети превращались в тех невидимок и неслышимок, когда лишь в глубине за приотворённой дверью, если ветерок отодвинет занавеску, можно заметить тень подростка, а разглядеть его поближе удалось бы, лишь если отцу во время нашей неторопливой беседы захотелось бы вдруг похвастаться, какие сын-дочь растут у него. И то тут же — лёгкое подталкивание отцовской руки, напутственная неширокая улыбка, и подросток уже исчез навсегда.

Во всяком случае, того, что в наших семьях называется «разбитной мальчишка», или «ах, этот возраст», или «что за непосредственность», или «сколько в них энергии, жизни», ничего такого я не слышал. Или, чтобы справиться с чувством неловкости от быстрых обобщений, просто семейная жизнь, в том числе и дети (за исключением младенцев), никогда не вылезала на видимую поверхность, когда вы посещали дом и хозяин занимал вас беседой. Я уходил из дома, столь же непосвящённый в семейные отношения, как и приходил. И тут, по-видимому, нечему особенно удивляться, разве лишь тому, что порядок вещей с каких-то пор и по каким-то причинам является для тебя удивительным.

И старший по возрасту становится старшим по положению — что же тут непонятного? — ведь обязанности расширяются много быстрее прав...

И как бы я ни изощрялся в привычной наблюдательности, я узнавал о частной жизни не больше, чем фотограф, приглашённый сделать семейный портрет, — только стылые черты лиц да фирму мебельного гарнитура... Да и почему бы мне, постороннему, за час составлять представление о том, что складывалось годами? На каждого хватает его семейной жизни, не правда ли? Здесь я мог не загружать себе голову посторонними знаниями психологических рисунков, катаральных переживаний и половых вкусов гостеприимной семьи. И на этой счастливой и приветствуемой мною невозможности проникнуть глубже я с удовольствием ограничу свои наблюдения над семейной жизнью Армении. Ибо никаких эпитетов к семье, судя по тому, что мне удалось видеть, кроме «ладная, дружная, крепкая», я, по-видимому, не найду. А в нашем языке они давно стали штампами.

Постепенно я уставал от отсутствия распушенности — негде было расслабиться. И мне становилось скучно. Здесь в семейных синематографах показывали лишь нудные лакировочные картины, не идущие ни в какое сравнение с нашими неореалистическими достижениями.

Я, естественно, старался вести себя прилично. Раз уж ты не способен в одночасье залопотать на новом языке, то, по крайней мере, приходится следить за тем, чтобы не совершить невзначай того, что не принято в этой стране. То есть поневоле ты всё меньше располагаешь возможностью быть собою и становишься представителем, всё более подчиняясь тупой логике представительства. Ибо если тебе по неведению чьи-то индивидуальные черты могут показаться национальными, то тем более, раз ты один среди иноплеменников, обезличиваются твои замашки и привычки и вдруг начинают представлять как

коллективные и народные. Тут и усредняется пришелец, сам, по собственному почину... О туристе я всё чаще думаю в среднем роде. И всё с большим трепетом думаю о возможности маршировать по Парижу с широкой расплывчатостью среднего пола на лице...

Прилично вести себя нетрудно, потому что неприлично вести себя опасно... Если бы даже это было моей неотъемлемой чертой, я бы, наверно, быстро сообразил, что не стоит в Ереване знакомиться с женщинами на улице и вряд ли мне удастся проникнуть по водосточной трубе на ночной балкон... От всего этого, скажем так, было нетрудно отказаться. Тем более что (и за этот свой конкретный опыт я поручусь) мне ни разу не удалось встретиться (не призывным, не игривым — просто обыкновенным, случайным) взглядом ни с одной незнакомой армянской женщиной или девушкой. Мне было уделено не больше, а меньше внимания, чем любому столбу или забору. Я бы считал такую задачу в отношении себя противоестественной и нарочитой, если бы это «невстречание» с моим взглядом не давалось им столь же легко, как дыхание. В том-то и дело, что это не стоило им никакого труда: они не замечали того, как они меня не замечают. Меня, правда, занимало, как они видят окружающий мир и так ли уж не видят меня? Нет ли тут какой-либо особенности в восприятии спектра?.. Но вдруг подумал: а что, собственно? Что за манера такая — глазеть на кого попало? Какая цель?..

Странное всё-таки это рассуждение: принято и не принято... Только улавливая, что же не принято в той или иной чужой семье, среде, стране, глупо удивляясь, что у «них» всё не как у людей, начинаешь понимать, что же принято в твоей семье, среде, стране... А потом приходит простая мысль: а вдруг то, что у тебя «принято», то, что ты полагаешь единственно естественным и правильным порядком вещей, — и не так уж естественно и правильно и, может, в лучшем случае, до крайней степени условно?

Ну ладно, на третий день я разучился пялиться на женщин, и это можно пережить. В конце концов, у меня даже освободилось время замечать иные предметы и подумать о них. Между прочим, довольно много времени.

Тут мне хочется привести один примечательный разговор.

Однажды во дворе дома моего друга, где гулял Давидик, меня представили соседке, как бы интеллигентной мамаше в очках. На руках у неё сидел толстый младенец и неловко пожирал мацони, поливая мамину грудь. На маме был джерсовый костюм, и такая широта в отношении к импорту поразила меня, хотя я уже был знаком с Давидиком... «Лишь бы ел...» — спокойно сказала мамаша, проследив мой взгляд и правильно поняв его. Она равнодушно посмотрела на свою грудь, покрытую простоквашей, и стала расспрашивать меня о впечатлениях. После рядовых — как вам понравился Ереван и как вам нравится в Армении (очень и очень) — она задала мне внезапный и единственный в своём роде вопрос, так и брякнула:

— А как вам нравятся армянские женщины?

Я растерялся. Я сказал, что встречаются удивительно красивые лица. Я сказал, что в общении не очень-то присматривался.

Она удивилась.

Я пояснил, что быстро постиг невозможность какого-либо контакта и перестал смотреть.

Она как бы опять удивилась и не поняла.

— А вы бы женились на армянской женщине?

Теперь ещё раз удивился я.

Мы плохо понимали друг друга. Она сказала:

— Разве вам не хотелось бы, чтобы вы уехали на три года и наверняка знали, что жена не изменит?

— Ну, видите ли... — промямлил я.

Долго не шёл у меня из головы этот разговор, не порождая в то же время каких-либо отчётливых мыслей. И лишь сейчас, и то неотчётливо, думаю о том, что мне хотелось бы не столько даже гарантированной верности моей жены, сколько собственной потребности в этой вот непреложности понятий: жена — семья — верность...

Аэлита из Апарана

Конечно, разочарование стережёт наши надежды. Однако скептицизм, которым мы попробуем в этом случае вооружиться, одна из самых непрочных вещей на свете, как, впрочем, и всякое вооружение. По сути, скептик — это существо, обращённое к каждому без разбора с мольбой, чтобы его разубедили в его горьком опыте. Ахиллес, демонстрирующий свою пятку. Пожалуй, нет существа, более готового заглотить наживку надежды, чем скептик. И так глубоко заглотить... Потом, конечно, есть возможность утверждать, что меньше всего на свете мы могли этого от себя ожидать или что «так мы и знали». Это одно и то же.

Впервые я увидел её... но я понятия не имел, что увидел именно её.

Мы стояли с другом посреди деревеньки (конечно, это была древняя столица Армении), на площади, рядом с дремлющим чистильщиком обуви, и, точно так же, как в Ереване, томились и ждали кого-то, а я не знал кого. Посреди улицы застыл зной, и на дно его осел слой толстой ленивой пыли. Никого. Мы стояли в особенно чёрных от жары ботинках, только что к тому же начищенных (и это дело сделано!), стояли, не переступая ради их блеска, чтобы не утопить их тут же в лужах ныли, и я прискорбно думал о природе гостеприимства. «Что за рабство такое — нарушать всё течение своей жизни, бросать семью и работу ради того, чтобы гость изнемог от вина, мяса и невозможности побыть одному? И всё это, чтобы потом быть обязанным исполнить тяжкую работу гостя в ответном визите... И так запутаться в этой непреложной последовательности, чтобы не знать, ублажаешь ли гостя или мстишь ему, оказываешь ли уважение хозяину или досаждаешь?..»

— Аэлита! — позвал друг.

Смешная девушка направлялась к нам: коротенькая, крепкая и красная, как помидор; с тщательно уложенной башней на голове; в мини-платье из чёрной с золотом тафты и босиком. Коленки её, тоже толстенькие и красные, гримасничали при каждом шаге. Аэлита было её имя, вполне по-армянски. Меня, конечно, с ней не знакомили, что я, не вдаваясь, уже принимал как должное. Она на меня не смотрела и не видела, чему я тоже не удивлялся: может ли хорошая, молодая, чистая, здоровая девушка, определяемая одним словом — «невеста», обращать на меня внимание? Невеста и должна быть скромной... Она слушала, что ей говорил мой друг, и только пальцем шевелила в пыли...

Они говорили — я не знал о чём и продолжал свой ход мыслей, ибо только в нём был волен... Что за неотклонимость этих трасс угощений и зрелищ! На такие траты у нас в России решаются лишь в исключительных случаях рождений, свадеб и смертей... Однако попробуй отклониться от этого щедрого маршрута! Он проложен для гостя, а не для тебя — вот и будь гостем, а не собой. Словно бы в этих каналах гостеприимства тобой-то как раз и не занимались — от тебя откупались. Малейшая мысль именно о тебе, а не о госте, была уже затруднительна, озадачивала, утомляла и ставила в тупик. То есть в ритуалах гостеприимства не было участия. Они стоили сил и средств как работа и время жизни, но не имели стоимости любви.

Так мелко думал я, разрешая неразрешимую задачу: нам опять предстоял пир, к которому велась серьёзная и трудоёмкая подготовка, а мне хотелось через улицу перейти в аптеку, но мой друг ни за что меня туда не пускал: одного, говорил, не могу пустить, — но и со мной туда тоже не шёл. «Слушай, зачем тебе в аптеку?.. — морщился он. — Не надо тебе в аптеку...» Так вот: почему было легче пир устроить, чем в аптеку со мной зайти? — и было мне окончательно непонятно.

Аэлита нарисовала три босых крестика и ушла.

Что мне не уставали объяснять по десять раз, а что никогда не объясняли... Простых-то вещей как раз и не объясняли. Например, мне пришлось очень удивиться, застав, по возвращении в Ереван, ту же Аэлиту в квартире моего друга, играющей с его детьми. Она же ничуть не удивилась моему приходу и по-прежнему не заметила меня. Ну почему бы, казалось, мне тогда было не объяснить, что она родственница, племянница, троюродная сестра? Нет, это было ни к чему. Вот эта твёрдость и определённая, с которой за меня решали, что мне может быть интересно, а что не может, — и есть языковой барьер: ни за что, кроме предложенного, я не мог зацепиться сам. Я был своего рода калека-глухонемой: со мной объяснялись и меня понимали лишь самые близкие люди. Друг.

Но друга в этот вечер не было дома: у него было дело, которое он не мог отложить. Я уже научился не знать и ждать: я терпеливо просиживал диван, наблюдая Аэлиту. Как быстро её полюбили дети! Они ползали по ней, исполненные нежности и восторга. Она была невозмутима и двигалась внутри этих объятий плавно и свободно, как купальщица. Жаль, что я не мог понять, что она им так тихо и бесстрастно рассказывала, — но глаза детей время от времени круглели и рты расстёгивались. Она извела всю шоколадную фольгу в доме на короны: все трое сидели теперь в коронах, — и бесконечно рисовала красавиц вроде бы для детей, но и для себя, испытывая на них фасоны и моды. Красавицы, тоже все в коронах, были, не в пример ей, все очень длинные и узкие, с распущенными пышными волосами, кривыми, как турецкие ятаганы, ресницами, огромными среди ресниц глазами и крохотными, точечкой-сердечком, губками. Так они стояли в длинных до полу платьях, воплощая макси-предчувствия Аэлиты. Хуже всего получались у них руки: красавицы, совершенно не по-светски, не умели обращаться с ними, не знали, куда их деть: растопыривали их, как пингвины. Аэлита меняла им рукава, плечики, вырезы на груди... Дети с восторгом переводили взгляды с рисунка на неё, с неё — на рисунок: до чего похожа их красавица-королева!.. Да, Аэлита не собиралась всю свою жизнь проводить в няньках! — вот что она рисовала. Я сидел и ждал друга и час и другой — род мебели; дети не видели меня из-за Аэлиты, которой были поглощены, Аэлита не видела меня по природе своей, жена друга старалась реже попадаться мне на глаза, может быть, потому, что совершенно не знала, чем меня занять. Так я сидел и вдруг обнаружил, что, как и дети, уже привык к Аэлите, привык, как мебель к хозяину.

Тут появляется сестра жены друга Жаклин — и ситуация разрешается: бремя моего времени равномерно ложится на плечи этих милых женщин. И так сразу становится весело и непринуждённо, что я впервые понимаю, что до сих пор ставил жену друга в положение неловкое. И это опять то простое, чего мне никто не объясняет и чего я сам попятать не могу — другая страна: сама ли пришла Жаклин, к радости и облегчению сестры, или та специально её вызвала?.. Так я и спотыкаюсь лишь на самых плоских местах — где надо проявить понимание, там-то я вроде понимаю сразу.

Нам становится легко, мы решаем идти все втроём в кино. Жена друга так рада: теперь у неё наконец есть Аэлита, теперь она наконец хоть ходит в кино! Но без сестры она не могла бы пойти со мной и сестру одну со мной не отпустила б. Так, махнём рукой и не поймём, слава богу. Мы идём в самый новый, роскошный суперкинотеатр. Тем более замечательно, что идём мы на «Фантомаса», потому что южный темперамент зрителей... смотреть на того, кто смотрит, — ещё одно удовольствие.

Всё разрешилось — и опять не всё. Взгляд жены друга становится печален и короток: совсем уж неведомое мне соображение приходит ей в голову — и она нет, не идёт, вспомнила одну вещь... Зато новая радость озаряет её: с нами пойдёт Аэлита! Она же впервые в Ереване, сидит взаперти уже третий день — пусть посмотрит.

Всё так сложно! Мне кажется, мы так и не пойдём никуда...

Но Аэлита появляется невозмутимо и мгновенно, уже готовая: в том же золотом платье, только уже не босиком.

Это был действительно выдающийся кинотеатр, построенный столь оригинально, что при вечернем освещении я так и не уловил, как же он выглядит в целом: казалось, он висел над землёй, как приземляющаяся летающая тарелка. До начала сеанса было много времени, мы сидели в бесплотном кафе, состоявшем из дырок, теней и каких-то трепещущих подвесок. Болтала Жаклин, Аэлита молчала. Меня так поразило, что впервые в жизни попав из деревни в большой город, она не была ни возбуждена, ни любопытна, как должна была бы быть любая наша юная провинциалка на её месте, что три дня просто просидела, не вылезая из дому, и, не вытаскивая её, так бы и сидела... меня так это удивило — я всё приглядывался к ней. Что это, тупость или ум особый? Мне уже начинало мерещиться, что ум. Оказалось к тому же, что приехала она не только в няньки, но и в институт поступать. Я пытался вовлечь её в разговор — напрасно. Тогда Жаклин перевела ей мой вопрос. Аэлита внимательно выслушала и ответила, но не мне, а Жаклин: она собиралась поступать на археологический, вот что. Я похвалил профессию и двинулся вглубь... Так мы и беседовали: я задавал вопрос, Жаклин переводила, Аэлита отвечала Жаклин, та переводила уже мне. Аэлита смотрела прямо перед собой ровными, спокойными глазами, не обращая ни на что внимания. Такая её беспристрастность показалась мне уже чрезмерной: и я-то впервые сидел в подобном кинотеатре и всё крутил головою, а в её деревне — один двухэтажный дом... — не грех и полюбопытствовать... Несколько юношей картинно, «иностранно», пили за стойкой кофе и разглядывали нас.

— Что это они?

— Русский парень пришёл в кафе с двумя армянскими девушками, — смеялась Жаклин, — ещё бы им не смотреть! — Так или иначе, она была довольна этим вниманием.

Значит, с одной было нельзя, а с двумя — много... подумал я. Кино!

Раздался звонок, и, под скрежет отодвигаемых стульев и шорох вставаний, я наконец поймал подобие взгляда, коснувшегося одного из изучавших нас парней: какая-то живая темнота словно бы сверкнула на дне её глаз, — и я заподозрил, что, может быть, она видит, значит, и раньше всё время — видела, что неподвижность её — напряжённая и восприимчивая, и, кто знает, сколько она видит и как... Может быть, много и сильно, а может, и ничего.

Зал под открытым небом напоминал форум. Над нами горели жирные южные звёзды, как в планетарии; мне казалось, мы взлетели и, если рискнуть подойти к краю и взглянуть оттуда вниз, то где-то глубоко под собой увидишь нашу милую, ещё не столь роскошно застроенную Землю и, расчувствовавшись, прочтёшь вниз длинные стихи об оставленной на Земле любви...

Ничего сверхъестественного в реакции армянской публики я не обнаружил.

Фантомас побезобразничал, и фильм кончился.

Мы вышли из кинотеатра, и национальная режиссура снова осложнила мною чьё-то существование, в котором я не поместился... Жаклин с кем-то поздоровалась и чрезвычайно смутилась. Она отвела его в сторону и долго объяснялась. Он выслушал её и молча ушёл. Она вернулась к нам, слегка утратив присущую ей жизнерадостность; чуть помялась; не умея что-либо скрыть по прямой душе, неуклюже посмотрела на часы, притворно охнула, что забыла позвонить маме... и теперь... что мы тут просто доберёмся, очень просто... И, махнув рукой, скрылась.

Так я остался с Аэлитой вдвоём.

Я намеренно изложил здесь более или менее последовательно и подробно всю систему уравнений, все действия сложения и вычитания, в результате которых такое оказа-

лось возможным. Может показаться, что я говорю о незначительном, мельчу и вдаюсь в частности, однако вся эта система недопониманий является существенной частью атмосферы пребывания в Армении, и уверяю, что случай этот — невероятный, невозможный, практически не встречающийся в жизни города Еревана... Чтобы русский парень оказался в полночь в центре Еревана с семнадцатилетней армянской девушкой, ни слова не знающей по-русски!..

На улицах не было вообще ни одной девушки, даже с армянским парнем.

Небо за время сеанса затянуло, и звёзды погасли; фонари же горели изредка. Что-то навалилось на землю мягкое, тёплое и вкрадчивое, вроде тумана, но не туман. Запахло редким запахом какого-то стручка. Непонятный, наркотический ажиотаж расцветал на углах улиц, как ночной бутон: бесшумно мелькали стройные армянские юноши в белых рубашках, вспархивали из-за деревьев, как большие ночные птицы. Куда-то всё несло: останавливалась машина, какой-нибудь юноша внезапно отделялся от стены или ствола и тихо переговаривался с шофёром, склонившись... машина, резко газанув, уезжала и потом подъезжала снова. Ритуальное прикуривание от зажигалки.

Городской транспорт внезапно, в одну секунду, пока я отыскивал ту остановку, что выкликнула на бегу Жаклин, перестал ходить. Я понял, что даже приблизительно не представляю себе, в какой стороне наш дом и далеко ли. Я спросил Аэлилу, знает ли она дорогу. Она уверенно замотала головой отрицательно. Любопытно было бы представить, что творилось в её голове... Она тихо шла на полшага позади меня и несколько ближе, чем, по моим представлениям, могла себе позволить. Я осторожно поглядывал на неё, пытаюсь обнаружить в ней признаки хоть какого-нибудь волнения, — их не было.

Мы вышли на новую улицу, и это была не та улица, на которую я собирался выйти. Казалось, мы брели в другом городе, другой стране, ещё более других, чем Ереван и Армения... Мы проплывали мимо витрин, как рыбки за стенкой аквариума.

...Витрины в Ереване смотрят как-то удивительно наружу. То ли осталось что-то от наивности и прямодушия ремесленников, вешавших образец своих изделий над входом в мастерскую: сапог так сапог, ковёр так ковёр, — но когда идёшь по ночному Еревану и светятся изнутри магазины и мастерские, наполненные предметами, без человека обретающими абстрактное, отрешённое значение, то кажется: товар вышел из витрин и замер на пустой мостовой — вдруг стоит посреди дороги кровать с никелированными шишечками или швейная машина, не крутится, не жужжит... Будто ночью в Ереване выставились поп-артисты.

Так мы шли меж этих странных предметов, по этой пустой выставке, всё нерешительней и, наконец, остановились. Аэлила послушно замерла рядом. На освещённом углу, где ночной магазин вот так смотрелся наружу и обнажённые его предметы, как существа иного мира, совершали свою вылазку в город, появилась группа юношей и застыла, как манекены из той же витрины, молча разглядывая нас.

Спросить дорогу я не рискнул. Может быть, я и испугался. Но если и испугался — то не за себя. Я вдруг понял, что если без приключений доставлю Аэлилу к другу, то буду сегодня совсем счастлив. Спокойно и верно ждала она, что же я предприму. Тут было посветлее, и я разглядел её лицо: пожалуй, всё-таки она волновалась немножко. Лицо её как-то посерьёзнело, утоньшилось и даже похорошело, и глаза будто стали больше и блестели чуть сильнее, хоть взгляд по-прежнему ничего не выражал.

— Ну, — сказал я, смело улыбаясь, — кажется, мы пошли не в ту сторону...

Она кивнула.

Я повернулся поуверенней, и мы пошли в обратную...

Она теперь шла настолько близко ко мне, что можно было лишь умудриться не касаться меня плечом, краем платья. Я странно переполнялся её присутствием, параллельным су-

ществованием и дыханием — юно и немо, забыто... Только потом, вспоминая, приходили мне те мысли, которые могут приходиться мужчине в подобном случае, — тогда же, уверяю, я был чист от малейшего, даже абстрактного, помысла. Всё-таки невозмутимость её была чрезмерной и, может быть, задевала меня... Как тень, повторяла она каждый мой шаг, что-то было в этом вычурное, жвачное. Что это? Покорность судьбе? Покорность мне? Доверчивость или доверие? Что бы это ни было, дикий страх или сонное бесстрашие, она шла со мной рядом, как в поводу, и никакого сомнения в моём успехе у неё не возникало. Хотя видела же она прекрасно, что я не знаю дороги и не решаюсь спрашивать прохожих?.. Но если какое-нибудь переживание и таилось за её невозмутимостью, выражалось ею, то я льщу себя надеждой, что это было не то, что мы заблудились и нам что-нибудь грозит, а то, что мы вдвоём, вот уже час бродим по большому ночному городу. Ведь точно, что всё это происходило с нею впервые в жизни! И как бы далёк я ни был от её мира вчера и завтра — но в эту-то минуту...

— Ты совсем не знаешь по-русски?

— П-плохо. — Лицо её исказилось чем-то вроде улыбки.

— Ты не боишься?

Она старательно замотала головой.

Но я-то вдруг ужасно разволновался. Я стал насккивать на машины. Я умудрился остановить даже автобус, но ему было не по пути... И когда после каждой попытки я возвращался к Аэлите, то заставлял её ровно в той точке, где покинул, ждущей тихо и терпеливо. И если бы я отчаялся и пошёл куда глаза глядят, миновал окраины и вышел в поле, зашагал бы в гору, пересёк пустыню, вышел к морю и оглянулся — Аэлита бы оказалась у моего плеча: мог бы и не оглядываться. Так бы мы и состарились в этом походе, незаметно обрастая детьми и внуками... Такое было у меня чувство, когда, упустив очередное такси, я обнаружил, что она на меня смотрит. Это был действительно «марсианский» взгляд, как с обложки фантастического журнала: взгляд другого существа. Оно смотрело из себя — другая логика, другой мир... Помню, мне стало мучительно неловко от моих ужимок и прыжков, но я мог краснеть спокойно в этой темноте.

Наконец мы попали в какой-то «подкидыш» и поместились на одном сиденье. Никогда не сидел я настолько не прикасаясь к соседу! Автобус вскоре набился, на меня давили — и я окаменел, как кариатида, сохраняя «зазор» между собою и Аэлитой. Чтобы никто (ни она) ничего не подумал такого!.. Свело поясницу и шею, но даже невольно, «под давлением», я не прикоснулся к ней. Волнение за её жизнь прошло, а за судьбу — осталось. Я был явно не в себе. Сейчас вижу ту дурацки-ясную улыбку жениха, что блуждала по моему лицу, — тогда не видел.

«А что? — думал я. — Переехать в Армению, жениться на Аэлите, наделать ей детей, потом уехать навсегда и знать, что она никогда мне не изменит?..»

И вот мы приехали, сошли, подошли к нашему дому — а она, всё так же доверившись, шла рядом, куда бы я ни пошёл... Это было всё-таки странно. Ведь мы уже не заблудились, нам теперь ничего не грозило, мне некуда было больше её провожать, нам некуда было больше идти: мы пришли. Я приостановился и повернулся к ней — она смотрела перед собой, взгляд касался моего плеча и уходил в темноту двора. Так она замерла и опять ждала меня: мы уже стояли у нашего подъезда! Она молчала — чего молчала? стояла — чего стояла? Может, сказать что-нибудь хотела?

«Может, после того, что я её проводил, я должен жениться на ней?» — насмешливо похолодел я.

— Мы же пришли, — сказал я вслух.

И тут же — это было феноменально! — расстояние между нами стало два метра. И не то чтобы она отпрыгнула в испуге, просто как-то сразу оказалось: два метра — новое каче-

ство...

И мы поднялись по лестнице, держа новую дистанцию. «Может, она не узнала свой дом?» — думал я.

— Наконец-то! — Каринэ, жена друга, уже так волновалась, куда мы делись, звонила Жаклин, они так волновались...

«Интересно, — подумал я, — что же их так волновало?»

Я сдал Аэлиту Каринэ в целостности и сохранности, из рук в руки.

А друг мой задержался, так и не приходил.

Дети спали, я хлебал суп, Каринэ ждала мужа. Где-то на втором плане из комнаты в комнату ходила Аэлита с подушками. Была она безучастна и царственно невозмутима — ничего не произошло, ничего и не было.

«Нет, не должен...» — вздохнул я с облегчением и разочарованием.

Песенка

И ещё был случай. Совсем незаметный. Настолько «случай в себе», что его практически не было. Никаких внешних событий в нём не наблюдалось, и зритель ничего не видел, но события внутренние были столь страстны и властны, что забыть их я не могу и горячо помню.

Я уже говорил, что маленьким детям в Армении предоставляется значительная свобода, которой уже нет у подростка, а тем более у юноши. Но хоть в детстве ею дают наслаждаться и запастись на всю жизнь... Это относится и к девочкам. Им тоже многое позволено из того, что не позволено девушкам. Они могут поднимать глаза, они имеют право смотреть.

Вот единственный женский взгляд, подаренный мне в Армении.

Девочке было лет десять-одиннадцать. Это была очень красивая девочка, и смотреть на неё было радостно. (Так я определил границу, когда становлюсь «невидимым», — лет с четырнадцати. В десять лет любопытство ещё дозволено.)

Ещё один дом, друга друга друга... Мы сидели на веранде, потихоньку пили и беседовали... Девочка вбежала, не ожидая увидеть чужого, и замерла с разбегу. О, какой взгляд! Отец похвастался красавицей, она ещё раз обожгла меня взглядом, покраснела и убежала. Я был смущён тем, что был смущён... Но, право, продолжая беседовать, не переставал я чувствовать её присутствие... Спиной, ознобом, кожей... Я с трудом заставлял себя не вертеть шеей и не шарить глазами. Она пробежала где-то в глубине двора... Вдруг показывалась из неожиданной двери... Отец ухмыльнулся в усы.

Так прошло с полчаса. Я разволновался от её мельканий необыкновенно. Наконец она пропала надолго. Я почти забыл о ней, и неловкость прошла. Как вдруг — не сбоку, не из глубины, не тайком — она вышла прямо к нам и, подойдя, вплотную, в упор посмотрела на меня. Я не выдержал её взгляда. Щеки её пылали, головка была смело поднята, взгляд открыт, и такая светлая решимость была во всей её фигурке, что мне стало окончательно не по себе. Как бы испытал меня, она отвернулась и что-то горячо сказала отцу. Отец ответил коротко, ласково, но решительно. Девочка вспыхнула и произнесла целую речь. Я впервые ощутил все свои границы сразу — я стал отличаться чуть ли не цветом кожи, чуть ли не негром почувствовал я себя на секунду — и всё не мог поднять глаза... Девочка не просила — требовала. Речь её была так пряма, горяча и горда, что отец сдался, хотя и с очевидным неудовольствием.

— Она хочет спеть... — сказал он.

Я изобразил на своём лице жалкую официальную радость, и на секунду в глазах девочки появилось презрение... Но тут она встряхнула (ничего не могу поделаться) кудрями, лицо её осветилось, и она запела. У неё был прелестный голос, древняя песенка была очень красива, но теперь я мог смотреть на девочку не отрываясь, как бы не на неё — на певицу,

восхищаясь как бы не ею — пением... Она умела петь, это была не детсадовская самодеятельность, она владела голосом и мелодией настолько свободно, что могла не владеть собой. Я не мог понять слов, но как мог я не понять взгляда! Вот уж кокеткой она не была...

Господи, что она во мне нашла?! Быть может, никогда в жизни не чувствовал я себя так жалко. Я видел как-то изнутри, до чего же я некрасив, стар, толст, нечист... Я сидел обрюзгшим мешком, и каждое моё движение казалось мне отвратительным. Моё лицо забыло, как не задумываясь сложиться в удивление, улыбку, восторг... Я пытался припомнить и выполнить за него эту работу. И это у меня не получалось.

Чувство моё было безнадежно, без надежды. И на что я мог надеяться?

Но каким бы жалким я себя ни чувствовал, в этом было счастье, возможность другой жизни...

И счастье это кончилось вместе с песней.

Голос её дрогнул и замер. Все захлопали, нежно и медленно складывая ладони. На меня обратился её страстный взгляд. И тут я струсил (хотя что бы я мог поделаться?): я заозирался — все хлопали... От смущения я вдруг неловко сложил свои чужие, краденые ладони... Боже, как изменился её взгляд! Сколько презрения, стыда и жаркой ненависти объявилось в нём... Отец был прав: не стоило петь для меня.

Она уронила лицо, закрыла руками и что-то воскликнула несколько раз, досадное, обидное, от чего я пропал навсегда — притопывала в такт своему гневу. И убежала.

Больше ни разу, ни в глубине, ни из боковой двери, нигде не мелькнула её быстрая тень.

Я хотел, безумно хотел спросить, что же она воскликнула, закрыв лицо руками, но, слава богу, не решился.

Хозяин сказал тост. Я подымаю бокал. Я чувствую себя странно... Я заперт в этих стенах, я пленник и никогда не выйду отсюда... Утешаюсь тем, что вопрос той милой мамы не кажется мне уже столь бессмысленным.

Попугайчики (антитезис)

Я завираюсь. Я ловлю себя на том... Я всё время ловлю себя за руку, однако продолжаю писать, как непойманный. Я ворую у самого себя невозможность каждой следующей страницы, с тем чтобы написать её. И тут же ловлю себя на слове. Ловлю и отпускаю, кошки-мышки... Пиша, как не солгать? Обнаружив ложь, как не отшвырнуть перо? (Вот опять... Откуда же перо взялось? Когда машинка...)

Однако я забиваюсь в узкую щель...

Эта глава вся состоит из ряда путаных и непереваренных впечатлений, непереваренных в буквальном смысле, потому что не может человек переварить столько мяса и травы — даже зубы постоянно ныли от усталости... А пищеварение, от кого-то я слышал, тесно связано с головой. Это к вопросу о «богатстве», недавно затронутому.

К тому же и грипп, привезённый с Севана. Кому не приходилось простужаться на юге, тому этого не объяснишь. Жара, озноб; острый как бритва свет и скрежет чужой речи... Что может быть унижительней, чем неудержимо чихать на залитом солнцем, заваленном солнечными плодами, иноязыком и горячем базаре? Где моя национальная гордость, наконец?..

Она как насквозь мокрый носовой платок в кармане.

Всего этого более чем достаточно, чтобы ощутить себя несчастным.

Ничто, наверно, так не будит чувства родины, как обыкновенный насморк на чужбине. «Ностальгия аллергия» — непристойный, чувственный, пышно распускающийся бутон...

Мы приглашены на арбуз. Об этом, кажется, была речь ещё позавчера, так что это мероприятие. Для проверки ряда размышлений и догадок мне бы очень хотелось знать, имело ли бы место это мероприятие, если бы не мой приезд в Армению? То есть собрались

ли бы все эти люди есть арбуз и без меня или они собрались все вместе за арбузом исключительно ради меня, точнее, благодаря мне? Со мною, из-за меня, ради меня или благодаря мне? Но этого я, по-видимому, никогда не узнаю... Целый день мы катались по Еревану из конца в конец, прибавляясь по одному, чтобы осесть всем вместе у нашего общего, ещё одного, друга вот на этой верандочке, выходящей во дворик-садик. А в садике перед самой верандочкой стоит огромная клетка с волнистыми попугайчиками, этими странными разноцветными птичками, выведенными людьми по каким-то их сокровенным представлениям о безоблачном счастье и радости...

И вот мы сидим. Мы сидим тут уже целую вечность — мы сидим тут всегда. Нарды, арбуз, попугайчики!.. Не знаю, в какой последовательности о вас поведать и какую извлечь из последовательности мысль.

Мой друг играет с хозяином в нарды, а их друзья смотрят, как они играют. Это им никогда не надоест... Я не могу сказать, что никому нет до меня дела, но, если бы и было, никто не знает, что со мной делать. От попытки понять игру в нарды я отказался, вернее, отчаялся понять, и меня остаётся только кормить арбузом. Как всегда — кормить... Что со мной ещё делать?

Арбузами до потолка завалена соседняя комната, и у меня такое впечатление, что мы призваны все их съесть прежде, чем уйти, потому что игру в нарды нечем остановить, как отсутствием арбузов. А их ещё много. Арбуз — это не плод, как все считают, и не ягода, как его объяснили в школе, арбуз — это мера времени, приблизительно полчаса. В соседней комнате гора высотой с неделю... Как бой часов с репетицией — кто-нибудь роется в этой горе и долго выбирает два арбуза, один час, потом выносит их и заряжает ими холодильник взамен съеденных.

Значит, мы играем в нарды и едим арбуз. Рассказано это по очереди, но происходит одновременно. Арбузы выбираются, остужаются, нарезаются и съедаются. То есть съедаются уже давно остывшие арбузы, так что последовательность иная: арбузы нарезаются, съедаются и остужаются. Опять не так. Расставьте сами.

В одной руке у меня доля арбуза, в другую интеллигентно сплевываю косточки, и тогда я чихаю... Я кладу лопатку на перильца так, чтобы он не перевернулся, и он переворачивается, а зёрна сую в карман, чтобы достать платок... О, этот платок с налипшими арбузными зёрнышками! Мне хочется плоско-плоско лечь на полу и чтобы по мне пустились петушки поклевать мою прорастающую травку...

Всё-таки очень многого не знал я ещё в этой жизни!

Например, такого количества попугайчиков. Вряд ли это характеризует страну Армению. Но что я могу с ними поделать? Их было пятьдесят, не меньше. И все они галдели, и разноцветный их шум рябил в глазах, бесподобный по яркости, громкости, наглости и великой отрешённости от всего прочего мира, до которого им не было никакого дела. И все они целовались с какой-то непристойной торопливостью и деловитостью. Их разноцветные любовные треугольники и многоугольники, не обременённые моралью и не отягчённые Фрейдом, создавались и распадались с такой же мгновенностью и лёгкостью, как в калейдоскопе: любовь их была воздушна и геометрична. Они были деятельны в любви, какая-то направленность была в их вращении: по-видимому, каждому перецеловаться со всеми, чтобы всем перецеловаться с каждым и поскорее начать всё сначала, по следующему кругу. По времени, измеренному моей злостью, один их круг совпадал с одной партией в нарды. И пока расставлялись шашки для следующей игры, хозяин уходил к холодильнику, доставал остывший арбуз, вскрывал его с поразительным изяществом и проворством и раздавал зрителям ровные и красные доли, симметричные, как витринные муляжи... «Как галдят!..» — ласково улыбаясь и принимая арбуз, кивнул я в сторону попугайчиков. Я сказал это просто так, из вежливости, чтобы он не думал, что мне чего-нибудь не хватает... Но — не следует

быть дипломатом! Хозяин понял меня по-своему. «А... — сказал он сокрушённо и виновато, словно извиняясь за неприличное их поведение. — Очень глупые птицы!» С этими словами он взял здоровую палку и треснул по перильцам рядом с клеткой. Удар получился звонкий, как выстрел. Хозяин улыбнулся мне сконфуженно — мол, всё с этим безобразием — и отошёл к нардам. «Вот и о попугайчиках не поговоришь...»

Это было, конечно, эффективно: одним движением обрезать столько натянутых в разные стороны разноцветных ниточек их голосов и столько же прозрачных ленточек их движений! Это казалось невозможным — так мгновенно, одновременно и поголовно замереть и замолчать. Попугайчики остановились во времени, не только в пространстве — так сказать. Шок, летаргия, соляной столб, сомнамбула, седьмая печать... не знаю, с чем сравнить чистоту и абсолютность их остановки. Впрочем, и я ведь настолько не ожидал этого удара, что замер, как попугайчик.

Господи! Мир! Чем мы лучше? Не так ли и мы замрём, когда очередной ангел снимет с книги очередную печать! Не висит ли наш, покрашенный в синее, жёлтое и зелёное, глобус где-нибудь на ниточке в твоём саду? Может, земля — арбуз с какого-нибудь твоего райского дерева? Не забыл ли ты о нас, задумавшись над очередным ходом в свои галактические нарды? А мы разгалделись... Лучше не вспоминай. Люблю тебя, господи, и надеюсь, что это взаимно, как поётся в песенке...

Попугайчики всё ещё не опомнились. Они замерли так искренне, что, наверно, забыли, что они живые, и решили, что умерли... Милые глупые птицы! Как же им не подумать, что они совсем исчезли, если самих себя они не видят, а в движении и любви перестали себя обнаруживать? (Даже не моргают... Какое большое, размытое пятно видят они вместо нас перед собой?) Пятьдесят маленьких чучелков — только сейчас их и можно разглядеть. У них не наблюдается внутренних противоречий, но наблюдаются внешние: стройные тельца — и непонятная щекастость и толстомордость; солидность и благопристойность, даже чиновность, чичиковщина какая-то в лице — и такое легкомыслие!.. Как с такой благочинной внешностью, столь открыто предаются они любви? Даже непонятно. Словно это их служба. Любовь в мундирчиках...

Но вот ожил первый — Адам, — покрутил головой; ничего, а главное — можно! позволено жить. Затем другой... И вся клетка начала медленно просыпаться с той же постепенностью, как делаются в нарды первые стандартные ходы, прежде чем определится отличие и начнётся партия. А через несколько секунд Адам уже возродил новое человечество: крик, любовь, измены — содом! А партия подходит к концу, хозяин достаёт новый арбуз, потом берёт в руки палку, заодно пользуется случаем улыбнуться гостю, то есть мне, и... Ах, не могу!

Я решительно не понимаю, кто с кем проводит время: я — с ними? они — со мной?

Нарды, арбуз, попугайчики. Час, другой, третий... Расстановка шашек, первые ходы, игра. Разрезать арбуз, раздать доли, съесть арбуз. Рождение попугайчиков, жизнь попугайчиков, смерть попугайчиков. Четвёртый, пятый, шестой. Арбуз, улыбка, удар. Мысль о нардах, мысль об арбузе, мысль о попугайчиках. Время, где ты?

Я заперт, я в клетке. Каждый день меня переводят из камеры в камеру. Питание хорошее, не бьют. Сколько времени сижу, не знаю. По-видимому, скоро придёт приговор. Не знаю, увижу ли тебя, родная...

Я в клетке — на меня все смотрят. Нет, это они все смотрят на меня из клетки! А я-то как раз снаружи! Всех обманул...

Меня посадили в яму времени. Девочка с пением уже сбегает с гор, несёт мне свой кувшин... Кавказский пленник. Узник находит однажды в кармане затерявшееся арбузное зёрнышко... Сажает. Ждёт ростка. Росток — это те же часы: он распустит листья и затикает вверх, вверх.

Безвременье моё проросло наконец. И что бы я понял, что увидел, если бы не сумел тогда, в одной клетке с попугайчиками, постичь, что, кроме моего, существует иное, их время? Если бы тогда я не сумел отказаться от своего времени, не махнул бы на него рукой, не было бы у меня времени в Армении, а были бы часы, сутки, килограммы, километры непрожитого, пропущенного, действительно потерянного времени, взвешенного на браслетках, будильниках и курантах.

Только потеряв свой будильник, мог я прожить в настоящем времени несколько дней на чужой земле, а если непрерывно прожить в настоящем времени хотя бы несколько дней, то вспоминать их можно годы. Настоящее время относится к тикающему, по-видимому, так же, как время в космосе при скорости, близкой к скорости света (что-то из Эйнштейна), к земному. Настоящее время мчится с субсветовой скоростью, оставляя глубоко под собою прошлое и будущее, навсегда привязанные, стыкованные, притянутые друг к другу до полной остановки.

Я хотел посвятить эту главку оговоркам. На полях моей рукописи, по краям моих словословий скопились стаи птичек, галок, нотабене. Они были черноваты и вытеснены из текста. Мне вдруг показалось, что они не помещаются, потому что я начал лгать. Потому что на самом деле всё отнюдь не было так прекрасно, как я пишу. Мне казалось, что, совместив восторги с неудовольствием, я добьюсь правды повествования.

Кучая, козья мысль! Слава богу, другая правда, из свиты истины, вынесла меня в настоящее время, подсказала мне то, что я не знал, и утвердила себя помимо моей неуклюжей воли.

И мне не надо тяжело потеть над реализмом чёрных страниц.

Оговорки оговаривают прежде всего того, кто их делает.

Да, у меня насморк, несварение, ностальгия, и я в плену собственных впечатлений. Самостоятельной правды нет ни в восторге, ни в неудовольствии. Так же не добьёшься её, играя в диалектику и примитивно прикладывая их друг к другу.

Правда же и диктуется только правдой. И правда этой книги в том, что, дописав её до середины, я обнаруживаю, что уже не в Армении и не в России, а в этой вот своей книге я путешествую. Пусть это даже некая фантастическая страна, домысленная мною из нескольких впечатлений по сравнению. Страна гуингнмов... И сам я новый Гулливер, лилипут, великан и сопливый йеху одновременно...

Я испугался, что забираю всё более высокий и уверенный тон лишь для того, чтобы убедить хотя бы себя в том, что продолжаю следовать действительным событиям, когда я им уже не следую. Опыт подсказывал мне, что приблизительность речи может скрасться за модуляциями голоса, незнание — за интонированием, неуверенность — за апломбом... Что убедительным тоном говорят именно лжецы. О, как трудно быть объективным своими нищими силами!

Да нужно ли?

Эта книга — всё-таки акт любви... Со всей неумелостью любви, со всей неточностью любви же... Кто сказал, что любовь точна?

Так пусть же всё и остаётся, как написано.

Любовь не лжёт. Лжёт желание любви.

Любовь не взвешивает своих признаний на весах объективности, у неё нет ни колебаний, ни выбора между «да» и «нет», а есть граница между ними, как между верой и безверием. Это нелюбви принадлежат тяжкие усилия быть честной, справедливой и объективной, у любви нет этих затруднений, Итак:

«Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить».

ГЕХАРД

Врата

«Где он был?» — спрашивали про меня моего друга. Он перечислял. «Надо ехать в Гехард», — выслушав его перечисление, твёрдо и всегда говорили все. Единодушие это было утомительно, как сговор. Что Гехард? Где Гехард? Пожимали плечами. Никто не пробовал объяснить. Увидишь.

Гехард для меня был лишь имя, настойчивый, даже назойливый звук. В этом, как потом оказалось, уже был своего рода залог.

...Армянский простор, помахав, как бабочка, крыльями, потрепетав, вдруг сложил их, как бабочка. Бронзовый лев, необыкновенно похожий на кошку, повернул к нам голову и приподнял лапу, обозначив, что мы приехали. (Несколько позже, увидев такого же льва на древней стене, я понял, откуда взялся гений в профессиональном современном скульпторе).

Лев стоял на красиво-высоком столбе в горле ущелья. Мы въезжали в это горло как бы всё стремительней по мере его сужения, ускоряясь и ввинчиваясь, как вода в воронке. И, сложив крылья, вдруг с тихой лёгкостью очутились в ущелье.

И тут же кончилась сытость. Ясный голод и озноб зрения... Само это место было как храм. Оно было выстроено посреди простора, из простора. Как храм, оно имело вход (у врат стоял лев), и лишь за вратами открывалось помещение, как вздох и смущённая тишина речи.

Зрение здесь звучало.

Из простых щёк теснины, где увязал ветер, как дыхание музыканта в мундштуке трубы, вырываясь завитками раструба на простор, рождался зримый звук, необыкновенной широты и круглости одновременно. Мы оказывались в царстве, из которого нет возврата, хотя этой невозможности вернуться ещё и не сознавали, и потому страшно ещё не было.

Пока мы дышали восторгом — и нами дышал восторг. Восторг пока ещё легкомысленный, без часа расплаты — туристский...

Слева, как хор, поднимались скалы. Низкого, тенистого, плотного звучания внизу, они росли вверх, светлея и утончаясь, несколькими ступенями: вступали всё новые, всё более высокие голоса, и наверху выветренные стрелы были уже как хор мальчиков; вправо и вниз, сворачиваясь спиралью, как раковина оркестра, лежало дно котловины: с духовым серебром ручья, зеленью, кудрявой, как флейта, спокойными и уверенными лбами ударных — валунов и глыб, — земная понятность придуманных инструментов, исчезающих в тайне человеческого голоса, как деталь в машине, как черта в лице, как лемех в земле — орудия труда и предмет того же труда. Всё это пропадало в хоре скал. С берега ручья вился дымок, вокруг копошились точки исполнителей: паломники жарили шашлык, и необыкновенно красное платье среди них казалось первым листком осени.

Перед нами стояла церковь, стройная, цельная, конечно тысячелетняя, и была она как подсобное помещение в этом естественном храме и уже не вызывала трепета. Её крепенькие стены со светлыми прямоугольниками современной штопки на стенах, её свежецинковые крыша и шпиль ещё подчёркивали это впечатление служб при храме. Церковь же не была в этом ощущении повинна, поскольку во всех отношениях была шедевром, и никто, кроме окружающей природы, у неё этого титула не мог отнять.

Но за ней подымался новый хор скал, и церковь, приткнувшись к подножию этого отвесного звука, была лишь одним из исполнителей дивной музыки, одним из многих и забытых виртуозов прошлого. Ибо что такое исполнитель перед музыкой? Служитель, не творец же...

Небо было крышей этого храма. Ещё недавно, пред вратами, оно бледно голубело, вяло накрывая простор, а тут, очерченное хором скал, приобрело необыкновенную, глубо-

кую и близкую, синеву.

— Господи! — воскликнули мы, глядя на эту застывшую в верхней, высшей точке музыки, и за спиной, как крылья, были ощутимы вскинутые руки её дирижера и творца — вечное, единственное, первое исполнение. — Господи! — воскликнули мы, утратив суетный стыд перед банальностью и утратив банальность вместе с этим стыдом. — Выбрали же место!

Восхождение

Да, это был природой уготованный храм, и так понятно, что он стал цитаделью и обителью раннего, гонимого христианства (армяне приняли христианство задолго до нас, в IV веке). Это место, столь неожиданное в Армении, столь ни на что в ней не похожее, которого просто и быть не может (но раз оно есть, то уже и не может не быть), было сначала создано специально для этой цели, потом ждало, безлюдное, своего часа, а потом было угадано первыми верующими...

Но место это, как оказалось, ещё не было Гехардом. То есть, конечно, оно носило это название, но это был Гехард без удара на этом слове, это был просто Гехард. Тысячелетняя же церковь при этой местности тем более не могла быть тем Гехардом.

...Мы взбираемся вверх к древним пещерам-храмам, на первую ступень скалы, нижнюю нотную линейку. Входим. Время проваливается. Тесные, мелкие пещеры с закопчёнными неровными стенами напоминают забой. Даже следы шпуров обнаружил я, бывший горный инженер. Грубые ниши для образов, мелкие чаши для жертвоприношений, узкий желоб для стока крови, древняя, немажущаяся копоть кровли — и свежесыпанные имена, символы новой туристской эры, и современные цветные лоскутки (молитвы об излечении ближних), и современный воск растаявших свечей — сталактиты этих пещер. Какая скромность и величие веры в этих нишах каменных углов. ¹ Храм был создан самой природой, а пещеры — его алтари. Никакого нарушения природной гармонии, никаких вмешательств и модернизации естественного храма. Скажешь слово — низким голосом откликнется скала, словно просыпается застывший в скале музыкальный строй. Тут была только молитва, и праздно сюда не придёшь...

Вылезает на свет, застенчиво щурясь. Рассматриваем, гладим выбитые на поверхности скал кресты. Кудрявый армянский крест! Как постепенно и прекрасно приобретал он свои канонические черты. Ни один не повторяет линий другого. Меняются пропорции, мягкость и округлость исчезают, тают, кресты становятся прямой и строже. Но первый крест — это цветок с восемью лепестками. Лепестки сближаются попарно — крест с расщеплёнными концами. И то ли крест произошёл из цветка, то ли художник уподоблял символ природе и жизни, раздвигая концы, раздвигая их и приближая очертаниями к цветку, — неизвестно, и спросить не у кого.

Спускаемся, проходим позднейшие, такие внешние врата высокой церковной ограды и направляемся к этой крепенькой и ладной церкви с куполом цинковым, как ведро. Я рассматриваю её равнодушно и праздно и в упор не вижу. Сейчас, думаю, мы попадём внутрь...

Но нет, мы снова начинаем карабкаться вверх, вдоль стены вросшей в скалу церкви.

— Пройдём сначала так, — мягко и настойчиво говорят мне.

— Что там?

¹ Эти пещеры — ключ к истории нации. Армян резали как «неверных», но на самом деле их уничтожали именно за верность — земле, языку, Христу. Они теряли жизнь, но не теряли родины. Если бы, следуя естественному инстинкту самосохранения, они уступили веру, возможно, было бы пролито меньше крови, но нация бы растворилась и исчезла. Для армян слово «Гехард» — не только название святого места, но и некое образное понятие. Гехард — оплот веры. Словом «Гехард» можно объяснить многое.

— Сейчас увидишь.

О, эта достойная манера не предварять впечатление восторженными рассказами! Ни разу я толком не знал, куда и зачем меня ведут, и радости встреч не разменивались на предварение и представление. Пещерные молельни первых христиан тоже, оказалось, ещё не были тем Гехардом.

Высокое, но короткое чувство, возникшее там, не совпадало с суетной городской бодростью, прочно жившей в нас. Мы громко говорили, не глядя друг на друга. Впрочем, раздвоенность наша не была нами осознана, и мы лишь безотчётно стремились принизить высоту на миг вспыхнувшего ощущения. Наш взор развлекался деталями: росписью туриста на немыслимой высоте, продавцом фотографий генерала Андраника, куцей дощечкой: «Не сорить», пасекой, такой вдруг прекрасной и естественной на земле монастыря... Два работника копошились около ульев... Чувство наше снижалось, нам становилось всё легче, и, освободившись от смущения, мы стали как дети. Мы свернули с тропинки и закарабкались вверх по скале с неуместной спортивностью. Где-то мы повторяли себя, и наше одышливое, грузноватое мальчишество было несколько стыдно, по-видимому, каждому из нас. Но по отдельности, не вместе.

И сейчас мне кажется, что я понимаю, что же заставляет туриста выцарапывать своё имя, сорить, петь песни и фотографироваться в самых неподходящих местах — так сказать, осквернять памятники истории и природы... Высоко ведь, невыносимо высоко, до звона, стоит этот памятник по отношению к его невежественной душе! И в этой душе, такой неловкой, необученной, невнятной, рождается отзвук, и этот отзвук непонятен ему. Что, как не полное смятение чувств, может выкинуть его на столь смертельную (физически) высоту (физическую) — не только ведь девушка, стоящая внизу (не забирается же он на столбы или на стены домов в городе)? Думается, зрение истинного величия и красоты глазу неподготовленному столь же раздражительно, как резкий свет или звук, и все реакции отсюда — по Павлову...

Почему громили варвары?

Кто же мы были, как не испорченные дети, в зрелом и совершенном обществе храмов и скал?..

Ну уж мы-то, писатели, могли полагать себя более подготовленными к совершенному зрению?.. Но нет. Так давно мы стараемся говорить правду миру и не говорим правды себе и друг другу. И теперь не только оттого не говорим, что скрываем, но и потому, что уже не знаем. Имён мы не писали (мы их уже видывали напечатанными, разве поэтому), но у нас то же самое принимало другие формы. Этот наш прозаизм, я бы даже сказал новеллизм, судорожно отыскивал детали самые заземлённые и низменные.

Так, карабкаясь, увидели мы на балконе второго этажа жилого дома, расположенного напротив храма, старика священника... Он сидел за столом и смотрел в книгу. Какая-то девушка, на втором плане, подавала на стол, появлялась и исчезала. Старик сидел совершенно неподвижный и смотрел в книгу (именно смотрел, не читал: казалось, и взгляд его, издали невидимый, был неподвижен). Был он разительно красив — с орлиным профилем, высоким чистым лбом, седыми кудрями, тощий, младокожий, бледный... Ах, как бедны слова по отношению к красоте канонической, совершенной, древней! Он не был артистичен или иллюстративно красив, этот старик, — он был так же высоко, идеально, абсолютно красив, как Гехард. И неподвижен, как здешний тысячелетний камень. Он сел обедать и раскрыл книгу, но он сидел тут всегда, вечно — так казалось, на него глядя, — и даже стол перед ним с едой и питьём никак не мог заземлить его облика... Я и мой друг, мы одновременно и одинаково увидели этого старика и поняли это, поймав взгляд друг друга. «Какое лицо!» — пошло сказал я. «Да... — сказал мой друг, умный человек. — Вот я думаю, будь я так же красив, веди святую жизнь, доживи до таких волос... Может ли у меня быть такое

лицо? Невозможно. Никогда». И опять это было для нас слишком высоко, чтобы уж всё, совсем всё, даже люди тут были так прекрасны!.. И приятель друга, шедший за нами, поэт, говорят, интересный, сказал, унижаясь, с нехорошей улыбкой: «А самое смешное, если он вот с таким лицом рассматривает сейчас порнографические картинки...» — «Ужас! — сказал я со смехом. — Самое ужасное, что это вполне может быть...» Ах, пусть он читает всё что угодно, но, именно раз мы можем так подумать про него, у нас никогда не будет такого лица!

И тут мы достигли неведомой мне цели. Небольшой вход, вырубленный в скале, напомнил мне входы в древние молельни, только что посещённые. Молча меня пропустили вперёд, и я шагнул в темноту пещеры...

Ах, мы были шалунишки!..

Вершина

Это и был Гехард... Я стоял в центре, задрал голову. Там, высоко надо мной, был небольшой голубой круг — оттуда и проникал сюда свет. Там было небо. «ОН начал оттуда... через это отверстие ОН и выдолбил весь храм...» — детским шёпотом сказал мне друг. И хотя я стоял глубоко внизу, до сих пор внутренним взором я вижу этот храм сверху вниз, как видел, по-видимому, ОН, стоя там, на скале, наверху, когда храма ещё под ногами его не было...

От голубого круга вниз, расширяясь, шла чаша свода, и, достигнув полусферы, купол обрывался и повисал над вами совершенной окружностью. По касательной к полусфере вниз отвесно уходили четыре колонны и глубоко внизу, достигнув меня, исчезали в плите, на которой я стоял, — и тогда уже купол покоился, опираясь, на четырёх колоннах, столь стройных и совершенных по форме, что описывать их без специальных познаний я не берусь. От нижнего края купола расширялось на четыре стороны от каждой четверти круга четырьмя округлыми лепестками полое тело храма; там уже, в далёких от центра краях, стены падали отвесно вниз, проецируя четыре лепестка на основание, — там уже я стоял, на плане. На плане угадывался всё тот же армянский крест-цветок...

Там уже я стоял, на дне... В сумрак уходили дуги стен, колонны устремлялись вверх, переходя в купол, с вершины которого на меня смотрел голубой круглый глаз неба. Всё это было в скале, из одного цельного камня. Формы были столь гармоничны, единственны, абсолютны — такого совершенства я не видел никогда и больше не увижу. Слово «гениально» звучит низко для определения того, что я видел.

ОН... выдолбил... во-он через то отверстие, сверху вниз... весь этот храм... Кто ОН? Имени нет и быть не может, хотя он был один. Бог в этом безымянном человеке вынул лишний камень из скалы, и остался храм. То был верующий человек, верующий, как бог. Ничто, кроме веры, не способно создать такое. Неверующий не мог бы, и фанатик сломался бы. Чудо человеческой веры — вот что Гехард.

Никакого крепления в храме не было.

Храм уже был в этой скале, надо было только выдохнуть оттуда камень... Никакие машины не могли бы сделать этого. Только руками, только ногтями, только выцарапать по песчинке можно было этот храм. Никакой ошибки, никакой лишней трещины не могло быть в этой скале, потому что храм там был. Никакого чертежа, никакого расчёта, потому что там был именно этот храм, эти формы и эти очертания. ОН верил и видел единственное, вот и всё. Он мог бы и не молиться, и не ходить в церковь, и не знать слова божьего — в нём был бог. У него не было чертежа, ОН имел в своём мозгу столь честные и чистые своды, что перенёс их сюда и ошибки быть не могло. Его мозг стал подобен будущему храму, храм же был подобие бога.

Это сейчас я нанизываю косноязычную логику слов — у меня нет другого выхода. Тогда же у меня не было слов, и не могло быть, и не должно было быть — меня не было. И я стал

подобен ЕМУ, та же немота, то же отсутствие себя, та же вера жила теперь во мне, потому что я был заключён в его честный и чистый мозг, в его веру, в его цельную и единственную мысль, где никакая другая уже существовать не могла. Это было ЕГО бессмертие.

Но долго наша несовершенная душа этого не могла вынести. Мы переглянулись наконец. И тогда мои друзья, вспомнив, что мне надо показать, как гостю, всё, таинственно разошлись в стороны, оставив меня в центре, и остановились каждый у одной из колонн. И запели. Это была старинная армянская мелодия, медленная и скорбная. Эхо многократно повторило их голоса, и вся скала отозвалась, как колокол. Мы и были внутри каменного колокола, как ботало. И многоголосие это было столь же органичным и гармоничным, как и линии храма, да и не могло быть другим. И линия и звук были подчинены здесь одному закону... Разве наше разветвлённое знание не есть потеря знания единственного, единого закона? Когда нет этого закона, тогда уже, конечно, — архитектура, чертежи, правила, расчёты, физика, акустика, машины — муравьиное совершенствование обломков единого и цельного, нами утраченного...

Песня была прекрасна, но после пения мы уже могли вынести усталые от прямой нагрузки души на божий свет.

...Просто скала, ничем не нарушенная, обыкновенная. То же, такое внешнее, светское тело церкви... Но когда я поднял глаза вверх и увидел те прекрасные скалы, что уходили так строго ввысь и там остывали стрелами в синем небе замолкшим на верхней ноте хором, — то же великое подобие ещё более поразило меня. Оно было теперь обратным. Теперь эти скалы были подобны храму, из которого я вышел. Этот храм был более первозданным, чем природа, и теперь природа уподоблялась ему. Всё это дивное место и небо были подобны творению, только что виденному, да и были творением.

Тут всё, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех сущих форм, и, когда мы пытались выделить, в чём же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чём-то как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже некуда больше смотреть, как в небо...

Богослужение в этом храме не прекращалось никогда, свечу можно ставить на любой камень.

Побег

Мы поднялись ещё выше, и, уже более со страхом, чем с трепетом, заглянул я в то голубое отверстие, откуда ОН начал... Это была чёрная немая дыра. «Вот почему, — сказал друг, заглянув мне через плечо в ту же дыру, — вот почему я так редко бываю тут... Если бы не ты, то и не был бы... Как отсюда вернуться назад, туда же, тем же?..» И тогда мы по плавной и крутой кривой быстро спустились вниз, всё более ощущая пустую усталость. Там во дворе стояла «Волга» (её не было, когда мы поднимались), водитель копался в моторе, а рядом присел на корточки, так, что чёрная ряса легла подолом на землю, скрыв его ноги, тот красивый старик, которого мы видели с книгой на балконе. Я увидел его совсем вблизи, я мог бы притронуться к нему. У него было действительно великое лицо, лик — нам не показалось. Присев на корточки, он рассматривал автомобильную свечу, держа её перед собой в щепоти пальцев. Кисть его была так же одухотворёна, как и лицо. Он смотрел на свечу точно так же, как смотрел тогда в книгу: так же неподвижно, с тем же божественным, чуждым светскости простым величием, — веки его были чуть опущены, но лоб, чистый, мраморный, был невозмутим и нервен, как веко. Ох, мы были не правы. Не было книги, не было свечи! Ничего уже не было.

То же красное платье мелькнуло внизу у ручья, сизый дымок там вился, и запах шашлыка тонко достиг нас, обозначив, что вовсе не молитва, а голод терзает нас. «Эх, — сказал шофёр, — была бы у нас бутылка, мы бы могли сейчас спуститься и присоединиться к шашлыку...»

Как поспешно, как охотно рванулась машина и унесла нас из Гехарда, словно выплюнула! Никто не обернулся. Когдаходишь — всё отворяется тебе, но когда уходишь, видишь только обратную дорогу. Мы выскользнули из-под лапы льва.

А уж тут, а уж тут нас ждали одни радости. Всё легче и голоднее становилось нам. Мы останавливались, пили из ручья воду, мы останавливались, ели шашлык и пили водку и наконец к закату достигли Гарни. Гарни — это единственный в Союзе языческий храм. Развалины его. Гарни — это прекрасно.

Но тут можно есть, пить, плясать, петь. Это языческий храм. Мы сидели на циклопических обломках, пили чачу, которую достали у зрителя храма, шутили, если можно так сказать, с польскими туристками, подмигивали, подхохотывали, ржали, улюлюкали, гикали... Выдавали мы себя почему-то за футболистов сборной... Мы смотрели на удивительнейший закат, и ущелье под нами всё глубже темнело.

И наконец мы ехали назад, в город Ереван, оставив всё позади и не заметив перехода, веселенькие, шумные, такие счастливые! Уже ночь спустилась, шофёр лихо заламывал руль на повороте, бабочки прядали, сверкнув серебром в свете фар, а сзади мои друзья прекрасно пели прекрасные свои песни, и я чуть ли не подпевал им, такой умиленный, на родном армянском языке. Впереди открывались огни Еревана.

Мы расстались, пожав друг другу руки.

Всё очень просто: небо треснуло, земля раскололась, твердь покачнулась, хлябь разверзлась, — всего лишь ещё один день прожит, до свидания, до завтра.

СТРАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЯ

«Раньше и теперь»

Чем естественней и глубже становилось моё пребывание в Армении, тем расплывчатей и удалённой была конкретная цель моего сюда приезда. Пока я приспособлялся, вживался, пока мне было не по себе, цель эта ещё жила, вполне совпадая с общей неловкостью положения. Но как только я начал жить, тут же, словно некую верховную тёмную силу не устраивало, чтобы я жил, из памяти выплывало, как возмездие, и погрозило пальцем: не живи.

Срок командировки истекал так же неумолимо, как ещё в дороге истекают суточные. Час расплаты надвигался, честный и чистый образ главного бухгалтера редакции беспокоил и смущал.

«Раньше и теперь» — таково было моё задание. Взволнованный лирический репортаж о современном градостроительстве.

Только теперь начинал я постигать всю меру того легкомыслия, которое позволяет людям передвигаться с места на место по собственному желанию. Соблазн — это надежда на бесплатность. Платить же приходится не за вход, а за выход. И мне надо было выходить из положения. Вошёл-то я в него более или менее с лёгкостью. Так, затухая, думал я, постепенно подводя себя к уровню задания.

Во-первых, «раньше». Я не знаю, как было раньше. Мне было предложено прочесть очерк М. Кольцова, чтобы знать, как раньше. Но даже очерка этого я всё ещё не прочёл.

Во-вторых, «теперь». Оно требовало безусловно восторженного к себе отношения. Это вытекало из задания и было, по заданию, ясно. Восторгов было более чем достаточно, но все они будто не имели отношения к заданию. Ну прямо как в школе — всё, кроме уроков... Я бы покрасил забор Тому Сойеру.

Школярские, предэкзаменационные мысли...

Я ходил по Еревану и рассматривал его современные ансамбли. Они были так хорошо исполнены, словно даже восторг отношения к ним был учтён архитектором и направлен по нужному руслу. Они были выстроены так, чтобы вы не могли их не заметить, чтобы вами

овладевал восторг в обязательном, рабочем порядке.

И тут невнятная мысль приходит в голову. Что лучше: совсем плохое-плохое или плохое несколько получше? Такое, что почти хорошее? Сразу изобличающее себя, постепенно изживаемое временем или годное до сих пор? То есть, представляя себе эпоху, когда был сооружён, к примеру, ансамбль площади Ленина, легко допустить, что это почти невозможный предел органичности, вкуса и естественности для своей эпохи, что для воплощения этого замысла потребовались смелость и талант, почти дерзкие. И современники ощущали ветерок прогресса на своём лице. Но что-то случилось за эти годы — а здания остались стоять, хотя время их ушло. Они стоят в ином времени...

Не так-то легко разграничить «раньше» и «теперь», как может показаться на первый взгляд. Если бы это сводилось лишь к различению зданий, недавно построенных, от зданий, построенных давно, деревьев, выросших от деревьев, недавно посаженных, и т. д., то такая формальная задача вряд ли интересна — естественный навык, часы. Если же искать границу между прошлым и настоящим, то это просто физически невыполнимо, потому что граница эта сползает ежесекундно, ежесекундно, и каждый шаг, каждый вздох невозвратим, каждая написанная строка уже написана, а не пишется... По сути, настоящее и есть эта граница с прошлым. Если же провести эту границу по какому-либо важнейшему историческому рубежу (как естественно для нас проводить её по 1917 году), то ведь и пространство между этим рубежом и сегодняшним днём всё растёт и заполняется прошлым, и в это пространство уже легко вмещается и человеческая жизнь с её личным прошлым, как, например, моя... и сравнение становится всё более умозрительным и далёким.

Значит, только «сейчас» или, самое большее, «только что» — вот реальный мой материал, о котором я могу успеть сказать в настоящем времени, пока всё не умчалось в далёкое прошлое. И так ли важна дата творения, если творение живо и дышит до сих пор? Если здание, возведённое тысячу лет назад, и здание, вчера законченное, стоят по соседству сегодня, то они современники. В этом смысле всё живое — современно. И то, что они стоят рядом, и есть теперь, а не только то, чего вчера ещё не было. Мир населён не одними новорождёнными...

Так что, о чём бы я ни писал, только настоящее интересует меня, только живое: и только что родившееся и давно живущее, и возникающее и уходящее в прошлое, но ещё не ушедшее.

Только теперь, думал я, только теперь...

И ничего не мог видеть после Гехарда.

Контрольная работа

...И следующее утро наступило, укоротив мою командировку ещё на день, а я так ничего и не предпринял, но и жить, радуясь тому, чему радовался ещё вчера, тоже уже не мог.

В это утро у меня было назначено свидание с одним крупным деятелем города Еревана, энтузиастом и вдохновителем современного городского строительства — по всем свидетельствам, человеком во многих отношениях замечательным.

Всё более совестно становилось мне при воспоминании о всех тех людях, что шли мне навстречу: придумывали тему, чтобы я мог сюда приехать, оформляли командировку, выписывали деньги, помогали советом, интересовались устройством моего быта, предоставляли редакционную машину.

Теперь они все чего-то от меня ждали. Я должен был не подкачать и не подвести.

Я вышагивал по утреннему городу, радостно отмечая в себе, что был не прав, что город нравится всё больше и больше — просто я заостенел в субъективности и т. д. И действительно, утром город смотрелся. Чистый и нежаркий, с ещё длинными тенями, он был тих и скромный, и розоватость ему шла.

«Ереван следует смотреть рано-рано утром...» — так я начну очерк. «Да, именно так я

его начну», — бодро сказал себе я, перешагивая порог большого учреждения.

Без трёх минут одиннадцать, довольный своей точностью, я представился секретарше. Она скрылась в кабинете и тут же объявилась: меня просили чуть обождать.

Всё пока не расходилось с эскизом, уже возникшим во мне из рассказов различных людей об этом человеке. Рассказы эти носили всегда и только положительный характер. Никто не сказал о нём дурного слова, несмотря на его высокое положение. Но всегда вместе с высокой похвалою постепенно проявлялась некая полуулыбка, улыбочка, не насмешливая, не скептическая, скорее уж добродушная, но — до конца мне не понятная. «Да-да! — говорили все. — Исключительный! Порядочный! Знающий-понимающий!» Само единодушие в оценке этого руководителя было исключительным и отнюдь не объяснялось боязнью или осторожностью, что было бы сразу заметно. И действительно, порядочный и знающий человек на своём месте — явление, достойное всяческого одобрения... Но... тут возникала полуулыбка. Нет, никто не говорил «но», это я говорю «но», на месте «но» была половина улыбки. У некоторых она была без слов, на ней всё и кончалось. Один сказал: «Он любит подчеркнуть своё сходство с Н., вот увидишь». Это мне мало что говорило, поскольку о внешности Н., замечательного армянского поэта, я имел ещё более отдалённое представление, чем о его стихах. Другой сказал: «О, это актёр!» Замечание, впрочем, было лишено язвительности: так, просто — актёр, и всё...

«Спросите его, сколько лет он не был в отпуску», — посоветовал кто-то, совсем уж загадочно.

И что-то проступало в моём воображении, неотчётливое в чертах, но определённое в характере, и мне уже не терпелось сличить эскиз с оригиналом. Пока всё совпадало: и маленькая, опрятная, демократичная приёмная, наводившая на мысль, что передо мной руководитель не из тех, что в первую очередь заботятся о солидности своего обрамления, а даже из тех, у кого руки до себя не доходят; и секретарша, не красавица и не бывшая красавица, а в самый раз; не высокомерная и не фамильярная, не эффектная и не уродливая, будто и нет её и есть она... Всё пока было так, как костюм от аристократического портного: и сидит превосходно, но не заметишь, как сшито и из чего.

Тут из кабинета вышел некий ходок — старец горец, чуть ли не в бурке, чуть ли не барашек выбежал впереди него — представитель народа, простой человек... Секретарша тотчас сняла трубку и попросила меня войти. Было ровно одиннадцать, секунда в секунду.

Он сидел в дали большого и длинного кабинета и говорил по телефону. Я приостановился, закрывая за собою дверь, мы встретились взглядами и какую-то долю секунды как бы покачивались, устанавливая равновесие, как бы на концах одной доски. Потом он перевесил: точным кивком, не суровым и не нарочно любезным, он попросил меня подойти. Мой конец поднялся, и я легко, как под уклон, направился к его столу. Это было время, пока я пересекал пространство между нами... И это было именно пространство, потому что ничего, кроме его стола и пары кресел, в кабинете не было. Это до меня даже не сразу дошло — самое вопиющее отличие его кабинета... В нём не было ни буквы «Т», ни буквы «П». То есть никакого такого стола для заседаний. Ни графина, ни стакана. И телевизора там не было. Не помню точно, была ли там модель парусника, но картины над головой, кажется, тоже не было. Это был кабинет, из которого всё вынесли. Но — как бы сказать поточнее — это не был и кабинет, в котором никогда ничего не стояло из того, чего сейчас в нём не было. Опять же не уверен, действительно ли более светлый прямоугольник паркета обозначал исчезнувшую палочку от буквы «Т» или только квадрат менее выгоревших обоев обозначал бывшую картину. Во всяком случае, таково было моё впечатление, что сидит он под не висящей над ним картиной и что я обхожу не стоящий перед ним стол для заседаний в виде палочки от буквы «Т».

Я подошёл к его столу (это был обыкновенный канцелярский столик на месте прежнего

океанского стола, и на столе ничего не было) ровно в ту секунду, как он закончил разговор и уже клал трубку, вставая со стула и протягивая руку. Нет, он не заканчивал торопливо разговор, так же как и не тянул его до той секунды, когда я подойду, — он просто успел его вполне закончить к этому моменту. И он не протягивал мне руку, продолжая разговаривать, не указывал на кресло, прижимая трубку плечом к уху, и не пожимал плечами, и не разводил руками, и не строил нетерпеливую гримасу невидимому собеседнику, он не швырнул трубку, закончив разговор... Нет, он попрощался с абонентом, положил трубку, повернулся ко мне и протянул руку, не заставив меня ждать ни секунды. Но — как бы сказать поточнее, — он всё-таки именно успел всё это проделать, и удовлетворение от этого при всей сдержанности таки отразилось на его лице какой-то светлой тенью или бликом, и то, что он не посмотрел на часы, чтобы убедиться, что секундная стрелка стала на 60, объяснялось лишь тем, что он умел владеть собой.

Такой это был человек.

Мы ещё раз покачались в равновесии, теперь уже вблизи, на более точных весах, на двух концах рукопожатия. И рука, и её пожатие были безупречны: ладонь была сухая, но не шершавая, пожатие уверенное, но не сильное, — и в чистоте рук не возникало сомнений. Он нажал рукой на чашку моих весов — и я опустился в кресло.

Это был короткий и уместный взгляд при рукопожатии, и пауза его, его некоторая длинность, едва ли даже могла быть ощутима, но была. Мы ещё раз взглянули друг другу в глаза и как бы поняли друг друга. То есть либо мы действительно поняли друг друга, либо каждый из нас по-своему понял другого и постановил оставаться в этом понимании и упрочиться в нём... Во всяком случае, этот взгляд означал, что, включившись в игру под названием «интервью», мы оба берёмся не отступать от правил и не выходить за рамки избранной условности, где каждому очевидно, о чём и как нужно говорить, что отвечать и что спрашивать (именно в этой последовательности, то есть ответ обуславливает вопрос). И если так, просто неэтично было бы производить тайком измерения и на другом, необусловленном уровне. Так же неэтично, как приставать со служебной просьбой в бане.

И если так, то я очень виноват. Но полагаю, что и у него осталось от меня кое-какое «второе» впечатление.

Так вот, он взглянул на меня прозрачными зелёными глазами, очень шедшими к его неправильно матовому лицу, и встряхнул чубом, как бы с лёгкой досадой, что это встряхивание тоже очень ему шло. И тогда лёгким, неуловимым жестом он как бы смахнул с лица паутину. Этот жест... я его уже видел.

С внезапной убеждённой и непреложностью я понял, что этот-то жест и принадлежит поэту Н., о котором теперь уже я имел более отчётливое представление, хотя бы внешнее. Именно так: не о моём градостроителе (он как раз стал внешне менее отчётлив в этот момент), а о поэте... Это меня поразило, что похожесть столь самостоятельное качество, даже при отсутствии в поле зрения предмета сходства. Но это — в сторону.

Это был прекрасный мужчина, очень хорошо сохранившийся и выглядящий, в то же время без вульгарности цветущего здоровья и молоджавости: он был идеалом своего возраста, и только эта идеальность соответствия несколько молодила его. В общем, он был физически интеллигентен. Рубашка была идеальна, как и выбритость его щёк, причём идеальна в том дивном смысле, что одновременно не выглядела только что вынутой из комода, так же как и щёки его скорее наводили на мысль о кофе и хороших сигаретах, чем о помазке.

Он предоставил мне начинать, и, пока я ползал, формулируя тему, мне и самому-то не вполне ясную, он прозрачно смотрел мне в глаза, внимательно слушал и молчал, впрочем, исключительно как вежливый, умеющий слушать и не перебивать человек.

Я же, хотя и обращал по ходу дела свою неумелость в игру неумелости, чтобы внут-

ренне поддержать себя, всё-таки действительно мычал и плавал и чувствовал себя всё более неуютно под его внимательным и умным взглядом.

— Вы знаете, — из меня потекли жидкие слова. — Я совсем не специалист в вопросах строительства, и более того, не журналист в прямом смысле... — «Более того, идиот, — подумал я за него, — в прямом смысле». — Начнём с того, — сказал я, — что я ничего не знаю, кроме того, что Ереван знаменит среди прочих городов своим строительством... Что, — говорил я, — вряд ли возможно за короткое время войти глубоко в курс, а по-дилетантски мне выступать, естественно, не хочется, да и вряд ли читателю интересно иметь дело с цифрами; что все мы, простые люди, видим изнутри наружу — из окон своих квартир и учреждений, и взгляд наш частен и дробен, а как раз интересно бы узнать мнение человека, смотрящего снаружи внутрь, то есть, — пояснил я, — не забывающего о категориях большого и целого, и интересно бы было бы... — Я иссякал, а он слушал. Наконец, как бы взглянув на свои внутренние часы, тем решительным и порывистым движением человека, который не привык терять время, который давно всё понял с полуслова и даже прежде, чем я открыл рот, и лишь из вежливости терпел моё пустое многословие, он вступил в игру.

Безупречность была его единственной слабостью.

— Архитектура как средство воспитания человека, говорите вы? — «Когда я это говорил?» — забуксовало у меня в мозгу. — Да, это так. Человек — безусловно, первый фактор в строительстве. Не что мы строим, а для кого мы строим. Его духовный мир, его завтра — вот что должно прежде всего заботить нас, пока всё находится на бумаге, в чертежах, а не в камне. Не о сегодняшнем дне, не о сроках и процентах — об этом мы привыкли думать, а что будет через пятьдесят лет?! — Голос его зазвенел. — Часто ли мы задаём себе этот вопрос? Мы всё говорим, что строим во имя будущего... Мы привыкли произносить эти слова, совершенно не вникая в то, что они значат. Мы, как правило, совершенно не думаем о будущем, о том, каково будет людям в построенном нами мире... Погрязая в мыслях о производстве, экономии и плане, мы как раз и не думаем о завтрашнем дне...

Поразительно было это «мы»!

Говорил — будто сам строил...

Казалось, он был готов к нашей встрече более, чем я предполагал. Он говорил мне то, что я не надеялся услышать. Он был готов прежде, чем я появился на его горизонте. И поэтому наивно было бы полагать, что я как-то направил беседу. Получалось так, что он говорил мне даже слишком то, что я хотел бы от него услышать. И те полторы мысли, которые возникли во мне в непосредственной связи с моим заданием, которые я уже представлял себе в набранном виде в форме «размышлений писателя», и их он тут же отобрал у меня. Для точного воспроизведения интервью, а раз этот человек настолько полно и осмысленно говорил от себя, то и следовало, по-видимому, ограничиться его точностью, — для такого воспроизведения у меня просто не было журналистских навыков. И я потерялся в лёгкой панике, на секунду перестал слушать, что же он говорит; обнаружив это, растерялся ещё больше и несвойственным и неумелым движением раскрыл записную книжку и записал первую цифру 50, которую мне потом ещё долго пришлось разгадывать, о чём она. Как списывающий ученик, ужас положения которого помножается ещё и тем, что, списывая, он к тому же не знает, то ли он списывает, и уже более стыдится написать какую-либо смехотворную глупость, чем получить честную и прямую, как единица, двойку, — так и я даже прикрыл от него ладонью, что же такое пометил я в своей книжечке.

От него всё это не ускользнуло, но и он не ускользнул.

То ли записанное пером не вырубил топором, но существует у нормального, здорового человека некое ослепенение и впадение в гипнотическое состояние от любой формы протоколирования. Оттого, что человек напротив взял перо в руки, на тебя хотя бы в первую секунду да повеет подвальным, дежурным холодком... Если и не так, то сработает рефлекс

повышения ответственности — и ты споткнёшься, запутавшись в согласовании и падежах. Человек переходит из состояния говорящего в состояние отвечающего, а из состояния отвечающего в состояние допрашиваемого, как пар в воду, вода в лёд.

Допрашиваемый на секунду уронил глаза, и, поскольку он позволял себе не много безотчётных движений, взгляд этот брякнул, как льдинка, и речь его прервалась. Правда, предложение уже было закончено, и он мог придать всему вид естественной паузы. В общем, он быстро взял себя в руки, даже, можно сказать, подхватил на лету, и продолжал как ни в чём не бывало. Но что-то, по-видимому, бывало. Потому что, не передать даже в чём, но речь его с этого момента как бы несколько перестроилась, настроилась на запись. И хотя я всё решался, какую же его фразу записать следующей, а решившись, окончательно не слышал, что же он говорит, но всё-таки вертел в руках карандаш... Мой собеседник не позволял себе смотреть на карандаш, но взгляд его был уже привязан ниточкой, и, вертя карандаш, я эту ниточку поддёргивал.

Я всё лучше чувствовал его, но всё хуже — себя и всё меньше мог слушать, что же он говорит. Я входил в его положение, и мне было неловко, какого чёрта морочу я голову этому серьёзному человеку, у которого без меня полно настоящих дел... Действительно, если бы я ещё строчил без передышки, то он бы мог забыть про мой кинжал. А то было совершенно неизвестно, какую из его фраз я подстерегаю...

— Среда — средство воспитания... — говорил он и невольно делал паузу, чтоб я успел записать, а я вдруг не записывал, и он немножко терял нить. Потом усилием воли он прогонял наваждение, — ...сохранить национальные традиции и творить сегодняшним днём! — Всё-таки всякий раз, как он доводил речь до восклицания, перед ним отчётливо возникало видение карандаша, и он ронял взгляд. Речь его была осмысленна и хороша, и тем более можно было обидеться за каждую фразу, почему она не записана, так же как и удивиться, почему записана другая. Дискриминация, которую наводил в его речи мой карандаш, была ничем не оправдана и несправедлива, как любая дискриминация.

И я, как бы отдавшись слушанию, как бы по-честному отложил карандаш в сторону, настолько поглощённый...

И это не замедлило сказаться.

Он дельно рассказал о перспективах роста города, о том, что существует идея локализации этого роста, чтобы город не разбухал в бессмысленных и бесформенных окраинах, а находил внутренние ресурсы в перестройках, перепланировках, ликвидации отсталых и невыгодных в архитектурном отношении районов. Рассказал о трудностях, стоящих на пути этой идеи, о косности мысли иных деятелей, неистребимой приверженности вчерашнему дню, об административной инерции и лени...

Он легко, без одышки взбирался по ступеням слов на самую кручу, мы одновременно оглядывались вниз с лёгким головокружением и тогда быстро и плавно соскальзывали по спирали его речи в некую тишину и сумрак паузы, остановленного в задумчивости смягчённого взгляда, и, отдохнув там под кроной предыдущего периода, начинали взбираться вновь.

Это был уже не тот знакомый мне тип оратора, который получает удовлетворение от ладно скроенной фразы, входящий в речь с мужеством пловца и спелеолога... И вот — выбрался из периода! В конце фразы — слабый свет, как выход из пещеры.

Этот не вползал в пещеру, судорожно нащупывая в аппендиксах «который», «что» и «как» выход из неё, не мочил сандалий в лужице вводных слов — он работал на открытом воздухе...

— ...Масштабы ещё лет пять назад показались бы мифом. Через день вступает в строй пятидесятиквартирный жилой дом!.. Но именно масштабы и не должны смущать наш разум, поглощая в себе и идею и назначение... Мы уже научились обращать внимание на

внешний вид здания, даже на его взаимосвязь с ансамблем, но вот внутренние помещения... Задача сейчас — ликвидировать этот разрыв между комнатой и фасадом!

«Разрыв между комнатой и фасадом» — неожиданно я снова раскрыл книжечку и занёс туда эту отважную фразу. Неясное соображение забрезжило во мне, когда я фиксировал слово «разрыв», столь уверенно произнесённое, будто это был узаконенный термин. Я записал эту обычную на первый взгляд фразу, поразившую меня каким-то неуловимым несоответствием между её смыслом и посторонней отчётливостью её формы... Смысла, остановившего меня, я так и не уловил, тем более задерживаться было некогда: мой собеседник тоже приостановился с разбегу на этой фразе, потому что именно её стал фиксировать карандаш после долгого перерыва, а это что-нибудь да значило, и, как человек, оббегающий внезапно возникшее препятствие, он метнулся в сторону, сделав вид, что туда-то он и направляется. Мой карандаш оплодотворил эту фразу, она превратилась в завязь, и вот уже созрел, набухая, плод. Моё внезапное недоумение над этой фразой было тут же удовлетворено целой речью, возросшей на ней, и эта речь мне многое объяснила...

— Мы требуем от человека, чтобы он с каждым днём работал лучше и лучше, — говорил он со всё большим подъёмом, как бы плотнее и устойчивей устраиваясь на окончательно выбранной площадке, — и нас не интересует, как чувствует он себя, идя на работу и уходя с неё... Мы постоянно твердим ему о его обязанности и долге перед родным городом... И никто ещё не поставил вопрос так: а город должен человеку?! — Он несильно, но выразительно выкинул руку, как бы поместив эту фразу чуть повыше того уровня, на котором она прозвучала: там, чуть в стороне от источника звука, она никелированно блеснула, как большая скрепка. — Человек идёт на работу... Какое настроение возникает в нём от одинаковых, убогих и некрасивых улиц? Или, наоборот, настроение его подымается от окружающей красоты, и он приступит к работе с духовным подъёмом и приливом сил? Разве не стоит подумать о маршруте человека по городу? Чтобы его проход был как бы оркестрован и город в движении был бы точен и продуман, как музыка?.. Мелодия улицы... — На секунду он смолк, как бы прислушиваясь. — Этот эксперимент...

Рука дёрнулась и, несмотря на моё недовольство, вывела это слово — «эксперимент». На лице моего собеседника появилось чистое выражение страсти, струны его лица натянулись и зазвенели, не исказив в то же время приятной и спокойной его матовости.

Тут зазвонил телефон.

Во всяком случае, где-то рядом со словом «эксперимент» в моей книжечке отчёркнут квадратик, и в нём написано: «тел. разг.». Слушал он, не перебивая абонента и несколько хмурясь. Потом неким взрывом изнутри лицо его разгладилось и снова стало решительным и ясным...

— Я сразу сказал, что это непрофессиональный эскиз. Потом узнал (лицо его остыло от твёрдой улыбки), и действительно, он даже не практик — просто дилетант. (Ему что-то сказали на том конце.) Да, мне сам метод не нравится, — ответил он, всё ещё сохраняя твёрдую улыбку. — Нет, нет. Тут требуется творческий анализ. Главное — не спешить...

Я был совершенно очарован словами «непрофессиональный эскиз», «метод» и «анализ», исходящими из его уст. Дело ведь ещё и в том, что это были отнюдь не специально употреблённые слова — они были сказаны в естественном и непредусмотренном разговоре. А следить за содержанием разговора и поддерживать его так, чтобы ещё и произносить что-либо специально для третьего, случайно слушающего — такая тройная, три раза переплетённая в самой себе задача не под силу, подумал я, никому, тем более такому милому человеку...

Повесив трубку, он опять — чудо-человек! — не произвёл ничего лишнего: ни бессмысленных извинений, что прервалась беседа, ни пояснений, в чём там, на проводе, было дело, ни «на чём остановились?» — ничего подобного. Он взглянул на меня коротко и ясно,

будто бы не прервал свою речь на полуслове, и взгляд этот выражал, что всё, что в целом он высказался по данному вопросу, в подробности же входить нет возможности, а дальше спрашивайте, что вас ещё интересует, работайте, ведь зачем-то вас сюда прислали... И время идёт, дорогой товарищ.

Мне уже многое стало ясно: сфера восхищения и сфера сомнения проявлялись во мне, всё более отдельные друг от друга, и как бы раздвигались... Восхищение, как эмоция, занимало настоящее время, сомнение, как нечто рассудочное и даже нехорошее, требовало раздумий и существовало более в будущем. Те несколько фраз и словечек, о которые я споткнулся, никак не удалось осмыслить, и меня скорее раздражала просто заминка, разрушение этой гармонии и подозрение в собственной подозрительности. Мне было мучительно неловко моей досужести и праздности перед этим человеком дела. Во всяком случае, я решительно не знал, о чём мне с ним ещё говорить, и был озабочен тем, чтобы задать хоть сколько-нибудь неглупый вопрос и остаться более или менее на заданном собеседником уровне. Я несколько замялся и растерялся, вдруг меня озарило одно туманное соображение, и я радостно пустился излагать его.

— Вам я могу сказать откровенно, — покраснев, сказал я, — сначала Ереван мне не очень понравился, и я, конечно, никому не мог признаться в этом. Лишь немного узнав страну, в которой он находится, я стал свыкаться с ним. Парадокс Еревана, — сказав слово «парадокс», я сделал реверанс словам «оркестрован» и «эксперимент», — заключается в том: вот вы отмечаете 2750 лет со дня его основания, а никакого исторического лица город не имеет... Индивидуальность города складывается веками, городá, возникающие в наше время, и не могут иметь лица, а лишь более или менее соответствовать деловым и эстетическим требованиям... — Мой собеседник закивал, и, поощрённый, я тут же потерял нить. — Боюсь, что моя мысль может показаться досужей кому-либо, но, исходя из всей предыдущей нашей беседы, думаю, что вы поймёте меня правильно... — Это был запрещённый прием, и, выходит, я совсем зажмурился, раз выговаривал такое, но пока только сам себе я казался лихим, моего собеседника этот мой заход лишь насторожил: лыком он шит, разумеется, не был. — Именно потому, — говорил я, — что все постройки Еревана прежнего времени непримечательны в архитектурном отношении, и мог возникнуть план генеральной реконструкции и перестройки города, включая и центральные районы. Вы хотите видеть свой город прекрасным, придать ему индивидуальный, неповторимый облик... — Лицо моего слушателя смягчилось, он всё более готов был согласиться со мной. И хотя банк держал я, а он лишь брал предложенную карту, причём видел, что я передёргиваю, давая ему к десятке туза, — он карту брал. — Но, — говорил я, — как бы ни был профессионален и даже гениален план, какими бы прекрасными идеями ни руководствовались его создатели, вы это новое и неповторимое лицо города хотите создать в определённый срок, вы не можете ввести в свой план тысячелетнюю историю, вы сотворите город неизбежно в наше время, и эта пока нами неуловимая печать будет замечена уже последующими поколениями. То есть древний город Ереван будет новым городом, построенным единовременно, и эта однотонность времени, не кажется ли вам, может не вполне устроить те последующие поколения, о которых в Ереване в отличие от многих других городов не забывают?.. Я что-то не припомню городов, которые сумели бы приобрести индивидуальные и живые архитектурные черты в течение нескольких лет. Как правило, индивидуальность города складывалась скорее в результате работы времени, нежели строителей. Как вы думаете решить эту проблему без помощи времени, ведь времени у вас нет, а планы ваши столь принципиальны? Из известных мне примеров только Петру удалось придать лицо городу по плану и за короткое время...

При имени Петра глаза его коротко и глубоко блеснули, этот взгляд был тут же скрыт вовремя пришедшимся усталым его жестом, как театральным занавесом, но либо я обрёл

уже опыт в общении с ним, либо настолько уверовал в своё «видение», что только «своё» и видел, независимо от того, было ли это «своё» на самом деле или его на самом деле не было, — но блеск этот не ускользнул от меня.

— Да, — сказал он, и лицо его побледнело и загорелось, но не в вульгарном смысле этого слова, а как лампа дневного света, что ли. — Да, вы совершенно правы... Вы справедливо вспомнили Петра... Он сумел придать городу с самого начала неповторимый облик. Мы у себя в строительстве решили много проблем, но до сих пор не решили характера города. Ленинград, Таллинн — вот города, при одном имени которых сразу возникает образ. Мы хотим добиться того же у себя в Ереване. — Похоже, он пропустил моё соображение о времени и строительстве, зато почему-то, где я не ждал, задержал своё внимание на Петре... Я схватился за карандаш, и то ли речь его вдохновенно рвалась, то ли я записывал лихорадочно и неосмысленно, но дальше у меня следуют очень бессвязные заметки, и я уже давно ломаю над ними голову... — Чтобы город имел и воспитательное значение... Плакаты, щиты — всё это так формально, безвкусно и, как правило, унижает саму идею... Иногда просто кричать хочется: «Зачем вы коптите духовный мир человека?!» (у меня записано «дух. мир», и я всё расшифровывал это не как «духовный мир», а как «дух мирного человека» и долго недопонимал фразу). Это, конечно, эксперимент, то, что мы задумали... Кольцевой бульвар, решённый в различных национальных архитектурных стилях, будет символизировать дружбу народов. Или улица N, решённая так же экспериментально... Вы там не были? Вот вы пройдите и обратите внимание хотя бы на то, что там совсем нет мемориальных досок. Так формально, так приелось — все эти доски... А там вдруг стоит работа одного нашего талантливого молодого скульптора, нет, не бюст, а символ, решённый в приподнятом, высоком ключе... Не как справка из домохозяйства, приклеенная на стенку, как на доску объявлений, — «здесь жил такой-то» или «здесь жили люди...» Нет! «Здесь что-то божественное!..» — должно прийти в голову прохожему... Такие памятники внушат уважение, будут невольно влиять на мысль прохожего и незаметно служить ему высоким примером того, чего может достичь человек... Скажем, идёт отец с сыном, взял его из детсада после работы — и вдруг эта скульптура... Отец, усталый и озабоченный, не смотрит по сторонам, сынишка же обращает внимание: что-то непонятное... «Что это, папа?» — спрашивает он. И папа вынужден объяснить, а если не знает, сам должен подойти и прочесть: здесь жил и творил такой-то... «А что он сделал? Почему ему такая тут стоит штука?» И вот уже отец с сыном ведут беседу...

Далее я что-то совсем пропустил, восхищённый: мелькали цифры, масштабы, небо-скрёбы... Миллион квадратных метров разрушить — полмиллиона построить... Или наоборот. Вдруг я понял, что он молчит.

Я как бы дописал последнюю фразу и поднял глаза.

Не знаю, взглянул ли он на часы, я не видел... Но, секунду поколебавшись, он решился ещё на что-то, выбежал в соседнюю комнату и вынес оттуда трубу...

И вот мы склонились над развёрнутыми чертежами, слегка касаясь друг друга плечами, — там была иллюстрация к роману Ефремова, но это был бассейн-аквариум с рестораном под водой и птичником над водой, рыбки заплывали к нам прямо в рюмки, и поверить в это было бы трудно, если бы бассариум не был намечен к вводу в будущем году...

Тут я могу точно поручиться, что он не взглянул на часы. Но, замерев на секунду, как бы прислушавшись к тиканью, он так же стремительно исчез в соседней комнате. Из своего кресла я не мог её разглядеть, но она показалась мне маленькой и значительно более наполненной, чем та, в которой мы находились. Я даже подумал, что там-то всё и свалено, что когда-то было в нашей комнате... Наконец он выскочил, прижимая к животу несколько цилиндрических шашек. Никаких ассоциаций, кроме внезапного взрыва и соображений о том, не запачкал ли он рубаху, они во мне не вызвали.

— Вот, — он уронил их на стол, — цветной асфальт! Экспериментальные образцы. — Действительно, шашки различались по цвету. — Какой скучный, утомительный цвет у нас под ногами! А теперь... Не говоря об уменьшении аварийности... Шофёр теперь не уснёт за рулём!

Тут в нём истекло время. И как раз так, что он всё успел. Мы глубоко сердечно и без тени фамильярности пожали друг другу руки.

Прикрыв за собою дверь, я взглянул на часы. Было ровно двенадцать.

Дыхание на камне

В приподнятом настроении, с чувством легко выполненного долга выскочил я из тенистого сквера на свет. За этот час ласковое тепло стало жарой, и раскалённый воздух сгустился и застыл посреди улицы.

Я смотрел на улицы новыми глазами. Это мне следовало уже делать, чтобы подтвердить зрительными впечатлениями материал, тезисы которого мне были только что изложены. Но, по-видимому, стало слишком жарко: так, чтобы очень по-новому, я не видел.

Тогда я решил припомнить, какие же положения необходимо мне подтвердить зрительными впечатлениями, и с ужасом осознал, что, кроме нескольких телодвижений интервьюируемого, ничего не помню. Схватился за книжицу — там было записано до обидного мало и непонятно.

Наткнувшись в записках на название экспериментальной улицы, я решил отыскать её. К счастью, она была неподалёку. Ту свежесть и бодрость, которую одним своим видом внушал мой недавний собеседник, как рукой сняло. «Был ли он? Не придумал ли я всё это?» — уже думал я, расплавляясь от жары.

Я шёл по улице, прислушиваясь к себе, в ожидании того момента, когда во мне возникнут те высокие мысли и тот светлый строй, то хотя бы бодрое настроение, которое, по замыслу, весь этот комплекс неизбежно должен был во мне вызывать.

Всё здесь было выстроено разнообразно, своеобразно и со вкусом, ничто напрасно не торчало — всё было учтено по отношению к соседствующим строениям... Горизонталь сочеталась с вертикалью, а открытое пространство с замкнутым. Ничто не препятствовало взгляду, ему было спокойно, и он ни на чём не задерживался. С удивлением я обнаружил, что уже давно иду по этой улице и она вот-вот кончится, что было обозначено неким безобразным строением, некстати торчавшим на углу. Именно его я давно уже видел. Я прошёл эту улицу, напрасно прислушиваясь к себе: никакой мысли, хоть какой-нибудь, во мне не возникло. То ли жарко, то ли вообще нельзя «нарочно» ждать мысль... Вот кафе, насквозь всё прозрачное, и такой же универмаг, и даже если бы в кафе действовала кофеварочная машина, а универмаг был завален джинсами и к тому же и универмаг и кафе не были бы закрыты на обед, всё равно всё осталось бы таким же, готовым, пустым и ждущим. Цветочный магазин в форме вазы, к которому необходимо игриво пропрыгать по там и сям расположенным плиткам... Этой штуковины о великом человеке, жившем на этой улице, этого мемориала, который так и бросается в глаза, я так и не увидел, как ни смотрел. Приятные расцветки, приятные сочетания плоскостей... Вдруг на какой-то из плоскостей пузырьки золотые восходят вверх, как из стакана или будто внизу дышит большой карп... «Вот такая же и мысль, — подумал я, — возникла во мне, как эти пузырьки. И единственная...»

Что же это? Зачем же это строители за меня думают, что я думать должен и как? Они что — для меня думают или за меня думают? Вот в чём вопрос. Обо мне или мною? Чтобы мне было удобно и хорошо или им в их представлении обо мне? Ведь без очень многих услуг я могу и обойтись, такой уж суровой надобности, чтобы за меня думали, любили, ели и спали, у меня пока не возникло. С этим я по мере сил пока и сам справлюсь. Мне необходимо место для того, чтобы за меня ничего этого не надо было делать — ни думать, ни любить... Место, где бы я это делал сам.

Такая обидная мысль вдруг пришла мне в голову, и я чуть не с радостью смотрел на ещё не снесённое безобразие, эпохально торчавшее в конце улицы.

У меня была назначена встреча с одной издательницей, не деловая — просто ещё что-то я не успел осмотреть: парк, фонтан и картинную галерею... Без этого я не имел права уезжать, и мы встретились. И то ли я был действительно раздосадован, то ли, в течение десяти дней встречаясь исключительно с друзьями друга, соскучился по женскому обществу и теперь пользовался редким в Ереване случаем быть спутником интересной женщины, не доводящейся никому родственницей, — но с излишней страстностью начал я излагать ей свои архитектурные переживания и расцветал с каждой фразой, такой горячий и искренний человек...

— Понимаете, он совершенно не услышал моего вопроса... Только про Петра и услышал. А ведь и про Петра я в другом смысле говорил, возможно, и не в самом лестном... Понимаете, я перед отъездом, к стыду своему, в первый раз — ведь я коренной: и дед, и отец, и прадед были петербуржцы — посетил домик Петра. Я случайно на него набрёл — надо же, тридцать лет не подозревал о его существовании: думал, что домик Петра и Летний дворец — одно и то же!.. Ну да не в этом дело. Это самая ранняя из сохранившихся построек Петербурга. Я был поражён и потрясён. Именно не музейностью, а живостью и цельностью ощущения, что здесь жил человек и именно этот человек, Пётр... Домик-то ведь не дворец, нищенский, по сути, домик. «Приют убогого чухонца...» И архитектурной ценности, кроме редкости, на наш день никакой, а вот... Каждый предмет — а там скромно, очень скромно! — говорит не о самом себе, а о хозяине. Вы понимаете, что я имею в виду? Впрочем, я ничего не ожидал от этого домика — это очень важно!.. И от Гехарда я тоже ничего не ждал. Я получил от них всё сразу, всё, что в них было... А тут я хожу по Еревану и всё чего-то жду... Так вот о домике... Выхожу я из него потрясённый на Неву и потрясаюсь вновь... То есть, выйдя из этой крошечной и тёмной петровской будки, я вижу Неву, и Петропавловскую крепость, и Летний сад, и вся эта чрезмерная красота вдруг поражает с новой, непривычной силой. Я пытаюсь понять, в чём дело, что дало мне силы и заставило меня увидеть эту тыщу раз виденную и невидимую уже красоту, — и вдруг опять же понимаю: Пётр! То есть я как-то изнутри прикоснулся к его идее, и для меня всё осветилось новым светом. Не только в словах и мыслях: идея существует физически! — вот что со всей очевидностью вдруг дошло до меня. Не так уж много успел построить Пётр при жизни, вряд ли даже столько, чтобы это составило лицо города... Гораздо больше он построил после смерти. А ведь исторически петровские идеи довольно быстро сошли в его преемниках на нет. И только идея Петербурга, его образ были настолько сильны, что долго чужая мысль невольно попадала в русло, намеченное Петром, и просто другой мысли не возникало.

И строители продолжали дело Петра, и никто даже не подозревал, что в лесах совершенно других, даже противоположных идей постоянно возводится здание полузабытой идеи. И когда мощь инерции петровской идеи окончательно иссякла, то уже стоял Петербург и своей формой, цельностью и единственностью диктовал законы продолжения. В России не много идей воплотилось в такой последовательности и конкретности, как Петербург, как Советская власть. Общность, конечно, чисто внешняя, потому что истоки этих идей противоположны, но общность есть. Даже, возможно, только Петербург и мог стать её колыбелью. (В этом городе, в этой окаменевшей идее неизбежно и направленно, как его проспекты, только и могла воплотиться идея прямо понятых порядка и гармонии). И вот Петербург, самый нерусский город, торжество петровской идеи, стоит до сих пор и в нашем, в наиновейшем времени, стоит с прежним застывшим лицом, и новые районы отслаиваются от него, как нефть от воды. И это чудо, чудо не в чудесном, а в феноменальном смысле, ибо ещё можно представить, как возникла идея в сильной голове Петра, но то, что она осуществлена, вызывает почти головокружение своей невозможностью... Как кентавр или гри-

фон — и вот, на тебе, скачет и летает! И будет стоять, потому что Петербург нельзя изменить постепенно, его можно только разрушить, разрушить вместе с идеей, его создавшей, и они исчезнут лишь вдвоём, город и идея. Другие прекрасные города России росли постепенно и непродуманно, строились веками самой жизнью, и их вдруг получившаяся неповторимая и неуловимая гармония и прелесть беззащитны перед любой конструктивной идеей. Так исчезает Москва. Как одна вырубленная сосна не означает гибели леса, и другая, и третья... И вдруг лес вырублен. Арбатская просека... И тот человек, который ещё помнит, как в детстве он нашёл тут белый гриб, скоро помрёт... К чему это я? В последнее время слово «строительство» звучит всё более приподнято и гордо. Между тем это профессия, дело. Строителем не должна овладевать гордыня. Он строит что-то и для кого-то. Пока строитель возводит жилище и храм, храм и жилище — он строит для себя и он вне времени. Но как только он начинает строить для другого: дворец — царю, особняк — вельможе, барак — рабу, — он принадлежит уже только своему времени. И как бы он ни был гениален, он будет обведён чертой времени и ничего не построит во временах. Во временах строит уже только само время. И именно время, сохраняя одно, схищая другое и возводя третье, придаёт городу то неповторимое и прекрасное лицо, уподобляя дело суетных и временных рук человеческих природе и самой жизни, — и город становится подобен роще, в нём так же естественны дни и ночи и времена года... А если мы строим город в течение нескольких лет (а строить так нам приходится и придётся), то надо хотя бы отдавать себе отчёт, что нам не по возможностям работа веков, и не обольщаться в этом смысле... Ибо, исходя даже из самой прекрасной идеи, но одной, не навяжем ли мы её последующим поколениям, уже нежеланную и неустраивающую? Не для будущего надо строить, а для настоящего, с глубокой любовью к нему. А помещать без спросу безответного будущего человека в наши схемы по крайней мере самонадеянно. И ему гораздо будет дороже увидеть то, как мы жили, чем разглядывать в остывшем виде наши наивные представления о том, как будет жить он когда-нибудь и без нас... Получающееся по отношению к жизни всегда больше получившегося по отношению к идее. Даже в самом удивительном и прекрасном случае (вернёмся к Петру) насильное существование в чужой идее, даже гармонично и прекрасно выраженной, разве не болезненно? Петербургская тоска — мало ли существует литературных примеров, да и личного опыта достаточно... Петербург, прекрасный, как музыка. Петербург-симфония... Не так ли негодовал Толстой, слушая Крейцерову сонату, на её создателя, давно почившего и истлевшего и тем не менее каждый раз помещающего чужого и удалённого во времени от него человека в мир своих страстей и чувств, не пояснённых никаким конкретным опытом слушателя? Не так ли задохнётся иной раз нынешний ленинградец, ступив на какой-нибудь кривой мостик и посмотрев на грязную воду канала, и не поймёт, что с ним творится? Кстати, и «Медный всадник» Пушкина — не такой уж это гимн Петру и Петербургу, как нас приучили в школе. Иначе зачем такая резкая граница между вступлением и историей бедного Евгения? Эта граница, этот контраст и есть идея поэмы. И трудно сказать, что значительнее: восхищение ли гения красотой и мощью града или сочувствие мечущемуся по этой красе Евгению?..

Тут я почувствовал, что меня взяли за руку. Сердце моё забилося. Я взглянул на спутницу и поймал тот очень женский взгляд, который равно можно было расценить как сомнение и интерес, сочувствие и насмешку...

— Пойдём, — сказала она.

Я наконец попал на старую ереванскую улицу. Старая не то слово: ни тысячелетиями, ни столетиями тут не пахло. Возможно, ей было лет сто. Двух- и трёхэтажные дома стояли вплотную, с оплывшими, кругловатыми линиями оконных проёмов, и смотрели подслеповато, как близорукий без очков. Их попытки быть прямыми и неглиняными выглядели наивно. Наверно, это была прежде и не из бедных улиц, — так, может быть, выглядели

улицы губернских городов, вливавшиеся в главную. Архитектуры никакой на улице не наблюдалось. Дома напоминали старинные холодильники, когда ещё электричества не было, а в оцинкованные ящики закладывался привезённый разносчиком лёд... Глубоко посаженные и небольшие окна подсказывали тень в комнатах и послеобеденный сон. Стены выглядели пухлыми. Они казались нарисованными рукой ребёнка. Иногда строчка окон сползала вниз, как у ленивого ученика... Прохожих не было.

— Смотри!

Чуть согнувшись, я заглянул под арку. Нагибаться, впрочем, не было нужды: человек нормального роста вполне мог бы пройти сюда, выпрямившись. Но не так казалось. Ещё и потому, что тут была логика заглядывания и подглядывания... Как в щёлку, как в скважину, как в тот оптический глазок, придуманный в дверях кооперативных квартир, где ты видишь гостя в немыслимой перспективе, а он, по-видимому, — твой ужасный глаз.

Тенистый и глубокий туннельчик с округлым сводом был как тубус и диафрагма, а дальше с неправдоподобной, оптической чёткостью был виден двор. Так не бывает прозрачен воздух, как он был прозрачен в этом дворе. Двор контрастно с входом был ярко освещён, но, казалось, не тем назойливым и тупым солнцем, что пекло на улице наши спины. Свет был ровным и успокоенным. Вправо шла лесенка, четыре выщербленные крутые и узкие ступени, нелепые перильца с завитушкой на конце... Дальше трое ребят играли в забытую мною игру — крашенные бабки валялись на земле... Ещё подальше какая-то верандочка с пристроечкой, виноград свисает с решётки, кто-то спит на топчане... Дерево высунулось из-за угла справа, нависает... В небольшой тени печечка дымит, шуршат угли... Чёрная бабка в конце двора не то что-то собирает с земли, не то, наоборот, рассыпает...

Есть вещи, про которые невозможно сказать, что ты их когда-то увидел впервые, — они у тебя в крови. Я видел такой дворик впервые, но это фраза для протокола. Я знал его всегда — и это будет гораздо точнее. С таким чувством человек возвращается на родину: одно дерево сломалось, а тот куст как разросся! Все умерли... Неужели это Маша такая большая, ведь я её на руках носил! А эту бочку я помню — неужели до сих пор цела... Припадаешь к земле. Ты всё ещё жив, старый хрен!..

Мы шли и заглядывали в эти глубокие воротца... Я забыл о спутнице, хотя то, что она была рядом и знала, что показывала, и я был всё-таки не один со своим немым восторгом, тоже незаметно что-то означало.

Ни один двор не повторял другого, но ни один и не отличался, казалось. Ни один не был красивее или интереснее другого — каждый был совершенен. Как, каким образом складывался этот хаос пристроек, тупичков, деревьев, света и тени в гармонию и художественное единство — ни проследить, ни предположить было невозможно. Видно, жизнь, организуясь сама, по своим неумышленным законам, не может создать несовершенной формы...

Такую глубину и прозрачность можно было вспомнить только у старых голландцев. Беременная женщина читает у окна письмо... Какой свет! О, они понимали, что такое рама, что такое окно! Насколько серьёзнее и самостоятельнее мир, в который ты выглядываешь, мир обрамлённый, чем мир на улице, на дороге, в поле... В раме — это уже понятие, мысль о мире.

Так выглядел каждый двор в раме чёрного проёма ворот.

Вот уж — «здесь жили люди»! И никакой абстрактной штуконины не надо. Жили, любили, рожали, болели, умирали, рождались, росли, старели... Кто-то штукатурил стену, кто-то выносил треногий лишний в доме стол, кто-то посадил цветочки, кто-то разрушил сарай и расчистил площадку, а кто-то построил рядом курятник... Двор рос, как дерево — отмирали старые ветви, вырастали новые тупички, — а у дерева не бывает несовершенного расположения ветвей, хотя где гуще, где реже, где криво, а где обломано, но — дерево! В

кроне чирикают дети, подпирают ствол влюблённые, и бабка чёрная, согнувшись, возится у корней — растопляет печку, поднимет щепочку и уронит. Перспектива поколений, каждый двор как генеалогическое древо...

И смысл жизни до тебя и после тебя наконец ясен.

От каждого проёма не оторваться, но и подглядывать нельзя. Но и следующий — пока идёшь к нему, нельзя поверить даже, что может быть так же хорошо... но и следующий, когда заглянешь, — как вздох, вздох облегчения, вздох встречи, вздох нерасставания и какая-то непонятная сладкая вера в возможность и твоего счастья...

Никакой исторической и архитектурной ценности ни эта улица, ни эти дворы не имеют. Она будет снесена, и тут встанут новые, удобные во всех отношениях здания, в них поселятся люди, они будут любить, рожать и умирать, страдать и радоваться. Но не знаю, будут ли через сто лет эти стены настолько же прогреты теплом и любовью, жизнью и смертью, чтобы, только свернув за угол и ступив первый шаг, ощутить такое же родство и счастье, как сейчас на этой глиняной невнятной улочке?.. Или всё отразится от матовых и блестящих, ровных и плоских плоскостей?..

Мы ценим человеческий труд, и мы его ещё мало ценим. Но ценим ли мы то, что ещё драгоценней: то, что есть, что получилось без нас, без нашего участия, — великую гармонию и искусство природы и времени? Доски, конечно, дороже несрубленной сосны. Но — в денежном, выражении! Не надо смешивать стоимость с ценностью, дороговизну с драгоценностью... Самое гениальное творение рук человеческих однозначно и часто в сравнении с природой. Это правильно и чисто взятый аккорд, подслушанный и занятый у абсолютной гармонии и полифонии жизни. Гармонию не измерить стоимостью. Автомобиль никак не дороже полянки, на которой мы сделали привал. И никакими усилиями не сотворим мы раннее утро, не подделаем восход, росу, былинку... Ни один художник не может одной лишь силой воображения так естественно разбросать избы, сараи по отношению к реке, дороге, лесу и небу, как разбросаны они в любой деревеньке; не сумеет поставить где надо одинокую корову или лошадь, стог или ветряк, надеть в правильной последовательности банки и крынки на колья покосившегося плетня. Даже покосить как надо плетень он не может! Он может лишь подглядеть.

Великий учебник гармонии отдан нам жизнью бесплатно, безвозмездно. И мы должны помнить, что если мы вырвем все листы, нам не по чему будет учиться.

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала?

Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

На этой глиняной улочке, нагнув шею, заглянув во дворик, я увидел наконец такой Ереван. Поэт не мог быть неточен...

Что остаётся в предметах от человека? Только ли форма, им приданная, или — тепло рук, прикосновение взглядов, вмятины от слов?.. Тут всё говорило языком жизни — бывшей и будущей, — вечной жизни... Я решался — я входил во дворик, и из всех дверей выбегал любящий меня народ — прадеды и прабабки, правнуки и правнучки... Будущие и прошлые люди обнимали меня и выстраивались безмолвной шеренгой, ласково сокрушаясь, и кивая, и жалея меня, пока я шёл мимо них и плакал от скорби и счастья...

У СТАРЦА

Визит

Это самый знаменитый человек Армении. Хотя «знаменитый» и не то слово. Кто-нибудь, быть может, и более знаменит сейчас. Но он — пока, а этот — уже всегда. Великий сын Армении.

Это-то меня и отпугивало. В мои планы, в общем, не входил визит к нему. Так, если само получится. Опыт общения с великими людьми у меня пока отрицательный. То есть не то чтобы я в них разочаровывался и обнаруживал, что они не такие уж и великие. Маленькие слабости великого человека, наоборот, всегда утоляли мой скептицизм и шли великим на пользу в моём мнении. Дело тут, к сожалению, во мне самом. Я переставал быть собою в их присутствии, глупел, а это неприятно.

Так и вышло, что визит этот откладывался произвольно, отодвигался, и вдруг в последний мой день меня повели.

Мы ступили на тихую улочку, там чуть ли не знак висел — «кирпич». Даже прохожих не было. Мне померещилось, что я на ней уже бывал, проходил, но мне никто тогда не говорил, что здесь-то он и живёт. Мне это поначалу показалось странным.

Ничего странного, впрочем, нет. Любопытен самый характер его славы. Во-первых, о том, что он здесь живёт, как-то и говорить нелепо: всякий знает. Во-вторых, о нём вообще мало разговоров. Разговоры идут по более мелким, частным, сиюминутным поводам. А тут что говорить. Факт. Живёт. Всегда жил. Тридцать, пятьдесят, семьдесят лет... Отошли сплетни, пересуды, сенсации — девяносто лет. Что тут говорить? Он — есть. Был всегда. Без него немыслимо.

Мы свернули на эту тихую улочку... И как я ни был предубеждён к великим людям, калитку уже отворял с трепетом, и её тихий скрип звучал пронзительно, а дворик освещался как бы более ярким солнцем. Где-то внутри жила некая ясная, прозрачная дрожь, и я готов был впитывать, как промокашка.

Впитывать же пока было нечего. С особой осторожностью перешагивал я змеиные кольца садового шланга, свернувшегося во дворике. Слева стоял маленький миленький домик, справа возвышалось большое свеженькое здание-модерн: стекло и тот же розовый туф.

Я услышал восклицания и оторвал взгляд от садового шланга, который заставил меня задуматься, деталь ли он, а если деталь, то художественная ли? Явный признак того оупения, что овладевает мною в присутствии великих людей, хотя великого старца ещё и не было.

Я поднял глаза и увидел пожилого человека в золотых очках, наследственно интеллигентной наружности. По лицу его волной пробежала тщательно подавленная скука.

Он радостно приветствовал моего провожатого, человека заметного в культурных кругах Армении. «Не может быть», — заторможенно подумал я, но тут же понял, что, конечно, это не мог быть сам. Я улыбнулся широко и тупо, пожал руку, представленный. «Папа! — закричал он через плечо. — Папа!.. Он в саду, — скромно сказал наш новый знакомый, — пройдёмте пока в мастерскую...»

И мы прошли в розовый дом тем тихим, интеллигентным гуськом, где каждый уступает другому дорогу и, таким образом, то один, то другой оказывается впереди, понимает, что забежал вперёд, отстаёт и т. д. При этом ещё что-то всё время говорится. Первым, привзмахивая руками и как бы даже дирижируя, следовал наш новый знакомый, пояснял на ходу, умудряясь в то же время не поворачиваться к нам спиной (разве на какую-нибудь секунду, её неуловимую долю, чтобы рассмотреть путь перед собою). В эту-то секунду мой первый провожатый пояснял мне его пояснения шёпотом. И я, уничтоженный своими усилиями быть интеллигентным и в то же время сохранять собственное достоинство, хотя где оно,

уже было окончательно непонятно, продвигался, внимая обоим, между ними, одновременно умудряясь не поворачиваться спиной ни к тому, ни к другому, что было очень трудно.

Так мы миновали обширную прихожую, заставленную нежилой мебелью, и ещё одну комнату, очень тёмную, зашторенную, где две женщины, старая и молодая красавицы, лепили на большом столе пельмени. На нас протяжно и непонятно взглянули из этой тишины и сумрака... а мы уже шествовали по новой лестнице. И наконец вошли в фешенебельную мастерскую.

Она только что была отстроена. Холсты, составленные, толпились в центре мастерской, оставляя вдоль стен узкую дорожку. Сверху падал плоский свет. «Папа, папа!» — выйдя на балкон, закричал сын вниз, в сад. Куда-то папа пропал...

Тут он начал показывать нам папины холсты, извиняясь, что не может нам показать их как следует: они только что сюда переехали... Он выдёргивал холсты по одному, как из грядки, и сначала осматривал сам, а я тем временем успевал прочесть на тыльной холстине дату и название. Названия, впрочем, были не всегда. Возможно всю жизнь писать горы, фрукты и лица, но невозможно же их каждый раз называть. Осмотрев картину и как бы с удивлением узнав её, как бы посомневавшись, стоит ли она того, он показывал её нам. Каждый раз он сомневался — и каждый раз показывал... И лишь одну не показал — так и приставил к стенке, наружу подписью «Весна» и верёвочкой (за что вешать).

Как всегда, я не знал, нравится мне всё это или нет. Картина всплывала, разрезала пустой объём мастерской, и я ловил в себе отблески восхищения бесконечной любовью художника к родине, восхищения, отчасти мною придуманного, и искреннего удивления перед его трудом: столько фруктов, столько гор, столько лиц! Неужто ни разу за долгую жизнь, столько раз повторив их, не усомнился он в самом факте их существования... И ни разу не захотелось ему, чтобы эта груша перестала быть грушей, стала бы идеей груши, какой-нибудь грушей через два «у» или два «ш», треугольником, шаром... Мне бы захотелось. Но такое поразительное здоровье, при котором все реалии этого мира вечны и вечно достойны воспроизведения в этом длинном-длинном времени каждого дня нашей мгновенной жизни; такое природное сознание, как личный дар этого человека, что на его недолгий срок ему вполне хватит счастья от видения этих горообразных и фруктовых лиц (от множественности, от длины ряда внезапно начинала проступать их общая природа, ещё и совпадающая с природой творца), — такое сознание тоже иначе как здоровьем не назовёшь... а здоровье в последнее время преимущественно кажется мне прекрасным.

«Папа, папа!» — ещё раз, приустав показывать, позвал сын с балкона.

Папы всё не было.

Он не любил этот новый дом и предпочитал свой старый флигелёк — вполне понятно. Новый дом был прижизненный музей и персональная галерея. Причины постройки музея ещё при жизни старика тоже были вполне понятны: посетителей, вроде меня, тысячи, и это, конечно, тяжело — он был уже очень стар. Велик. Дни его исполнялись как бы всё большей ценою и ценностью и требовали хозяйственного к себе отношения — всё понятно. Даже трогательно. Но вот что: были ли его дни так же ценны, когда он был молод и влюблён, когда он был гениален? Дни его молодости ничего не стоили, а он жил, чего у него никто отнять не мог. Теперь, признавая и поклоняясь, от него отнимали — а что у старика оставалось? — его дни: они ему не принадлежали, они были национализированы. Старик был одинок для жизни: изолирован заботой и освобождён от выбора. Когда-то ему принадлежало время и не хватало славы, теперь ему принадлежала слава и не хватало времени...

Любовь старику возвращается как младенчество — солнышко, тишина.

Он частенько пропадал, как-то славно сбегал из дому, с живым, тёплым торжеством. «Папа, папа!» — но его уже не было, и тщательно скрытое недовольство домашних его по-

бегами было, по-видимому, тем пробуждением живой жизни, которая была ещё необходима старику как правда и на которую он ещё был способен, как был способен нарисовать ещё несколько килограммов груш.

Это сбегание, не такое великое, как у нашего великого старца, не такое значительное, но такое родственное, едва ли не милее моему сердцу. У нашего было слишком много драмы, роли и значения, а в этом сбегании много больше живой потребности, как есть, пить и спать — жить. И почему наш старец не сбежал много раньше? Ведь давненько его гению было всё на этот счёт ясно...

...Он успевал забрести далеко, он сидел на солнышке со стариками и беседовал с ними, ими не uznанный, наконец равный, свободный, неодинокий... Находили старика, водворяли великого на место, в уют и уход, реликвию и национальную гордость, и жемчужина покоилась в малиновом бархате подушечки, пока не пропадала опять. Но её всегда находили.

Тут не над кем смеяться — ни над ними, ни над ним. Исправлять нечего. И осуждать нечего.

Опять папа пропал. Мне почему-то очень этого хотелось.

И вот мы спустились, как поднялись. В тёмной комнате не было женщин — они слепили уже свои памятники пельменям. Огромный пёс с лапами, помазанными зелёной, прокляцал когтями по паркету и обнюхал нас нехотя на пороге светлой прихожей.

«Папа, ты где пропадал?» — услышал я.

Я был пойман врасплох. Старец сидел в кресле и читал газету, без очков. «Все зубы целы...» — подумал я. Он отложил газету и рассматривал нас, спокойно выжидая.

Удрать уже не было никакой возможности.

Мы заулыбались.

...Он сидел в квадратном кресле, на нём была широкая, чёрная (в тон кресла) блуза, спадавшая так свободно, словно ничего под ней не было, никакого тела. Голова как бы существовала отдельно и была много красивей, чем на портретах, даже чем на автопортретах. На портретах лицо его выглядело несколько бабьим и чересчур старым. Здесь он был моложе, умней и мужественней.

Мы улыбались.

— Это, папа, ты знаешь, — предупреждая всякие недоразумения, говорил сын, показывая на моего спутника, — это наш знаменитый режиссёр с «Арменфильма» такой-то такой-то (Так Такотян)... Ты его хорошо знаешь.

Отец посмотрел на Така Такотяна ясным и приветливым неузнавающим взором.

— А это... — сын указал на меня и сделал заминку для подсказки, — наш гость... — он взглянул на Такотяна.

— Поэт из Ленинграда, — подхватил Такотян.

У меня есть имя, и я не поэт, но тут вдруг, и это было чуть ли не открытием для меня, я обнаружил, что, по сути, это неважно. Моё имя по сравнению с его именем было равно нулю; моя жизнь, хотя бы по длине, по сравнению с его жизнью была равна зачатию; по сравнению с количеством людей, прошедших через его жизнь, моё количество было равно одному далёкому знакомому, причём этим знакомым был я сам. Ну какая разница, думал я, что я — прозаик Битов, а не безымянный поэт «имя им легион»? Это было полезное переживание: я вдруг понял, что имя мне — легион, что слово «поэт» и слово «Ленинград» говорят обо мне гораздо больше, чем имя. Я ощутил себя в истории и легко потерялся в ней. «Что в имени тебе моём...», «Исторической ценности не представляет, самостоятельного значения не имеет...» Я был представителем эпохи. Между нами была эпоха. Быть известным ему не представлялось мне возможным. С равным успехом я мог бы помечтать, чтобы Лев Толстой дал мне «доброе пути» в «Литературной газете». Это была встреча во

времени по Брэдбери.

Старец посмотрел на меня с интересом, которого я явно не стоил: во всяком случае, сиди я на его месте, я бы посмотрел на поэта из Ленинграда с тоскою.

— Из Ленинграда? — спросил он, гениально не придав никакого значения слову «поэт».

Я закивал с облегчением.

Он протянул мне руку. Она вытянулась из пустоты кресла, непомерной длины. Только у стариков бывают такие прекрасные руки, похожие на осенние ветви и похожие (настолько!) на их лица, только у много потрудившихся стариков... Я трусливо поместил ветхую его ветку в свою мясистую лапу, и он смело её пожал.

— Как ваша фамилия?.. Я не расслышал.

Я стал вспоминать свою фамилию. Старец нетерпеливо взглянул на сына.

— Витор, — подсказал Такотян.

— Так? — старец взглянул на меня.

— Битов я, Андрей Битов! — воскликнул я в отчаянии.

— Битов... Битов... — старец с сомнением покачал головой. — Ты русский? — вдруг пристально спросил он.

— Русский... — ответил я неуверенно.

— Русский-русский? — заточил он вопрос. Тут я что-то начал соображать.

— Русский-русский, — решительно сказал я, отбросив в сторону своих двух немецких бабушек.

— А то, — сказал он задумчиво, и рука взлетела вверх, очень далеко, и оттуда медленно, как лист, стала падать, — поляки, французы, немцы... а где русские? — снова стремительно спросил он.

— Да, да... Где? — повторил я, моргая.

«Откуда поляки? Какие ещё немцы?!» — с крайним недоумением думал я. Однако удачно и ловко предал я немецких бабушек!

Мы сели в предложенные нам кресла.

Станный и неуместный восторг овладел мною. Так вот же о чём я непрерывно, мучительно думал с первого шага своего по Армении! Именно об этом! Вот что так тревожило меня. Есть страна Армения — я брожу по ней, вот она. В ней живут армяне. Вот они. Армяне — это армяне. Армяне — есть. А я кто? Русский? Ну да. Никогда об этом не задумывался... Меня мучило сравнение, вот что. Как я не догадался! До самого ведь конца так и не понял, что же так беспокоит меня в наблюдении иной страны. И вот надо же, первые слова, что услышал от старца, показали мне именно об этом. Именно он сказал мне их первый. Действительно великий старик.

Стоп! Куда-то меня занесло... «Поляки, французы...» Откуда он немцев-то взял? Никакой гениальности, даже сомнительной, в его вопросе нет. Что я-то всполошился? Русский, не русский... Стоп.

Тут самое время сообщить следующую мысль. Конечно, неплохо бы усвоить некоторые уроки отношения к своей истории, природе, традициям — это вопросы общей культуры. Но принцип нашего национального существования отличен от армянского, и национальное самосознание строится по иным законам. И главная роль в этом отличии принадлежит арифметике. Всё упирается в число. Нас — много. Нам некому и незачем доказывать, что мы есть. Все, кроме нас, это знают. Что тут делать?.. То, что прекрасно в маленькой стране, благородно и вызывает восхищение, не может быть в равной степени и в той же логике отнесено к стране большой.

Это похожее на оторопь соображение посетило меня у подножия старца. И если он не подсказал мне эту мысль, то навеял, пусть невольно. Я благодарен ему, что мысль эта сидит

теперь во мне как гвоздь. Может, его заслуги в этом и нет, но то, что голова моя как-то особенно заработала в его присутствии, я тоже готов отнести за счёт его величия.

Такая простая, прямая, последняя (или первая?) точность — удел лишь великих людей (и неважно, какой он живописец). Как нелепо было с моей стороны рисовать себе образ великого человека на основании собственного опыта! Я ставил себя на его место... Это всегда пустая затея. Никого ни на чьё место не поставишь — у каждого своё. Тем более у великого — совсем уж единственное. Как же я мог, невеликий, представить себе величие? Только увеличив самого себя в несколько раз. Но, увеличивая малое, можно создать разве громоздкое, но не великое. Тут другие законы и категории, неизвестные мне, никогда не знаемые. Великий — это в любом случае другой человек. Уж во всяком случае — не ты. Можно представить себя с небольшой долей воображения на его месте. Но это будешь ты на чужом, не своем месте, и ты себе сразу не понравишься, усталый, равнодушный, пресыщенный, и заранее испытываешь антипатию к великому человеку. Будто величие было целью хоть одного воистину великого. Одну мелочь я забыл учесть, рисуя себе великого человека: то, что он — великий. Не поставленный надо мной, не утверждённый свыше, не выдвинутый обществом, как староста... великий — его качество. Ему интересно моё имя именно потому, что ничего, кроме имени и принадлежности роду человеческому, у меня нет, что бы обо мне ни говорили и что бы я сам о себе ни думал. Ему интересны моё лицо, и голос, и жест. Ему Я интересен. Потому что он знает меня, давно, уже знает. Ему не надо узнавать про меня. Он может сказать мне что-то, именно мне, потому что другому ОН бы сказал другое.

Скептицизм мой рухнул, обдав меня моей собственной старческой пылью. Старец был моложе меня и потому-то и прожил так долго.

Тот же пёс проклацал по полу и улёгся у ног старца, разложив по паркету свои зелёные лапы и непомерный мужской мешочек. Старик ласково посмотрел на это чудовище.

— Старая уже? — спросил я с фальшивым сочувствием.

— Нет, совсем молодой, — ответил старик, и тогда я увидел, что и действительно совсем молодой ещё пёс. Просто старик был так стар, что и собака его казалась старой.

Сын старца отклонялся и пошёл в институт, где он, кажется, декан. Такой милый, интеллигентный, старый уже сын, с чёрным, трогательно потрёпанным портфельчиком... Отец поморщился и взглядом не проводил.

— Молодые непонятные пошли... — сказал отец сокрушённо. — Вот куда он опять ушёл? На службу? Что они там делают? Что все делают? Что делает крестьянин — понятно, что делает художник — понятно, что делает он, — старец ткнул пальцем в окно, где в люльке висел маляр и докрашивал его новый дворец, — тоже понятно, хотя и не совсем. А вот что они делают — физики, капиталисты, китайцы, фашисты — кто они такие? Что они делают? Что делают? Едят, пьют, ходят, спорят, заседают, получают зарплату — а что после них остаётся? Вы слышали про атомную бомбу? — спросил он тревожным шёпотом, наклонившись ко мне (Такотян ухмыльнулся уголком рта). — Ведь это страшно, так страшно! Ведь сейчас, вы мне поверьте, мне один сведущий человек говорил, — сейчас уже такие штуки выдумали!.. Газы... Представляете? Чтобы всех людей — газом!

Я подумал, что этот, казалось, не получающий информации старик опять точнее нас всех, осведомлённых. Ведь мы-то уже привыкли. Угроза нам так близка, и так уже давно близка, и так хорошо известна, что это уже и не угроза, надоевший шум, мешающий нам, занятым людям, заниматься делом... А чем мы заняты? Каким таким делом — спохватиться бы... А вот он как стар, а всё помнит, что — Земля, что живут на ней люди, что ничего нет прекраснее жизни и священнее её и что она должна сохраниться, жизнь. Он помнит последнее (или первое?), главное. И говорит свои последние простые слова, их немного, их несколько. Но каждое из этих последних слов на девяностолетнем столбе жизни, в самом

первозданном, живом и прямом значении. За каждым из слов такое золотое обеспечение достоинством прожитой трудовой жизни, что не верить этим словам нельзя, и, значит, это самые верные слова на свете. Господи, одни и те же слова, затверженные до непонимания, вдруг снова оживают, проскальзывают, как серебряные рыбы, в заросший тиной пруд и бьются там, живые...

— Один, только один есть выход, — говорит старец, — пространство!.. — И опять рука его взлетает куда-то высоко-высоко. Этот жест тем более завораживает меня, что стремительное это порхание длинных древесных рук происходит относительно абсолютно неподвижного, отсутствующего под блузой тела. Он мог и не говорить слова «пространство» — так точно передала его рука это понятие. И тут я понял про живопись то, чего не понимал никогда: что живопись — это движение. Только у живописца (не у актёра, не у пианиста) возможен такой жест при слове «пространство». Я вижу застывшую картину, статичную, на стене, и на ней всё остыло. Она мне кажется нарисованной, а она — написана. Живопись — это след движения, вот в чём секрет, догадываюсь я. Взмах руки, след мазка. И если живопись прекрасна, значит, движение прекрасно. Вернее, если прекрасно движение, значит, прекрасна живопись. Живопись — это движение... думаю я.

— Пространство... — говорит старец (взмах руки, след мазка). — Земля стала такой маленькой, Нет, это я не образно говорю. Это на самом деле, физически так. За мою жизнь Земля уменьшилась в несколько раз. Можно объяснить это перенаселением или связью, радио там, самолётами, ракетами... Она крохотная, наша Земля. Это же сигнал, её уменьшение, — его только понять надо. Раньше она была огромная, трудная, неприветливая — теперь, иногда мне кажется, поместится на моём дворе... Ну как не понять, что это же призыв в пространство, такое её уменьшение! Земля — это только площадка. Космос — вот будущее человечества. Пространство... (Взмах, взлёт, мазок). Вот назначение человека! Тут-то нам и надо всем это понять, чтобы овладеть им. Очень, очень тяжело овладеть пространством! И если мы все не объединимся для этой цели, то ничего не получится, и мы погибнем. Всё, что было, — предыстория, мы прожили наши несколько тысяч лет, чтобы встать перед такой задачей. Это ведь и была цель человечества — пространство! Запомните, — сказал он, видя, что Такотян встал (он успел мне шепнуть, что нам пора уходить, а то старик очень устанет, разговорившись), — запомните, я вас буду тогда считать своими миссионерами, — он улыбнулся виновато, — и всем объясняйте, что наша цель — пространство! В этом наше божественное назначение.

...Некоторое время мы шли молча. Такотян раздражал меня, мне хотелось побыть одному, с мыслями, столь странно разбуженными. К тому же я опасался, что Такотян начнёт сейчас посмеиваться над стариком, чтобы показать, что эта болтовня про мир и космос его, такой он развитый, нисколько не трогает. И когда он открыл рот, я сжался, но он сказал вот что:

— Ах, что бы с нами было, если бы его не было? Нельзя представить. Словно и нас бы не было.

Конец (звонок)

Вот и светать начало. Я рвусь к цели, почти потеряв её из виду. Цель у меня сейчас — уже только конец. Под утро моя машинка стучит, как сердечко, и вместе с ним. Всё шустрее и невернее, с перебоями. Позванивает, нарываясь на конец строки.

Очерк, акнарк, намёк...

Очерк намечен, очерчен.

Господи, держишь ли ты меня за правую руку?

Я старался. Я пытался быть честным, я пытался быть точным. И мне уже не хватало сил стараться ещё и быть понятным. Я рискую быть непонятым и русскими и армянами. Кто я такой, чтобы брать на себя всю эту речь? Да никто. Но никто и не говорит за меня. Я рискую

быть непонятым, адрес мой двойствен и неточен. Материал может показаться любопытным русскому человеку, поскольку он так же плохо или ещё хуже знает Армению, и тут я проскочу со своим невежеством и наивностью первого взгляда. Чувство же — оно зрелее у меня — более, быть может, будет понятно армянам, чем русским...

Я очень мало знаю Армению и ни на что не претендую. Поэтому-то и возникла форма уроков начальной школы, учебник своего рода. Я не мог создать сколько-нибудь объективную и точную картину, кроме картины собственного чувства, Я бы назвал свой очерк «Армянские иллюзии», если бы уже не назвал и не построил его иначе. Я написал любовно и идеально чужую мне страну, но люблю-то я не Армению, а Россию, «её не победит распад мой».

Свою-то родину я знаю, по крайней мере постольку, поскольку я в ней родился и прожил столько, сколько живу на свете, — а как ещё что-нибудь можно знать лучше? По сути, эта моя Армения написана о России. Потому что с чем сравнивает, чему удивляется путешественник? Сравнивает с родиной, удивляется несходству: тому, чего у него нет, тому, чего ему не хватает, тому, что есть, но мало, мало. И лишь после этого уже тому, что одинаково, что сходится...

Но уж и Армении я обязан! И если я вернул хоть каплю той любви (конечно же, не гостеприимство, нет!), которой она меня столь настойчиво обучала, а именно — любви к своей родине, то я выполнил хоть и не первую, но и не последнюю свою задачу. Во всяком случае, если бы я родился снова, родился бы армянином на твоей земле, я бы безумно любил тебя, свою родину... В чём-нибудь это легче нашей «странной» русской любви.

— Я дал себе слово, — сказал мне однажды мой друг, — что никогда ни о какой другой нации ничего не скажу, ни дурного, ни хорошего...

И как я согласился с тобой!

И всё же — грешу, грешу...

Но — старался быть точным. А никакой другой точности у меня не было, кроме той, что всё со мной так и было. И в той самой последовательности. Даже в монтаже не допустил я перестановок во времени по отношению к действительному моему пребыванию в Армении. Вернее, монтаж этот не потребовался. Именно так набирало всё силу, и именно в такой последовательности: сначала мне не очень нравился Ереван (если бы не мой друг, то и совсем не нравился), а потом самым сильным физическим впечатлением был Севан (я заболел), а духовным — Гехард, именно сразу после Гехарда выслушал я лекцию о прогрессивном градостроительстве и именно перед отлётом посетил старца, а после этого визита должно уже было вернуться домой: внезапно всё обрело свою законченность.

Всё могло бы быть и ещё законченней... Задержись я на день, то поехал бы в Бюракан, где впервые в жизни посетил бы обсерваторию, и тогда был бы обязан Армении ещё и звёздами. И до чего бы точно это сейчас сюда легло вслед за старцем и его напутствием в космос! И повествование моё преодолело бы земное тяготение, а в ушах читателя ещё долго звучал бы последний космический аккорд, даже, после того, как он закрыл и отложил этот учебник. И долго бы смотрел он вслед моей ракете...

Очень многого не успел я повидать в Армении. Что можно успеть за десять дней?.. Я не побывал на знаменитых на весь Союз фабриках и заводах, пастбищах и виноградниках, не посетил лаборатории и институты... Да что говорить! Даже в погребах великого треста «Арагат» я не побывал и не попробовал!.. Я не видел многого из того, чем гордится Советская Армения. От моих заметок до энциклопедического очерка — огромное расстояние. Но так же далеко и энциклопедическому очерку от моих заметок!.. Правда и гармония первого впечатления — достояние, дающееся человеку раз в жизни, и этим можно и следует делиться, потому что за ним (первым впечатлением) простирается такое море познания, что можно, заплыв, потерять из виду все берега...

Я прожил в этой книге много дольше, чем в Армении, — и в этом уже её содержание. Я прожил в Армении десять дней, а писал её больше года — я прожил в Армении около двух лет.

Каждый день прибавлял мне так много, что описывать его приходилось месяц. У кого же мне занять столько времени?..

Да, задержись я в Армении хотя бы ещё день, читал бы сейчас читатель «Урок астрономии»! Но жизнь диктовала свою точность. В том-то и дело, что точность у жизни одна — та, что есть, а всё остальное неточно.

Я сорвался с последнего урока и промотал астрономию.

Я вернулся из школы на час раньше и застал дома тех, кто как раз в этот момент собирался, быть может, уходить из дому. Вернись я на час позже, то и не застал бы. И в этом — своя точность.

1967 — 1969

СОДЕРЖАНИЕ

Анаит Баяндур. От составителя	5
Уильям Сароян	
В тёплой тихой долине дома. <i>Перевод с английского Н. Гончар</i>	11
Битлис. <i>Перевод А. Николаевской</i>	17
Гурген Маари	
Чаренц-наме. <i>Перевод с армянского А. Баяндур</i>	20
Грант Матевосян	
На станции. Под ясным небом старые горы. <i>Перевод с армянского А. Баяндур</i>	58
Нора Адамян	
Семья Прошянов	129
Шаан Шахнур	
Портной, два его гостя и разные происшествия. <i>Перевод с армянского Р. Сукиасяна</i>	151
Агаси Айвазян	
Тифлис. <i>Перевод с армянского М. Ай-Артян</i>	172
Цена обыкновенного человека. <i>Перевод Э. Канановой</i>	182
Музыкальный звонок в доме старого интеллигента. <i>Перевод И. Карумян</i>	189
Абиг Авакян	
Когда в жару смеются. <i>Перевод с армянского В. Баласяна</i>	197
Последний. <i>Перевод Н. Мкртчян</i>	202
Он придёт. <i>Перевод И. и Дж. Карумян</i>	212
Акоп Мндзури	
Костан. <i>Перевод с армянского Р. Мадояна</i>	217
Наши матери. <i>Перевод А. Баяндур</i>	223
Ваграм Мавян	
Лондонский «Англо Арминиэн клуб». <i>Перевод с армянского А. Макинцян</i>	229
Левон Завен Сюрмелян	
К вам обращаюсь, дамы и господа! <i>Перевод с английского Дж. Джуффалакян</i>	234
Аксель Бакунц	
Отрывок из повести «Киорес». <i>Перевод с армянского М. Геворкяна</i>	240
Мушег Галшоян	
Эти старые и новые дни. <i>Перевод с армянского Дж. Карумян</i>	246
Вано Сирадегян	
Счастье Терез. Дверь. <i>Перевод с армянского А. Баяндур</i>	249
Андрей Битов	
Уроки Армении	261

В 11

В тёплой тихой долине дома: Проза об Армении/Сост. А. Баяндур. — М.: Мол. гвардия, 1990. — 382[2] с.

ISBN 5-235-01132-5

Сборник составлен из рассказов и коротких повестей известных армянских писателей, советских и зарубежных, таких, как Уильям Сароян, Шаан Шахнур. Общая тема сборника — любовь к родине, умение, сохраняя верность духу и традициям собственного народа, жить в мире, согласии с другими.

В книгу включено эссе А. Битова «Уроки Армении».

В $\frac{4701000000 - 056}{078(02) - 90}$ КБ — 032 — 031 — 89

ББК 84Ар7+84.7США

ИБ № 6757

В тёплой тихой долине дома

Заведующий редакцией **В. Перегудов**

Редактор **С. Шевелев**

Художник **Н. Банников**

Художественный редактор **А. Романова**

Технический редактор **З. Ахметова**

Корректоры **И. Ларина, Е. Дмитриева, В. Назарова**

Сдано в набор 07.08.89. Подписано в печать 24.11.89. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 21,0. Учётно-изд. л. 21,2. Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 50 к. Заказ 1948.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцёвская, 21.

ISBN 5-235-01132-5

Сканирование, OCR — Айвазьян Владимир

1 р. 50 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ